
Фридрих
НИЦШЕ
ТАК
ГОВОРИЛ
ЗАРА-
ТУСТРА
КНИГА ДЛЯ ВСЕХ
И НИ ДЛЯ КОГО



Фридрих
НИЦШЕ

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

КНИГА ДЛЯ ВСЕХ И НИ ДЛЯ КОГО

Перевод
Ю.М.Антоновского

Издательство Московского
Университета
*
СП "Ост-Вест Корпорейшен"
при участии кооператива
"Нукри" ЦК ЛКСМ Грузии
1990

ББК 87.3
Н 70

Ницше Фридрих

Н 70 Так говорил Заратустра. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.— 302 с.
ISBN 5—211—01926—1.

«Так говорил Заратустра»— одна из самых известных и популярных книг немецкого философа и поэта Фридриха Ницше (1844—1900). Темы «вечного возвращения всех вещей», «сверхчеловека», добра и зла и переоценки ценностей воплощены в этом памятнике мировой литературы в мифически-символической, высокопоэтичной форме.

Для широкого круга читателей.

Н $\frac{0301010000-079}{077(02)-90}$ без объявл. ББК 87.3

ISBN 5—211—01926—1

ОТ РЕДАКТОРА

В наши дни, когда переоценке подвергаются многие ценности общей жизни,— urbe et orbe, там и тут, везде,— быть может, полезно будет вспомнить (или узнать вновь, но обязательно осмыслить) и печальный и трудный духовный опыт Фридриха Ницше (1844—1900). Разве не начинает — в жестокой борьбе со старым — вырабатываться, и тоже трудно и печально, новое понимание жизни? человека? культуры? общества? И Ницше больше чем сто лет назад пытался построить вместо ценностей, носивших эти имена, новые, неслыханные дотоле ценности. Скорее всего, на этом и кончается сходство: автор «Заратустры» не захотел оставить в силе ни одной старой ценности (понимая под ними те, которые были вокруг него, но иногда прозревая будущее). Сегодняшний человек уже узнал, что ничто новое не бывает полно*ценным,* если оно стоит на развалинах старого.

А может быть, Ницше отвергал ценности, и для него ценные, но до неузнаваемости искаженные? В то время как надо было вернуть им и подлинность и узнаваемость? И тогда речь, видимо, шла в конце концов о том, что мы сейчас зовем общечеловеческими ценностями? Здесь снова возможно искать сходство с «отшельником из Сильс-Мария».

Я не стремился рассуждать на тему «Философия Ницше в свете нашего опыта» (кто хочет, найдет это у Томаса Манна) или, что почти то же, на тему «Опыт Ницше в свете нашей истории». Я лишь хотел указать на злободневный (как один из возможных) интерес, который, наверное, вызовет эта титаническая фигура, и на неоднозначность — и фигуры и интереса.

Конечно, в *практической* переоценке ценностей *сегодня* рекомендации Ницше, даже верно понятые, мягко говоря, навряд ли могут сотрудничать с теми, которые выдвигаются не одним человеком, а всем обществом. Но идея созидания новых ценностей, более ценных, чем

прежние, идея безостановочной, напряженной работы духа, идея проблематичности творчества, некогда выраженные многими, но только Ницше — столь ультимативно и нетривиально, должны участвовать в наших духовных исканиях и усилиях — и сегодня и завтра. И может быть, если взглянуть на дело с этой стороны, уместно было бы сказать: «Его опыт — это также и наш опыт»...

А если кому-то опыт Ницше не подходит, то пусть он по крайней мере оттачивает на «Заратустре» свои чувства вкуса и стиля.

* * *

«У книжек — свои судьбы»... И книги Ницше на русском языке разделили судьбу многих других, которые уже в начале 20-х гг. и позже были запрещены, прокляты и преданы забвению. Преданы забвению — да, но не забыты. Ницше, чудовищно популярный в России, обильно и по-разному изданный, оказавший сильное влияние на русскую интеллигенцию, на русскую философию и литературу, не мог исчезнуть из нашего культурного обихода бесследно. (На моем экземпляре «Заратустры» трижды с гордостью проставлен автограф ныне безвестного бывшего владельца книги: «П. Соловьев. 4 — IX/23. Омск». Это тот самый год, когда Ницше был официально запрещен.)

Могут, наверное, сказать: и тогда и позже — до сего дня Ницше привлекал как «запретный плод». Но когда-то он им не был, а привлекал. Теперь он снова становится одним из плодов общедоступного (в будущем) сада культуры. Посмотрим, как сложится судьба его книг на этот раз.

Мы воскрешаем русского «Заратустру» в одном из тех видов, в каком он чуть было не сошел в Лету официального забвения. Несмотря на то, что воспроизводимый нами перевод (как и другие) не лишен недостатков, мы — в видах приближения книги к читателю — решились не ждать нового перевода. Почему был выбран именно этот? Дело в том, что сразу после его выхода в свет 4-м изданием, осенью 1911 г., цензура («ввиду решения С.-Петербургского Окружного Суда») постановила изъять

в дальнейших изданиях «Заратустры» некоторые главы. В переводе В. Изразцова (Спб., 1913) по этой причине отсутствуют главы «О священниках», «В отставке», «Праздник осла» и вторая часть главы «Пробуждение», имеющиеся в публикуемом нами переводе Ю. М. Антоновского. Таким образом, этот перевод — последний из вышедших без цензурных ограничений.

Также из-за желания быстрее удовлетворить большой читательский спрос я не смог сделать сверку перевода (за что приношу читателям свои извинения), за исключением двух-трех самых необходимых случаев. Однако я внес в текст *минимальную* правку, улучшающую современное русское звучание Ницше (в этом его варианте) и устраняющую, иногда при помощи перевода В. Изразцова, недосмотры и опечатки. Все это я старался делать без ущерба для того, в чем переводчик видел — быть может, не совсем правомерно — одну из своих задач: сохранить буквальный смысл и даже порядок слов оригинала. В свою очередь, я счел нужным сохранить (а это оказалось возможным почти полностью) индивидуальный стиль переводчика. Сохранял я, как правило, также знаки препинания, перешедшие в перевод из оригинала.

Не пошли мы и по другому, столь часто хоженному пути — не стали призывать ученый конвой для препровождения автора в руки читателя, т. е. не предложили публике одно-единственное толкование, берущее на себя всю ответственность. Пусть каждый читатель будет свободным и, сам истолковывая для себя Ницше, сам и отвечает за свое истолкование. Не удержусь только от одной рекомендации (за которую не боюсь ответственности): боритесь с Ницше, боритесь с Заратустрой — при любом исходе борьбы результат будет лучшим, чем при экзальтированном принятии буквально понятой книги или при отвергании ее, столь же буквально понятой, с порога. Эта книга во всем — символ, иносказание, миф.

Зато мы воспроизводим (в виде приложения) предисловие к «Заратустре», написанное сестрой писателя, Елизаветой Фёрстер-Ницше, переведенное В. Изразцовым и изданное им вместе со своей русской версией книги Ницше. Оно одно способно объяснить многое — если не в «Заратустре», то вокруг «Заратустры», и поможет

лучше понять жизнь и личность его создателя, столь мало, вероятно, известные большинству русскоязычных читателей: пока у нас нет, пусть даже переводных, биографий Ницше — ни научных ни популярных (хотя некогда были и они).

Сказанное об отсутствии обязательного ученого сопровождения, разумеется, не означает, будто не нужно вообще научное критическое издание «Заратустры» и других книг Ницше. Оно нужно хотя бы для того, чтобы сообщить читателю информацию, при помощи которой он смог бы успешнее «бороться» с Ницше. Нужно и сопоставление различных толкований, а значит, необходимо появление большой научной и публицистической литературы, посвященной Ницше. И конечно, нужен новый перевод «Заратустры», филологически точный и художественно полноценный. Проза Ницше ждет мастера, который заново зальет ее кипящее золото в чистые формы русского художественного слова. Выход в свет «Заратустры» сравнительно большим тиражом, дав пищу не только для академических, но и для других умов, должен ускорить эти события.

Стихотворение Ницше «К мистралю», которое образно, тематически и стилистически примыкает к «Заратустре», еще, быть может, годы было бы недоступным для большинства читателей, и поэтому его перевод помещен — также в качестве приложения — в нашем издании.

Январь 1990 г. *Вадим Бакусев*

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

На переводе «Заратустры» подтверждается еще раз старая нстиииа, что все самое простое есть вместе с тем н самое трудиое. Кинга Ницше иаписаиа простым, почти бнблейским языком, и потому ее перевод представляет чрезвычайиую трудность. Недаром в 1898 г., когда впервые появились отрывкн моего перевода этой кииги в журнале г. Булгакова, один почнтатель Ницше сделал в печатн мие упрек, что подобную кннгу иадо переводить лет восемь, тогда как я переводнл ее всего одии год. И действительио, только в 1907 г., когда я предложил на суд читателей третье изданне моего перевода, я мог надеяться, что ои удовлетворит, наконец, требованиям, которым должен отвечать серьезный труд подобиого рода. Читатель мог в то время быть уверен, с одной стороны, что теперь перед иим буквальный перевод «Заратустры», даже слова по возможностн расположены в том же порядке, как у Ницше; с другой — я употребнл тогда все стараиия, чтобы в нем сохранена была внешняя, лнтературная красота орнгннала. Чтобы достнчь того н другого одновремеиио, действнтельно, понадобилось около восьми лет труда, ибо каждое нз трех предыдущих монх нзданнй «Заратустры» было не простой перепечаткой предшествующего, а совершенно новой переработкой перевода. В этом легко может убеднться всякий, у кого найдется время н охота слнчнть все четыре нздання моего перевода, сделаииые в 1900, 1903, 1907 н настоящем (1911.— *Ред.)* годах. Осталнсь без измеиеиий только страннцы стнхов, рнфмованных н иерифмованиых, помещенных в этом, как н в предыдущем, нздаиии с разрешення ныне покойиого А. М. Бобрищева-Пушкииа, в его прекрасном переводе.

Считаю иеобходнмым сделать здесь несколько указаннй, отиосящнхся к тексту.

С. 75, строка 10: «Все, что не преходит, есть только символ!», в противоположность стихам Гете в конце второй части «Фауста»: «*Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniß*».— С. 89, строка 34; тарантелла — *Tarantel,* означает по-немецки и тарантула, и тарантеллу.— С. 112, строка 19: многое, чего нельзя описать, осуществлялось там,— намек на слова Гете в конце второй части «Фауста»: *Das Unbeschreibliche, hier ist es getan*».— С. 151, строка 22: мрачные завистники — *Neidbolde und Leidholde*.— С. 153, строка 27: «...дух превратился здесь в простую игру слов?» — *Wortspiel, Wort-Spülicht* (вся эта глава полна игрою слов в большинстве случаев непереводимой).— С. 154, строка 7: игра словами *Mond* (месяц) и *Mondkalb* (нарост).— С. 178, строка 27: игра словами *rein* (чистый) и *Schwein* (свинья).— С. 180, строка 11: гнилая леность — *Faulheit, faulig* (*faul* означает «ленивый и гнилой»).— С. 184, строка 25: игра словами *Eheschießen* (заключение брака) и *Ehebrechen* (разрыв его, прелюбодеяние).— С. 184, строка 29: «...я нарушила брак» — *Ehebrechen* (совершить прелюбодеяние) и *durch die Ehe gebrochen* (разбитый браком).— С. 191, строка 34: игра словами *besser* (лучше) и *böser* (злее).— С. 204, строка 25: *Pech* (смола) означает фигурально: несчастье, беда.— С. 206, строка 9: игра словами *Gründling* (пескарь) и *Abgrund* (бездна, глубина).— С. 238, строка 3: игра словами *Suchen nach meinem Heim* (искать свой дом) и *Heimsuchung* (наказание).— С. 256, строка 33: игра словами: *Distelkopf* (головка чертополоха) и *Tiftelkopf* (сумасбродная голова).— С. 256, строка 40: игра словами *Schwarzsichtig* (кто видит лишь черное) и *Schwärsüchtig* (покрытый язвами).

По техническим причинам строки везде нумеруются сверху.— *Ред.*

Часть первая

ПРЕДИСЛОВИЕ ЗАРАТУСТРЫ

О сверхчеловеке и о последнем человеке

1

Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся счастьем своим. Но наконец изменилось сердце его,— и в одно утро поднялся он с зарею, стал перед солнцем и так говорил к нему:

«Великое светило! К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь!

В течение десяти лет подымалось ты над моей пещерой: ты пресытилось бы своим светом и этой дорогою, если б не было меня, моего орла и моей змеи.

Но мы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя преизбыток твой и благословляли тебя.

Взгляни! Я пресытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду; мне нужны руки, простертые ко мне.

Я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные — богатству своему.

Для этого я должен спуститься вниз: как делаешь ты каждый вечер, окунаясь в море и неся свет свой на другую сторону мира, ты, богатейшее светило!

Я должен, подобно тебе, *закатиться*, как называют это люди, к которым хочу я спуститься.

Так благослови же меня, ты, спокойное око, без за-

вести взирающее даже иа чрезмерио большое счастье!

Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага текла из иее и иесла всюду отблеск твоей отрады!

Взгляни, эта чаша хочет опять стать пустою, и Заратустра хочет опять стать человеком».

— Так иачался закат Заратустры.

2

Заратустра спустился одии с горы, и иикто не повстречался ему. Но когда вошел ои в лес, перед ним неожиданио предстал старец, покииувший свою священиую хижину, чтобы поискать кореиьев в лесу. И так говорил старец Заратустре:

«Мие ие чужд этот страииик: иесколько лет тому иазад проходил ои здесь. Заратустрой иазывался ои; но ои измеиился.

Тогда иес ты свой прах иа гору: неужели теперь хочешь ты иести свой огонь в долииы? Неужели ие боишься ты кары поджигателю?

Да, я узиаю Заратустру. Чист взор его, и на устах его иет отвращения. Не потому ли и идет он, точио танцует?

Заратустра измеиился, ребеиком стал Заратустра, Заратустра проснулся: чего же хочешь ты среди спящих?

Как иа море, жил ты в одиночестве, и море иосило тебя. Увы! ты хочешь выйти на сушу? Ты хочешь сиова сам таскать свое тело?»

Заратустра отвечал: «Я люблю людей».

«Разве ие потому,— сказал святой,— ушел и я в лес и пустыню? Разве не потому, что и я слишком любил людей?

Теперь люблю я бога: людей ие люблю я. Человек для меия слишком несовершеиеи. Любовь к человеку убила бы меия».

Заратустра отвечал: «Что говорил я о любви! Я иесу людям дар».

«Не давай им иичего,— сказал святой.— Лучше сними с них что-иибудь и иеси вместе с иими — это будет для иих всего лучше: если только это лучше и для тебя!

И если ты хочешь им дать, дай им ие больше милостыии и еще заставь их просить ее у тебя!»

«Нет,— отвечал Заратустра,— я не даю милостыни. Для этого я недостаточно беден».

Святой стал смеяться над Заратустрой и так говорил: «Тогда постарайся, чтоб они приняли твои сокровища! Они недоверчивы к отшельникам и не верят, что мы приходим, чтобы дарить.

Наши шаги по улицам звучат для них слишком одиноко. И если они ночью, в своих кроватях, услышат человека, идущего задолго до восхода солнца, они спрашивают себя: куда крадется этот вор?

Не ходи же к людям и оставайся в лесу! Иди лучше к зверям! Почему не хочешь ты быть, как я,— медведем среди медведей, птицею среди птиц?»

«А что делает святой в лесу?»— спросил Заратустра.

Святой отвечал: «Я слагаю песни и пою их; и когда я слагаю песни, я смеюсь, плачу и бормочу себе в бороду: так славлю я бога.

Пением, плачем, смехом и бормотаньем славлю я бога, моего бога. Но скажи, что несешь ты нам в дар?»

Услышав эти слова, Заратустра поклонился святому и сказал: «Что мог бы я дать вам! Позвольте мне скорее уйти, чтобы чего-нибудь я не взял у вас!».— Так разошлись они в разные стороны, старец и человек, и каждый смеялся, как смеются дети.

Но когда Заратустра остался один, говорил он так в сердце своем: «Возможно ли это! Этот святой старец в своем лесу еще не слыхал о том, что *бог умер*!»—

3

Придя в ближайший город, лежавший за лесом, Заратустра нашел там множество народа, собравшегося на базарной площади: ибо ему обещано было зрелище — плясун на канате. И Заратустра говорил так к народу:

«*Я учу вас о сверхчеловеке.* Человек есть нечто, что дóлжно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его?

Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека?

Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен

быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором.

Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от червя. Некогда были вы обезьяною, и даже теперь еще человек больше обезьяна, чем иная из обезьян.

Даже мудрейший среди вас есть только негармоничная, колеблющаяся форма между растением и призраком. Но разве я велю вам стать призраком или растением?

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке!

Сверхчеловек — смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: «Да будет сверхчеловек смыслом земли!»

Я заклинаю вас, мои братья, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах! Они отравители, все равно, знают ли они это или нет.

Они презирают жизнь, эти умирающие и сами себя отравившие, от которых устала земля: пусть погибнут они!

Прежде хула на бога была величайшей хулой; но бог умер, и вместе с ним умерли и эти хулители. Теперь хулить землю — самое ужасное преступление, так же как чтить сущность непостижимого выше, чем смысл земли!

Некогда смотрела душа на тело с презрением: и тогда не было ничего выше, чем это презрение;— она хотела видеть тело тощим, отвратительным и голодным. Так думала она бежать от тела и от земли.

О, эта душа сама была еще тощей, отвратительной и голодной; и жестокость была наслаждением этой души!

Но и теперь еще, братья мои, скажите мне: что говорит ваше тело о вашей душе? Разве ваша душа не есть бедность и грязь и жалкое довольство собою?

Поистине, человек — это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым.

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он — это море, где может потонуть ваше великое презрение.

В чем то самое высокое, что можете вы пережить? Это — час великого презрения. Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, так же как ваш разум и ваша добродетель.

Час, когда вы говорите: «В чем мое счастье! Оно — бедность и грязь и жалкое довольство собою. Мое счастье

должно бы было оправдывать само существование».

Час, когда вы говорите: «В чем мой разум! Добивается ли он знания, как лев своей пищи? Он — бедность и грязь и жалкое довольство собою!»

Час, когда вы говорите: «В чем моя добродетель! Она еще не заставила меня безумствовать. Как устал я от добра моего и от зла моего! Все это бедность и грязь и жалкое довольство собою!»

Час, когда вы говорите: «В чем моя справедливость! Я не вижу, чтобы был я пламенем и углем. А справедливый — это пламень и уголь!»

Час, когда вы говорите: «В чем моя жалость! Разве жалость — не крест, к которому пригвождается каждый, кто любит людей? Но моя жалость не есть распятие».

Говорили ли вы уже так? Восклицали ли вы уже так? Ах, если бы я уже слышал вас так восклицающими!

Не ваш грех — ваше самодовольство вопиет к небу; ничтожество ваших грехов вопиет к небу!

Но где же та молния, что лизнет вас своим языком? Где то безумие, что надо бы привить вам?

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он — эта молния, он — это безумие!»

Пока Заратустра так говорил, кто-то крикнул из толпы: «Мы слышали уже довольно о канатном плясуне; пусть нам покажут его!» И весь народ начал смеяться над Заратустрой. А канатный плясун, подумав, что эти слова относятся к нему, принялся за свое дело.

4

Заратустра же глядел на народ и удивлялся. Потом он так говорил:

«Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком,— канат над пропастью.

Опасно прохождение, опасно остаться в пути, опасен взор, обращенный назад, опасны страх и остановка.

В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он *переход* и *уничтожение*.

Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо идут они по мосту.

Я люблю великих ненавистников, ибо они великие почитатели и стрелы желания другого берега.

Я люблю тех, кто ие ищет за звездами осиоваиия, чтобы погибиуть и сделаться жертвою: а прииосит себя в жертву земле, чтобы земля иекогда стала землею сверхчеловека.

Я люблю того, кто живет для позиания и кто хочет позиать для того, чтобы иекогда жил сверхчеловек. Ибо так хочет ои своей гибели.

Я люблю того, кто трудится и изобретает, чтобы построить жилище для сверхчеловека и приготовить к приходу его землю, животных и растения: ибо так хочет ои своей гибели.

Я люблю того, кто любит свою добродетель: ибо добродетель есть воля к гибели и стрела желания другого берега.

Я люблю того, кто ие бережет для себя ии капли духа, но хочет всецело быть духом своей добродетели: ибо так, подобно духу, проходит ои по мосту.

Я люблю того, кто из своей добродетели делает свое тяготеиие и свою судьбу: ибо так хочет ои ради своей добродетели еще жить и ие жить более.

Я люблю того, кто не хочет иметь слишком миого добродетелей. Одиа добродетель есть больше добродитель, чем две, ибо оиа больше тот узел, иа котором держится судьба.

Я люблю того, чья душа расходуется, кто ие хочет благодарности и ие оказывает ее: ибо ои постояиио дарит и ие хочет беречь себя.

Я люблю того, кто стыдится, когда счастливая игра выпадает на долю его, и кто тогда спрашивает: «Неужели я игрок-обмаищик?»,— ибо ои хочет гибели.

Я люблю того, кто бросает золотые слова впереди своих дел и исполияет всегда еще больше, чем обещает: ибо ои хочет своей гибели.

Я люблю того, кто оправдывает людей будущего и избавляет людей прошлого: ибо он хочет гибели от людей иастоящего.

Я люблю того, кто строг к своему богу, так как он любит своего бога: ибо ои должеи погибиуть от гиева своего бога.

Я люблю того, чья душа глубока даже в ранах и кто может погибиуть при малейшем испытаиии: так охотно идет он по мосту.

Я люблю того, чья душа переполнена, так что он забывает самого себя, и все вещи содержатся в нем: так становятся все вещи его гибелью.

Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем: так голова его есть только внутренность сердца его, а сердце его влечет его к гибели.

Я люблю всех тех, кто являются тяжелыми каплями, падающими одна за другой из темной тучи, нависшей над человечеством: молния приближается, возвещают они, и гибнут как провозвестники.

Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи: но эта молния называется сверхчеловек».—

5

Произнесши эти слова, Заратустра снова посмотрел на народ и умолк. «Вот стоят они,— говорил он в сердце своем,— вот смеются они: они не понимают меня, мои речи не для этих ушей.

Неужели нужно сперва разодрать им уши, чтобы научились они слушать глазами? Неужели надо греметь, как литавры и как проповедники покаяния? Или верят они только заикающемуся?

У них есть нечто, чем гордятся они. Но как называют они то, что делает их гордыми? Они называют это культурою, она отличает их от пастухов.

Поэтому не любят они слышать о себе слово «презрение». Буду же говорить я к их гордости.

Буду же говорить я им о самом презренном существе: а это и есть последний человек».

И так говорил Заратустра к народу:

«Наступает время, когда человек поставит себе цель свою. Наступает время, когда человек посадит зерно высшей надежды своей.

Его почва еще достаточно богата для этого. Но эта почва будет некогда бедной и бесплодной, и ни одно высокое дерево не будет больше расти на ней.

Горе! Приближается время, когда человек не пустит более стрелы желания своего выше человека, и тетива лука его разучится дрожать!

Я говорю вам: нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Я говорю вам: в вас есть еще хаос.

Горе! Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе! Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя.

Смотрите! Я показываю вам последнего человека.

«Что такое любовь? Что такое творчество? Устремление? Что такое звезда?» — так вопрошает последний человек и моргает.

Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех.

«Счастье найдено нами»,— говорят последние люди и моргают.

Они покинули страны, где было холодно жить: ибо им необходимо тепло. Также любят они соседа и жмутся к нему: ибо им необходимо тепло.

Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом: ибо ходят они осмотрительно. Один безумцы еще спотыкаются о камни или о людей!

Время от времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть.

Они еще трудятся, ибо труд — развлечение. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло их.

Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое слишком хлопотно. И кто захотел бы еще управлять? И кто — повиноваться? То и другое слишком хлопотно.

Нет пастыря, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом.

«Прежде весь мир был сумасшедший»,— говорят самые умные из них и моргают.

Все умны и знают все, что было: так что можно смеяться без конца. Они еще ссорятся, но скоро мирятся — иначе это расстраивало бы желудок.

У них есть свое маленькое удовольствие для дня и свое маленькое удовольствие для ночи: но здоровье — выше всего.

«Счастье найдено нами»,— говорят последние люди и моргают».

Здесь окончилась первая речь Заратустры, называе-

мая также «Предисловием», ибо на этом месте его прервали крик и радость толпы. «Дай нам этого последнего человека, о Заратустра,— так восклицали они,— сделай нас похожими на этих последних людей! И мы дарим тебе сверхчеловека!» И весь народ радовался и щелкал языком. Но Заратустра стал печален и сказал в сердце своем:

«Они не понимают меня: мои речи не для этих ушей.

Очевидно, я слишком долго жил на горе, слишком часто слушал ручьи и деревья: теперь я говорю им, как пастухам.

Непреклонна душа моя и светла, как горы утренней порою. Но они думают, что холоден я и что смеюсь я ужасными шутками.

И вот они смотрят на меня и смеются: и, смеясь, они еще ненавидят меня. Лед в смехе их».

6

Но тут случилось нечто, что сделало уста всех немыми и взор неподвижным. Ибо тем временем канатный плясун начал свое дело: он вышел из маленькой двери и пошел по канату, протянутому между двумя башнями и висевшему над базарной площадью и народом. Когда он находился посреди своего пути, маленькая дверь вторично отворилась, и детина, пестро одетый, как паяц, выскочил из нее и быстрыми шагами пошел вослед первому. «Вперед, хромоногий,— кричал он своим страшным голосом,— вперед, ленивая скотина, контрабандист, набеленная рожа! Смотри, чтобы я не пощекотал тебя своею пяткою! Что делаешь ты здесь между башнями? Ты вышел из башни; туда бы и следовало запереть тебя, ты загораживаешь дорогу тому, кто лучше тебя!»— И с каждым словом он все приближался к нему: и когда был уже на расстоянии одного только шага от него, случилось нечто ужасное, что сделало уста всех немыми и взор неподвижным: он испустил дьявольский крик и прыгнул через того, кто загородил ему дорогу. Но этот, увидев, что его соперник побеждает его, потерял голову и канат; он бросил свой шест и сам еще быстрее, чем шест, полетел вниз, как какой-то вихрь из рук и ног. Базарная площадь и народ походили на море, когда проносится буря:

все в смятеиии бежало в разные стороиы, большею частью туда, где должио было упасть тело.

Но Заратустра оставался иа месте, и прямо возле иего упало тело, изодраииое н разбитое, ио еще не мертвое. Немиого спустя к раиеиому вериулось созиаиие, и ои увндел Заратустру, стоявшего возле иего иа колеиях. «Что ты тут делаешь?— сказал он иакоиец.— Я давио зиал, что черт подставит мие ногу. Теперь он тащит меия в преисподиюю: ие хочешь ли ты помешать ему?»

«Клянусь честью, друг,— отвечал Заратустра,— ие существует иичего, о чем ты говоришь: иет ии черта, ии преисподией. Твоя душа умрет еще скорее, чем твое тело; ие бойся же иичего!»

Человек посмотрел на него с иедоверием. «Если ты говоришь правду,— сказал он,— то, теряя жизнь, я иичего не теряю. Я иемиого больше животиого, которого ударами н голодом иаучили плясать».

«Не совсем так,— сказал Заратустра.— Ты из опасности сделал себе ремесло, а за это нельзя презирать. Теперь ты гибиешь от своего ремесла: за это я хочу похороннть тебя своими руками».

На эти слова Заратустры умирающнй иичего ие ответнл; он только пошевелил рукою, как бы нща, в благодариость, руки Заратустры.—

7

Тем временем наступил вечер, н базариая площадь скрылась во мраке: тогда рассеялся н народ, ибо устают даже любопытство н страх. Но Заратустра продолжал сндеть на земле возле мертвого н был погружеи в свои мысли: так забыл ои о времеии. Накоиец иаступила иочь, и холодиый ветер подул на одииокого. Тогда подиялся Заратустра н сказал в сердце своем:

«Поистине, прекрасный улов был сегодия у Заратустры. Он ие поймал человека, зато труп поймал он.

Беспокойно человеческое существование и к тому же лишеио всегда смысла: паяц может стать уделом его.

Я хочу учить людей смыслу их бытия: этот смысл есть сверхчеловек, молиия-из-темной-тучи-человек.

Но я еще далек от иих, и моя мысль ие говорит их мыслям. Для людей я еще середииа между безумцем и трупом.

Темна ночь, темны пути Заратустры. Идем, холодиый, неподвижиый товарищ! Я несу тебя туда, где я похороню тебя своими руками».

8

Сказав это в сердце своем, Заратустра взял труп себе иа спииу и пустился в путь. Но ие успел ои пройти и ста шагов, как человек подкрался к нему и стал шептать ему на ухо. Тот, кто говорил, был паяц с башии. «Уходи из этого города, о Заратустра,— говорил он.— Слишком миогие иеиавидят тебя здесь. Ненавидят тебя добрые и праведиые, и оии зовут тебя своим врагом и ненавистииком; ненавидят тебя правовериые, и оии зовут тебя опасным для толпы. Счастье твое, что смеялись иад тобою: и поистине, ты говорил, как шут. Счастье твое, что ты пристал к мертвой собаке; униизившись так, ты спас себя иа сегодия. Но уходи прочь из этого города — или завтра я перепрыгиу через тебя, живой через мертвого». И сказав это, человек исчез; а Заратустра продолжал свой путь по темиым улицам.

У ворот города повстречались ему могильщики; оии факелом посветили ему в лицо, узнали Заратустру и много издевались иад иим. «Заратустра уиосит с собой мертвую собаку: браво, Заратустра обратился в могильщика! Ибо наши руки слишком чисты для этой поживы. Не хочет ли Заратустра украсть у черта его кусок? Ну, так и быть! Желаем хорошо поужинать! Если только черт не лучший еще вор, чем Заратустра!— ои украдет их обоих, ои съест их обоих!» И оии смеялись и перешептывались между собой.

Заратустра не сказал на это ни слова и шел своей дорогой. Ои шел два часа по лесам и болотам и очень часто слышал голодиый вой волков; иакоиец и иа него напал голод. Он остановился перед уедииеным домом, в котором горел свет.

«Голод иападает иа меня, как разбойник,— сказал Заратустра.— В лесах и болотах иападает иа меия голод мой и в глубокую ночь.

Удивительиые капризы у моего голода. Часто иаступает ои у меия только после обеда, и сегодия целый деиь я ие чувствовал его: где же замешкался он?»

И с этими словами Заратустра постучался в дверь

дома. Появился старик; он нес свет и спросил: «Кто идет ко мне и нарушает мой скверный сон?»

«Живой и мертвый,— отвечал Заратустра.— Дайте мне поесть и попить; днем я забыл об этом. Тот, кто кормит голодного, насыщает свою собственную душу: так говорит мудрость».

Старик ушел, но тотчас вернулся и предложил Заратустре хлеб и вино. «Здесь плохая сторона для голодающих,— сказал он,— поэтому я и живу здесь. Зверь и человек приходят ко мне, отшельнику. Но позови же своего товарища поесть и попить, он устал еще больше, чем ты». Заратустра отвечал: «Мертв мой товарищ, было бы трудно уговорить его поесть». «Это меня не касается,— ворча произнес старик.— Кто стучится в мою дверь, должен принимать то, что я ему предлагаю. Ешьте и будьте здоровы!»—

После этого Заратустра шел еще два часа, доверяясь дороге и свету звезд: ибо он был привычный ночной ходок и любил всему спящему смотреть в лицо. Но когда стало светать, Заратустра очутился в глубоком лесу, и дальше уже не было видно дороги. Тогда он положил мертвого в дупло дерева на высоте своей головы,— ибо он хотел защитить его от волков,— и сам лег на землю, на мох. И тотчас уснул он, усталый телом, но с непреклонной душою.

9

Долго спал Заратустра, и не только утренняя заря, но и полдень прошли по лицу его. Но наконец он открыл глаза: с удивлением посмотрел Заратустра на лес и тишину, с удивлением заглянул он внутрь самого себя. Потом он быстро поднялся, как моряк, завидевший внезапно землю, и возликовал: ибо он увидел новую истину. И так говорил он тогда в сердце своем:

«Свет изошел на меня: мне нужны последователи, и притом живые,— не мертвые последователи и не трупы, которых ношу я с собою, куда я хочу.

Мне нужны живые последователи, которые следуют за мною, потому что хотят следовать сами за собой,— и туда, куда я хочу.

Свет изошел на меня: не к народу должен говорить

Заратустра, а к последователям! Заратустра не должеи быть пастухом и собакою стада!

Сманить многих из стада — для этого пришел я. Негодовать будут на меня народ и стадо: разбойником хочет иазываться Заратустра у пастухов.

Пастухи, говорю я, ио они иазывают себя добрыми и праведиыми. Пастухи, говорю я, но оии называют себя правоверными.

Посмотрите на добрых и праведных! Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает скрижали их ценностей, разрушителя, преступника:— но это и есть созидающий.

Посмотрите на правоверных! Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает скрижали их ценностей, разрушителя, преступника:— но это и есть созидающий.

Последователей ищет созидающий, а не трупов, а также не стада и не правоверных. Созидающих так же, как ои, ищет созидающий, тех, что пишут иовые ценности иа новых скрижалях.

Последователей ищет созидающий и тех, кто собирал бы жатву вместе с ним: ибо все созрело у него для жатвы. Но ему недостает сотии серпов: поэтому он вырывает колосья и негодует.

Последователей ищет созидающий и тех, кто умеет точить свои серпы. Разрушителями будут называться они и ненавистиками добрых и злых. Но они соберут жатву и будут праздновать.

Созидающих вместе с ним ищет Заратустра, собирающих жатву и празднующих вместе с ним ищет Заратустра: что́ стал бы он создавать со стадами, пастухами и трупами!

И ты, мой первый последователь, прощай! Хорошо схоронил я тебя в дупле дерева, хорошо спрятал я тебя от волков.

Но я расстаюсь с тобою, ибо время пришло. От зари до зари осенила меня новая истииа.

Ни пастухом, ни могильщиком не должен я быть. Никогда больше не буду я говорить к народу: в последиий раз говорил я к мертвому.

К созидающим, собирающим жатву и праздиующим хочу я присоединиться: радугу хочу я показать им и все ступени, ведущие к сверхчеловеку.

Отшельиикам буду я петь свою песню и тем, кто жи-

вут вдвоем; и у кого есть еще уши, чтобы слышать иеслыхаииое, тому хочу я обременить его сердце счастьем своим.

Я стремлюсь к своей цели, я иду своей дорогой; через медлительиых и иерадивых перепрыгиу я. Пусть будет мой путь их гибелью!»

10

Так говорил Заратустра в сердце своем, а солнце стало уже иа полдеиь: тогда он вопросительио взгляиул иа иебо — ибо услышал иад собою резкий крик птицы. И он увидел орла: описывая широкие круги, иесся тот в воздухе, а с иим — змея, ио не в виде добычи, а как подруга: ибо она обвила своими кольцами шею его.

«Это мои звери!»— сказал Заратустра и обрадовался в сердце своем.

«Самое гордое животиое, какое есть под солнцем, и животиое самое умиое, какое есть под солицем,— оии отправились на разведки.

Оии хотят знать, жив ли еще Заратустра. И поистиие, жив ли я еще?

Опаснее оказалось быть среди людей, чем среди зверей, опасиыми путями ходит Заратустра. Путь же ведут меия мои звери!»

Сказав это, Заратустра вспомиил слова святого в лесу, вздохиул и говорил так в сердце своем:

«Если бы я мог стать мудрее! Если бы я мог стать мудрым вполие, как змея моя!

Но иевозможиого хочу я: попрошу же я свою гордость идти всегда вместе с моей мудростью!

И если когда-иибудь моя мудрость покииет меия:— ах, оиа любит улетать!— пусть тогда моя гордость улетит вместе с моим безумием!»—

— Так начался закат Заратустры.

РЕЧИ ЗАРАТУСТРЫ

О трех превращениях

Три превращения духа называю я вам: как дух стаиовится верблюдом, львом — верблюд и, накоиец, ребеиком становится лев.

Много трудного существует для духа, для духа сильного и выносливого, который способен к глубокому почитанию: ко всему тяжелому и самому трудному стремится сила его.

«Что есть тяжесть?» — вопрошает выносливый дух, становится, как верблюд, на колени и хочет, чтобы хорошенько навьючили его.

«Что есть самое трудное?» — так вопрошает выносливый дух; скажите, герои, чтобы взял я это на себя и радовался силе своей.

Не значит ли это: унизиться, чтобы заставить страдать свое высокомерие? Заставить блистать свое безумие, чтобы осмеять свою мудрость?

Или это значит: бежать от нашего дела, когда оно празднует свою победу? Подняться на высокие горы, чтобы искусить искусителя?

Или это значит: питаться желудями и травой познания и ради истины терпеть голод души?

Или это значит: больным быть, и отослать утешителей, и заключить дружбу с глухими, которые никогда не слышат, чего ты хочешь?

Или это значит: опуститься в грязную воду, если это вода истины, и не гнать от себя холодных лягушек и теплых жаб?

Или это значит: тех любить, кто нас презирает, и простирать руку привидению, когда оно хочет пугать нас?

Все самое трудное берет на себя выносливый дух: подобно навьюченному верблюду, который спешит в пустыню, спешит и он в свою пустыню.

Но в самой уединенной пустыне совершается второе превращение: здесь львом становится дух, свободу хочет он себе завоевать и господином быть в своей собственной пустыне.

Своего последнего господина ищет он здесь: врагом хочет он стать ему и своему последнему богу, из-за победы он хочет бороться с великим драконом.

Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более называть господином и богом? «Ты должен» называется великий дракон. Но дух льва говорит: «Я хочу».

Чешуйчатый зверь «ты должен», искрясь золотыми искрами, лежит на его дороге, и на каждой чешуе его блестит, как золото, «ты должен»!

Тысячелетние ценности блестят на этих чешуях, и так говорит сильнейший из всех драконов: «Ценности всех вещей — блестят на мне».

«Все ценности уже созданы, и каждая созданная ценность — это я. Поистине, «я хочу» не должно более существовать!» Так говорит дракон.

Братья мои, к чему нужен лев в человеческом духе? Чему не удовлетворяет подъяремный зверь, воздержанный и почтительный?

Создавать новые ценности — этого не может еще лев: но создать себе свободу для нового созидания — этого может достичь сила льва.

Завоевать себе свободу и священное «нет» даже перед долгом: для этого, братья мои, нужно стать львом.

Завоевать себе право для новых ценностей — это самое страшное завоевание для духа выносливого и почтительного. Поистине, оно кажется ему грабежом и делом хищного зверя.

Как свою святыню, любил он когда-то «ты должен»: теперь ему надо видеть даже в этой святыне произвол и мечту, чтобы завоевать себе свободу от любви своей: нужно стать львом для этой победы.

Но скажите, братья мои, что может сделать ребенок, чего не мог бы даже лев? Почему хищный лев должен стать еще ребенком?

Дитя есть невинность и забвение, новое начинание, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово утверждения.

Да, для игры созидания, братья мои, нужно святое слово утверждения: *своей* воли хочет теперь дух, *свой* мир находит отрешившийся от него.

Три превращения духа назвал я вам: как дух стал верблюдом, львом — верблюд и, наконец, лев — ребенком.—

Так говорил Заратустра. В тот раз остановился он в городе, названном «Пестрая корова».

О кафедрах добродетели

Заратустре хвалили одного мудреца, который умел хорошо говорить о сне и о добродетели: за это его высоко

чтили и награждали, и все юноши садились перед кафедрой его. К нему пошел Заратустра, и вместе со всеми юношами сел перед кафедрой его. И так говорил мудрец:

«Честь и стыд перед сном! Это первое! И избегайте встречи с теми, кто плохо спят и бодрствуют ночью!

Стыдлив и вор в присутствии сна: потихоньку крадется он в ночи. Но нет стыда у ночного сторожа, не стыдясь трубит он в свой рог.

Уметь спать — не пустячное дело: чтобы хорошо спать, надо бодрствовать в течение целого дня.

Десять раз должен ты днем преодолеть самого себя: это даст хорошую усталость, это мак души.

Десять раз должен ты мириться с самим собою; ибо преодоление есть обида, и дурно спит непомирившийся.

Десять истин должен найти ты в течение дня: иначе ты будешь и ночью искать истины, и твоя душа останется голодной.

Десять раз должен ты смеяться в течение дня и быть веселым: иначе будет тебя ночью беспокоить желудок, этот отец скорби.

Немногие знают это; но надо обладать всеми добродетелями, чтобы спать хорошо. Не дал ли я ложного свидетельства? Не нарушил ли я супружеской верности?

Не позволил ли я себе пожелать рабыни ближнего моего? Все это мешало бы хорошему сну.

И даже при существовании всех добродетелей надо еще понимать одно: уметь вовремя послать спать все добродетели.

Чтобы не ссорились между собой эти милые женщины! И из-за тебя также, несчастный!

Живи в мире с богом и соседом: этого требует хороший сон. И живи также в мире с соседским чертом! Иначе ночью он будет посещать тебя.

Чти начальство и повинуйся ему, даже хромому начальству! Этого требует хороший сон. Разве моя вина, если начальство любит ходить на хромых ногах?

Тот, по-моему, лучший пастух, кто пасет своих овец на тучных лугах: этого требует хороший сон.

Я не хочу ни больших почестей, ни больших сокровищ: то и другое раздражает селезенку. Однако дурно спится без доброго имени и малых сокровищ.

Маленькое общество для меня предпочтительнее, чем

злое: но и оно должно приходить и уходить вовремя. Этого требует хороший сон.

Мне также очень нравятся нищие духом: они способствуют сну. Блаженны они, особенно если всегда воздают им должное.

Так проходит день у добродетельного. Но когда наступает ночь, я остерегаюсь, конечно, призывать сон! Он не хочет, чтобы его призывали,— его, который есть господин всех добродетелей!

Но я размышляю, что я сделал и о чем я думал в течение дня. Пережевывая, спрашиваю я себя, терпеливо, как корова: каковы, однако, были твои десять преодолений?

И каковы были те десять примирений, десять истин и десять случаев смеха, которыми мое сердце радовало себя?

При таком обсуждении и взвешивании сорока мыслей нападает на меня сразу сон, незваный, господин всех добродетелей.

Сон ударяет меня по глазам: и они тяжелеют. Сон касается уст моих, и они остаются отверстыми.

Поистине, тихими шагами приходит он ко мне, лучший из воров, и похищает у меня мои мысли: глупым стою я тогда, как эта кафедра.

Но недолго стою я в таком положении: затем я уже лежу».

Слушая эти речи мудреца, Заратустра смеялся в сердце своем: ибо свет низошел на него. И так говорил он в сердце своем:

«Безумцем кажется мне этот мудрец со своими сорока мыслями; но я верю, что хорошо ему спится.

Счастлив уже и тот, кто живет вблизи этого мудреца! Такой сон заразителен; даже сквозь толстую стену заразителен он.

Сами чары живут в его кафедре. И не напрасно сидели юноши перед проповедником добродетели.

Его мудрость гласит: так бодрствовать, чтобы сон был спокойным. И поистине, если бы жизнь не имела смысла и я должен был бы выбрать бессмыслицу, то эта бессмыслица казалась бы мне наиболее достойной избрания.

Теперь я понимаю ясно, чего некогда искали прежде

всего, когда искали учнтелей добродетелн. Хорошего сна нскали себе и увенчанной маками добродетелн!

Для всех этнх прославленных мудрецов кафедры мудрость была сном без сновнденнй: онн не знали лучшего смысла жнзнн.

И теперь еще встречаются людн, похожне на этого проповедннка добродетелн, не всегда, однако, такне же честные: но нх время прошло. И недолго стоять нм, как уже будут онн лежать.

Блаженны сонлнвые: ибо скоро заснут онн».—

Так говорнл Заратустра.

О мечтающнх о другом мнре

Однажды Заратустра направнл мечту свою по ту сторону человека, подобно всем мечтающнм о другом мнре. Актом страдающего н измученного бога показался тогда мне мнр.

Сном показался тогда мне мнр и поэтическнм твореннем бога; разноцветным дымом пред очамн недовольного бога.

Добро н зло, н радость н страданне, и я и ты — все показалось мне разноцветным дымом пред очамн творца. Отвратнть взор свой от себя захотел творец,— н тогда создал он мнр.

Опьяняющей радостью служнт для страдающего — отвратнть взор от страдання своего н забыться. Опьяняющей радостью н самозабвением казался мне некогда мир.

Этот мир, вечно несовершенный, отраженне вечного протнворечня н несовершенный образ — опьяняющая радость для его. несовершенного творца:— такнм казался мне некогда мнр.

Итак, однажды направнл я свою мечту по ту сторону человека, подобно всем мечтающнм о другом мире. Верно лн — по ту сторону человека?

Ах, братья мои, этот бог, которого я создал, был человеческнм твореннем н человеческнм безумнем, подобно всем богам!

Человеком был он, н прнтом лншь бедной частью человека н моего «я»: нз моего собственного праха и пла-

мени пришел он, этот призрак! И поистине, не пришел он ко мне из другого мира!

Что же случилось, братья мои? Я преодолел себя страдающего, я отнес свой собственный прах на гору, более светлое пламя обрел я в себе. И вот! Призрак *удалился* от меня!

Теперь это было бы для меня страданием, и мукой для выздоровевшего — верить в подобные призраки: теперь это было бы для меня страданием и унижением. Так говорю я к мечтающим о другом мире.

Страданием и бессилием созданы все другие миры, и тем коротким безумием счастья, которое испытывает только страдающий больше всех.

Усталость, желающая одним скачком, скачком смерти, достигнуть конца, бедная усталость неведения, не желающая больше хотеть: ею созданы все боги и другие миры.

Верьте мне, братья мои! Тело, отчаявшееся в теле,— ощупывало пальцами обманутого духа последние стены.

Верьте мне, братья мои! Тело, отчаявшееся в земле,— слышало, как говорили недра бытия.

И тогда захотело оно пробиться головою сквозь последние стены, и не только головою,— и перейти в «другой мир».

Но «другой мир» вполне сокрыт от человека, этот обесчеловеченный нечеловеческий мир, составляющий небесное ничто; и недра бытия не говорят к человеку иначе как в лице человека.

Поистине, трудно доказать всякое бытие и трудно заставить его говорить. Скажите мне, братья мои, разве самые дивные вещи не доказаны еще самым лучшим образом?

Да, это я, и противоречие и сложность «я» говорят самым верным образом о своем бытии, это созидающее, хотящее и оценивающее «я», которое есть мера и ценность вещей.

И это самое верное бытие, «я» — говорит о теле и стремится к телу, даже когда оно творит и предается мечтам и бьется разбитыми крыльями.

Все вернее научается оно говорить, это «я»: и чем больше оно научается, тем больше находит оно слов, чтобы хвалить тело и землю.

Новой гордостн иаучнло меня мое «я», гордостн, которой учу я людей: не прятать больше голову в песок небесных вещей, а гордо держать ее, земную голову, которая создает смысл земли!

Новой воле учу я людей: идти той дорогой, которой слепо шел человек, и хвалить ее н не уклоняться от нее больше в сторону, подобно больным н умирающим!

Больиымн и умнрающнмн былн те, кто презнралн тело н землю н нзобрели небо н искупнтельные каплн кровн: ио даже н этн сладкне н мрачные яды бралн они у тела н земли!

Своей ннщеты хотелн онн нзбежать, а звезды были для ннх слншком далекн. Тогда вздыхалн онн: «О, еслн бы существовали небесные путн, чтобы прокрасться в другое бытие и счастье!» — тогда изобрелн онн свою выдумку н кровавое питье!

Этн иеблагодариые — онн мечталн, что отреклнсь от своего тела и от этой землн. Но кому же обязаиы онн судорогами н блаженством своего отречення? Своему телу н этой земле.

Снисходнтелен Заратустра к больным. Понстнне, он не сердится на их способы утешення н на нх неблагодарность. Пусть будут онн выздоравливающнмн и преодолевающимн, н пусть создадут себе высшее тело!

Не сердится Заратустра и на выздоравливающего, когда ои с нежиостью взирает иа свою мечту и в полночь крадется к могнле своего бога: но болезнью н больиым телом остаются для меня его слезы.

Много больиого народа встречалось всегда средн тех, кто предаются мечтам н томятся по богу: яростно ненавндят онн познающего н ту самую младшую нз добродетелей, которая зовется: правднвость.

Оин смотрят всегда назад в темные времена: тогда, понстнне, мечта н вера былн другнмн вещамн; ненстовство разума было богоподобнем н сомнеиие — грехом.

Слишком хорошо знаю я этих богоподобных: оин хотят, чтобы в ннх верили и чтобы сомненне было грехом. Слншком хорошо зиаю я также, во что самн онн верят больше всего.

Поистине, не в другне мнры н нскупительные каплн крови: но в тело больше всего верят оии, и на свое собственное тело смотрят они как иа вещь в себе.

Но болезненной вещью является оно для них: и они охотно ушли бы из кожи. Поэтому они прислушиваются к проповедникам смерти и сами проповедуют другие миры.

Лучше слушайтесь, братья мои, голоса здорового тела: это — более правдивый и чистый голос.

Более правдиво и часто говорит здоровое тело, совершенное и с прямыми углами: и оно говорит о смысле земли.—

Так говорил Заратустра.

О презирающих тело

К презирающим тело хочу я сказать мое слово. Не переучиваться и переучивать должны они, но только проститься со своим собственным телом — и таким образом стать немыми.

«Я тело и душа»,— так говорит ребенок. И почему не говорить, как дети?

Но пробудившийся, знающий говорит: я — тело, только тело и ничто больше; а душа есть только слово для обозначения чего-то в теле.

Тело — это большой разум, множество с одним сознанием, война и мир, стадо и пастырь.

Орудием твоего тела является также твой маленький разум, брат мой; ты называешь «духом» это маленькое орудие, эту игрушку твоего большого разума.

«Я»,— говоришь ты и гордишься этим словом. Но больше его — во что не хочешь ты верить — тело твое с его большим разумом: оно не говорит «я», но делает его.

Что чувствует чувство и что познает ум — никогда не имеет в себе своей цели. Но чувство и ум хотели бы убедить тебя, что они цель всех вещей: так тщеславны они.

Орудием и игрушкой являются чувство и ум: за ними лежит еще Само. Само ищет также глазами чувств, оно прислушивается также ушами духа.

Само всегда прислушивается и ищет: оно сравнивает, подчиняет, завоевывает, разрушает. Оно господствует и является даже господином над «я».

За твоими мыслями и чувствами, брат мой, стоит более могущественный повелитель, неведомый мудрец,—

он называется Само. В твоем теле он живет; он и есть твое тело.

Больше разума в твоем теле, чем в твоей высшей мудрости. И кто знает, для чего нужна твоему телу твоя высшая мудрость?

Твое Само смеется над твоим «я» и его гордыми скачками. «Что мне эти скачки и полеты мысли?— говорит оно себе.— Окольный путь к моей цели. Я служу помочами для «я» и внушителем его понятий».

Само говорит к «я»: «Здесь ощущай боль!» И вот оно страдает и думает о том, как бы больше не страдать — и для этого именно д о л ж н о оно думать.

Само говорит к «я»: «Здесь чувствуй радость!» И вот оно радуется и думает о том, как бы почаще радоваться — и для этого именно д о л ж н о оно думать.

К презирающим тело хочу я сказать слово. То, что презирают они, составляет предмет их любви. Что же создало любовь и презрение, ценность и волю?

Созидающее Само создало себе любовь и презрение, оно создало себе радость и горе. Созидающее тело создало себе дух как орудие своей воли.

Даже в своем безумии и презрении вы, презирающие тело, вы служите своему Само. Я говорю вам: ваше Само хочет умереть и отворачивается от жизни.

Оно уже не в силах делать то, чего оно хочет больше всего:— созидать дальше себя. Этого хочет оно больше всего, в этом все страстное желание его.

Но теперь это стало для него слишком поздно:— и вот ваше Само хочет погибнуть, вы, презирающие тело.

Ваше Само хочет погибнуть, и потому вы стали презирающими тело! Ибо вы уже больше не в силах созидать дальше себя.

И потому вы негодуете на жизнь и землю. Бессознательная зависть светится в косом взгляде вашего презрения.

Я не следую вашим путем, вы, презирающие тело! Для меня вы не мост, ведущий к сверхчеловеку!—

Так говорил Заратустра.

О радостях и страстях

Брат мой, если у тебя добродетель, и она твоя добродетель, то ты ие владеешь ею сообща с другими.

Коиечно, ты хочешь иазывать ее по имени и ласкать ее: ты хочешь подергать ее за ушко и позабавиться с нею.

И смотри! Теперь ты обладаешь ее имеием сообща с народом, и сам ты с твоей добродетелью стал иародом и стадом!

Лучше было бы тебе сказать: «Нет слов, иет названия тому, что составляет муку и сладость моей души, а также мой внутренний голод».

Пусть твоя добродетель будет слишком высока, чтобы доверить ее имеии: и если ты должеи говорить о ией, то ие стыдись говорить о ией шепотом.

Говори шепотом: «Это *мое* добро, каким я люблю его, каким оно всецело мие иравится, и лишь таким я хочу его.

Не потому я хочу его, чтобы было оно божествеииым закоиом, и ие потому я хочу его, чтобы было оно человеческим установлением и человеческой иеобходимостью: оно не служит мие указателем иа иебо или в рай.

Только земиую добродетель люблю я: в ней мало мудрости, и всего меиьше разума всех людей.

Но эта птица свила у меия гиездо себе: поэтому я люблю и прижимаю ее к сердцу:— теперь иа золотых яйцах она сидит у меня».

Так должеи ты говорить шепотом и хвалить свою добродетель.

Некогда были у тебя страсти, и ты иазывал их злыми. А теперь у тебя только твои добродетели: они выросли из твоих страстей.

Ты положил свою высшую цель в эти страсти: и вот оии стали твоей добродетелью и твоей радостью.

И если бы ты был из рода вспыльчивых, или из рода сластолюбцев, или изуверов, или людей мстительных:

все-таки в коице коицов все твои страсти обратились бы в добродетели и все твои демоны — в ангелов.

Некогда были дикие псы в твоих иедрах: но в коице концов обратились оии в птиц и прелестиых певуиий.

Из своих ядов приготовил ты себе бальзам свой; ты

доил корову — скорбь свою,— теперь ты пьешь сладкое молоко ее вымени.

И впредь ничего злого не вырастет из тебя, кроме зла, которое вырастает из борьбы твоих добродетелей.

Брат мой, если ты счастлив, то у тебя одна добродетель и не более:— тогда легче проходишь ты по мосту.

Почтенно иметь много добродетелей — но это тяжелый рок: многие шли в пустыню и убивали себя, ибо они уставали быть битвой и полем сражения добродетелей.

Брат мой, зло ли война и битвы? Однако это зло необходимо, необходимы и зависть, и недоверие, и клевета между твоими добродетелями.

Посмотри, как каждая из твоих добродетелей жаждет высшего: она хочет всего твоего духа, чтобы был он ее вестником, она хочет всей твоей силы в гневе, ненависти и любви.

Ревнива каждая добродетель к другой, а ревность — ужасная вещь. Даже добродетель может погибнуть из-за ревности.

Кого окружает пламя ревности, тот обращает, наконец, подобно скорпиону, отравленное жало на самого себя.

Ах, брат мой, разве ты никогда еще не видел, как добродетель клевещет на себя и закалывает самое себя?

Человек есть нечто, что дóлжно превзойти: и потому ты должен любить свои добродетели:— ибо от них ты погибнешь.—

Так говорил Заратустра.

О бледном преступнике

Вы не хотите убивать, вы, судьи и жертвоприносители, пока животное не наклонит головы? Взгляните, бледный преступник склонил голову, из его глаз говорит великое презрение.

«Мое «я» есть нечто, что дóлжно превзойти: мое «я» служит для меня великим презрением к человеку»,— так говорят глаза его.

То, что он сам осудил себя, было его высшим мгновением: не допускайте, чтобы тот, кто возвысился, опять опустился в свою пропасть!

Нет спасення для того, кто так страдает от себя самого,— кроме быстрой смертн.

Ваше убийство, судьн, должно быть жалостью, а не мщением. И убнвая, блюдите, чтобы самн вы оправдывали жизнь!

Недостаточно примирнться с тем, кого вы убиваете. Ваша печаль да будет любовью к сверхчеловеку: так оправдываете вы продление своей жизни!

«Враг» должны вы говорнть, а не «злодей»; «больной» должны вы говорить, а ие «иегодяй»; «сумасшедший» должны вы говорить, а ие «грешннк».

И ты, красный судня, если бы ты громко сказал все, что ты совершил уже в мыслях, каждый закрнчал бы: «Прочь эту грязь н этого ядовитого червя!»

Но одио — мысль, другое — дело, третье — образ дела. Между ними не вращается колесо причииностн.

Образ сделал этого бледного человека бледиым. На высоте своего дела был ои, когда он совершал его: но ои ие вынес его образа, когда оио совершилось.

Всегда смотрел он на себя как на совершившего одно только дело. Безумнем называю я это: исключеине превратнлось в существо его.

Черта околдовывает курицу; удар, который ои наиес, околдовывает его бедный разум — безумнем п о с л е дела называю я это.

Слушайте, вы, судьн! Другое безумие существует еще: это безумие п е р е д делом. Ах, вы проннклн недостаточио глубоко в эту душу!

Так говорит красный судия: «Но ради чего убил этот преступннк? Он хотел ограбить».

Но я говрю вам: душа его хотела кровн, а не грабежа: он жаждал счастья ножа!

Но его бедный разум ие понял этого безумня и убедил его. «Что за важность — кровь!— говорил он.— Не хочешь лн ты по крайней мере совершнть при этом грабеж? Отомстить?»

И он послушался своего бедного разума: как свниец легла на иего его речь,— н вот, убивая, он ограбнл. Он не хотел стыдиться своего безумия.

И теперь опять свинец его вииы лежнт на нем, и опять его бедный разум стал такнм тупым, такнм расслабленным, таким тяжелым.

Еслн бы только он мог тряхнуть головою, его бремя скатнлось бы внна: но кто тряхнет эту голову?

Что такое этот человек? Куча болезней, через дух проникающих в мир: там ищут они своей добычи.

Что такое этот человек? Клубок диких змей, которые редко вместе бывают спокойны,— и вот онн расползаются и ищут добычи в мире.

Взгляните на это бедное тело! Что оно выстрадало и чего страстно желало, это пыталась объяснить себе эта бедная душа,— она объясняла это как радость убийства н завнсть к счастью ножа.

Кто теперь становнтся больным, на того нападает зло, которое теперь считается злом: страдание хочет он прнчинять тем самым, что ему причиняет страданне. Но былн другие времена, н другне зло н добро.

Некогда были злом сомнение н воля к самому себе. Тогда становился больной еретиком и колдуном: как еретик и колдун страдал он н хотел заставить страдать другнх.

Но это не вмещается в вашн ушн: это вредит вашим добрым, говорите вы мне. Но что мне за дело до ваших добрых!

Многое в вашнх добрых вызывает во мне отвращение, и, поистине, не нх зло. Я хотел бы, чтобы охватило нх безумие, от которого онн бы погиблн, как этот бледный преступник!

Понстнне, я хотел бы, чтобы нх безумие называлось истиной, или верностью, или справедливостью: но у ннх есть своя добродетель, чтобы долго жнть в жалком довольстве собою.

Я — перила моста на стремнтельном потоке: держись за меня, кто может за меня держаться. Но вашнм костылем не служу я.—

Так говорил Заратустра.

О чтении и письме

Из всего написанного люблю я только то, что пишется своей кровью. Пиши кровью: и ты узнаешь, что кровь есть дух.

Нелегко понять чужую кровь: я ненавнжу чнтающих из праздностн.

Кто знает читателя, тот ннчего не делает для читателя. Еще одио столетие читателей — н дух сам будет дурно пахиуть.

То, что каждый имеет право учнться читать, портит надолго не только писаиие, но и мысль.

Некогда дух был богом, потом стал человеком, а ныне становнтся он даже толпою.

Кто пншет кровью и притчами, тот хочет, чтобы его не чнтали, а заучивали иаизусть.

В горах кратчайший путь — с вершнны на вершнну: ио для этого надо иметь длнниые ногн. Прнтчн должны быть вершииами: и те, к кому говорят онн,— большнмн и сильнымн.

Воздух разрежеиивый н чистый, опасиость блнзкая н дух, полиый радостиой злобы: все это хорошо ндет одно к другому.

Я хочу, чтобы кругом меия были горные духи, ибо мужествен я. Мужество гоинт прнзраков, само создает себе гориых духов — мужество хочет смеяться.

Я ие чувствую более общеиия с вамн: эта туча, что я вижу под собой, эта чериота и тяжесть, иад которымн я смеюсь,— такова ваша грозовая туча.

Вы смотрите вверх, когда вы стремитесь подняться. А я смотрю вниз, ибо я подиялся.

Кто из вас может одновременно смеяться н быть высоко?

Кто поднимается на высочайшие горы, тот смеется иад всякой трагедией сцены и жизии.

Беззаботиымн, иасмешливыми, сильиыми — такимн хочет вндеть н а с мудрость: она — жеищниа и любнт всегда только воина.

Вы говорите мне: «Жнзнь тяжело нести». Но к чему была бы вам ваша гордость поутру и ваша покориость вечером?

Жнзнь тяжело нести: ио ие притворяйтесь же такимн нежиыми! Мы все прекрасные подъяремные ослы н ослицы.

Что у нас общего с розовой почкой, которая дрожнт, ибо капля росы лежит у иее на теле?

Правда: мы любнм жизиь, но не потому что к жизни, а потому что к любвн мы прнвыкли.

В любвн всегда есть немного безумия. Но н в безумнн всегда есть иемиого разума.

И даже мне, расположенному к жизни, кажется, что мотыльки и мыльные пузыри и те, кто похож на них среди людей, больше всех знают о счастье.

Смотреть, как порхают эти легкие, неразумные, красивые, подвижные маленькие души,— это доводит Заратустру до слез и песен.

Я бы поверил только в такого бога, который умел бы танцевать.

И когда я видел своего демона, я находил его серьезным, тяжелым, глубоким и торжественным: это был дух тяжести — благодаря ему все вещи падают на землю.

Убивают не гневом, а смехом. Вставайте, помогите нам убить дух тяжести!

Я научился ходить: с тех пор я позволяю себе бегать. Я научился летать: с тех пор я не жду толчка, чтобы двинуться с места.

Теперь я легок, теперь я летаю, теперь я вижу себя под собой, теперь бог танцует во мне.—

Так говорил Заратустра.

О дереве на горе

Заратустра заметил, что один юноша избегает его. И вот однажды вечером, когда шел он один по горам, окружавшим город, называемый «Пестрая корова», он встретил этого юношу сидевшим на земле, у дерева, и смотревшим усталым взором в долину. Заратустра дотронулся до дерева, у которого сидел юноша, и говорил так:

«Если бы я захотел потрясти это дерево своими руками, я бы не мог этого сделать.

Но ветер, невидимый нами, терзает и гнет его, куда он хочет. Невидимые руки еще больше гнут и терзают нас».

Тогда юноша встал в смущении и сказал: «Я слышу Заратустру, я только что думал о нем». Заратустра отвечал:

«Чего же ты пугаешься?— С человеком происходит то же, что и с деревом.

Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже простираются корни его в землю, вниз, во мрак и глубину,— к злу».

«Да, к злу!— воскликнул юноша.— Как же возможно, что ты открыл мою душу?»

Заратустра засмеялся и сказал: «Есть души, которых никогда не откроют, разве что сперва выдумают их».

«Да, к злу!— воскликнул юноша еще раз.— Ты сказал истину, Заратустра. Я не верю больше в себя самого с тех пор как стремлюсь я вверх, и никто уже не верит в меня,— но как же случилось это?

Я меняюсь слишком быстро: мое сегодня опровергает мое вчера. Я часто перепрыгиваю ступени, когда поднимаюсь,— этого не прощает мне ни одна ступень.

Когда я наверху, я нахожу себя всегда одиноким. Никто не говорит со мною, холод одиночества заставляет меня дрожать. Чего же хочу я на высоте?

Мое презрение и мое желание растут одновременно; чем выше поднимаюсь я, тем больше презираю я того, кто поднимается. Чего же хочет он на высоте?

Как стыжусь я своего восхождения и спотыкания! Как смеюсь я над своим усиленным дыханием! Как ненавижу я летающего! Как устал я на высоте!»

Тут юноша умолк. А Заратустра посмотрел на дерево, у которого они стояли, и говорил так:

«Это дерево стоит одиноко здесь на горе, оно выросло высоко над человеком и животным.

И если бы оно захотело говорить, не нашлось бы никого, кто мог бы понять его: так высоко выросло оно.

Теперь ждет оно и ждет,— чего же ждет оно? Оно находится слишком близко к облакам: оно ждет, вероятно, первой молнии?»

Когда Заратустра сказал это, юноша воскликнул в сильном волнении: «Да, Заратустра, ты говоришь истину. Своей гибели желал я, стремясь в высоту, и ты та молния, которой я ждал! Взгляни, что я такое, с тех пор как ты явился к нам! З а в и с т ь к тебе убила меня!»— Так говорил юноша и горько плакал. А Заратустра обнял его и увел с собою.

И когда они вместе прошли немного, Заратустра начал так говорить:

«Разрывается сердце мое. Больше чем твои слова, твой взор говорит мне об опасности, которой ты подвергаешься.

Ты еще не свободен, ты ищешь еще свободы. Бодр-

ствующим сделало тебя твое искание и лишило тебя сна.

В свободную высь стремишься ты, звезд жаждет твоя душа. Но твои дурные инстинкты также жаждут свободы.

Твои дикие псы хотят на свободу; они лают от радости в своем подземелье, пока твой дух стремится отворить все темницы.

По-моему, ты еще заключенный в тюрьме, мечтающий о свободе: ах, мудрой становится душа у таких заключенных, но также лукавой и дурной.

Очиститься должен еще освободившийся дух. В нем еще много от тюрьмы и от грязи: чистым должен еще стать его взор.

Да, я знаю твою опасность. Но моей любовью и надеждой заклинаю я тебя: не бросай своей любви и надежды!

Ты еще чувствуешь себя благородным, и благородным чувствуют тебя также и другие, кто не любят тебя и посылают вослед тебе злые взгляды. Знай, что у всех поперек дороги стоит благородный.

Даже для добрых стоит благородный поперек дороги: и даже когда они называют его добрым, этим хотят они устранить его с дороги.

Новое хочет создать благородный, новую добродетель. Старого хочет добрый, и чтобы старое сохранилось.

Но не в том опасность для благородного, что он станет добрым, а в том, что он станет наглым, будет насмешником и разрушителем.

Ах, я знал благородных, потерявших свою высшую надежду. И теперь клеветали они на все высшие надежды.

Теперь жили они, наглые, среди кратких удовольствий, и едва на день хватало целн у них.

«Дух — тоже сладострастие»,— так говорили они. Тогда разбились крылья у духа их: теперь ползает он всюду и грязнит все, что гложет.

Некогда мечтали они стать героями: теперь они сластолюбцы. Печаль и ужас для них герой.

Но моей любовью и надеждой заклинаю я тебя: храни героя в своей душе! Храни свято свою высшую надежду!»—

Так говорил Заратустра.

О проповедниках смерти

Есть проповедники смерти: и земля полна теми, кому нужно проповедовать отвращение к жизни.

Земля полна лишними, жизнь испорчена чрезмерным множеством людей. О, если бы можно было «вечной жизнью» сманить их из этой жизни!

«Желтые» или «черные»: так называют проповедников смерти. Но я хочу показать их вам еще и в других красках.

Вот они, ужасные, которые носят в себе хищного зверя и не имеют другого выбора, кроме вожделения или самоумерщвления. Но и вожделение их — тоже самоумерщвление.

Они еще не стали людьми, эти ужасные: пусть же проповедуют они отвращение к жизни и сами уходят!

Вот — чахоточные душою: едва родились они, как уже начинают умирать и жаждут учений усталости и отречения.

Они охотно желали бы быть мертвыми, и мы должны одобрить их волю! Будем же остерегаться, чтобы не воскресить этих мертвых и не повредить эти живые гробы!

Повстречается ли им больной, или старик, или труп; и тотчас говорят они: «Жизнь опровергнута!»

Но только опровергнуты они и их глаза, видящие лишь одно лицо в существовании.

Погруженные в глубокое уныние и внимательные только к маленьким случайностям, приносящим смерть: так ждут они, стиснув зубы.

Или же они хватаются за сласти и смеются при этом своему ребячеству: они висят на жизни, как на соломинке, и смеются, что они еще висят на соломинке.

Их мудрость гласит: «Глупец тот, кто остается жить, и мы настолько же глупы. Это и есть самое глупое в жизни!»—

«Жизнь есть только страдание»— так говорят другие и не лгут: так постарайтесь же, чтобы перестать в а м существовать! Так постарайтесь же, чтобы кончилась жизнь, которая есть только страдание!

И да гласит правило вашей добродетели: «Ты должен убить самого себя! Ты должен сам себя украсть у себя!»—

«Сладострастие есть грех,— так говорят проповедую-

щие смерть,— дайте нам идти стороною и не рождать детей!»

«Трудно родить,— говорят другие,— к чему еще рождать? Родятся лишь несчастные!» И они также проповедники смерти.

«Нам нужна жалость,— так говорят третьи.— Возьмите, что есть у меня! Возьмите меня самого! Тем меньше я буду связан с жизнью!»

Если бы они были совсем сострадательные, они отбили бы у своих ближних охоту к жизни. Быть злым — было бы их истинной добротою.

Но они хотят освободиться от жизни: что им за дело, что они еще крепче связывают других своими цепями и даяниями!

И даже вы, для которых жизнь есть суровый труд и беспокойство: разве вы не очень утомлены жизнью? Разве вы еще не созрели для проповеди смерти?

Все вы, для которых дорог суровый труд и все быстрое, новое, неизвестное,— вы чувствуете себя дурно; ваша деятельность есть бегство и желание забыть самих себя.

Если бы вы больше верили в жизнь, вы меньше отдавались бы мгновению. Но чтобы ждать, в вас не хватает содержания,— и даже чтобы лениться!

Всюду раздается голос тех, кто проповедуют смерть: и земля полна теми, кому нужно проповедовать смерть.

Или «вечную жизнь»: мне все равно,— если только они не замедлят отправиться туда!—

Так говорил Заратустра.

О войне и воинах

Мы не хотим пощады от наших лучших врагов, а также от тех, кого мы любим до глубины души. Позвольте же мне сказать вам правду!

Мои собратья по войне! Я люблю вас до глубины души; теперь и прежде я был с вами равным. И я также ваш лучший враг. Позвольте же мне сказать вам правду!

Я знаю о ненависти и зависти вашего сердца. Вы недостаточно велики, чтобы не знать ненависти и зависти.

Так будьте же настолько велики, чтобы не стыдиться себя самих!

И если вы не можете быть подвижниками познания, то будьте по крайней мере его воинами. Они спутники и предвестники этого подвижничества.

Я вижу множество солдат: как хотел бы я видеть много воинов! Однообразно, в мундир, одеты они: да не будет так однообразно то, что скрывают они под мундиром!

Будьте такими, чей взор всегда ищет врага — с в о е г о врага. И у некоторых из вас сквозит ненависть с первого взгляда.

Своего врага ищите вы, свою войну ведите вы, войну за свои мысли! И если ваша мысль не устоит, все-таки ваша честность должна и над этим праздновать победу!

Любите мир как средство к новым войнам. И притом короткий мир — больше, чем долгий.

Я призываю вас не к работе, а к борьбе. Я призываю вас не к миру, а к победе. Да будет труд ваш борьбой и мир ваш победою!

Можно молчать и сидеть смирно, только когда есть стрелы и лук: иначе болтают и ссорятся. Да будет ваш мир победою!

Вы говорите, что благая цель освящает даже войну? Я же говорю вам, что благо войны освящает всякую цель.

Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Не ваша жалость, а ваша храбрость спасла доселе несчастных.

«Что хорошо?»— спрашиваете вы. Хорошо быть храбрым. Предоставьте маленьким девочкам говорить: «Быть добрым — вот что мило и в то же время трогательно».

Вас называют бессердечными: но ваше сердце неподдельно, и я люблю стыдливость вашей сердечности. Вы стыдитесь прилива ваших чувств, а другие стыдятся их отлива.

Вы безобразны? Ну что ж, братья мои! Окутайте себя возвышенным, этой мантией безобразного!

И когда ваша душа становится большой, она становится высокомерной; и в вашей возвышенности есть злоба. Я знаю вас.

В злобе встречается высокомерный со слабым. Но они не понимают друг друга. Я знаю вас.

Враги у вас должны быть только такие, которых вы

ненавидели бы, а не такие, чтобы их презирать. Надо, чтобы вы гордились своим врагом: тогда успехи вашего врага будут и вашими успехами.

Восстание — это доблесть раба. Вашей доблестью да будет повиновение! Само приказание ваше да будет повиновением!

Для хорошего воина «ты должен» звучит приятнее, чем «я хочу». И все, что вы любите, вы должны сперва приказать себе.

Ваша любовь к жизни да будет любовью к вашей высшей надежде: а этой высшей надеждой пусть будет высшая мысль о жизни!

Но ваша высшая мысль должна быть вам приказана мною — и она гласит: человек есть нечто, что дóлжно превзойти.

Итак, живите вы своей жизнью повиновения и войны! Что пользы в долгой жизни! Какой воин хочет, чтобы щадили его!

Я не щажу вас, я люблю вас всем сердцем, мои собратья по войне!—

Так говорил Заратустра.

О новом кумире

Кое-где существуют еще народы и стада, но не у нас, мои братья: у нас есть государства.

Государство? Что это такое? Теперь слушайте меня, ибо теперь я скажу вам свое слово о смерти народов.

Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжет оно; и эта ложь ползет из уст его: «Я, государство, составляю народ».

Это — ложь! Созидателями были те, кто создали народы и дали им веру и любовь: так служили они жизни.

Разрушители — это те, кто ставит ловушки для многих и называет их государством: они навесили им меч и навязали им сотни желаний.

Если где еще существует народ — не понимает он государства и ненавидит его, как дурной глаз и нарушение обычаев и прав.

Это знамение даю я вам — каждый народ говорит на

своем языке о добре и зле: этого языка не понимает сосед. Свой язык обрел он себе в обычаях и правах.

Но государство лжет на всех языках о добре и зле; и что оно говорит, оно лжет,— и что есть у него, оно украло.

Все в нем обман: крадеными зубами кусает оно, зубастое. Обман — даже внутренности его.

Смешение языков в добре и зле: это знамение даю я вам как знамение государства. Поистине, волю к смерти означает это знамение! Поистине, оно подмигивает проповедникам смерти!

Рождается слишком много людей: для лишних изобретено государство!

Смотрите, как оно их привлекает к себе, это многое множество! Как оно их душит, жует и пережевывает!

«На земле нет ничего больше меня: я упорядочивающий перст божий»— так рычит чудовище. И не только длинноухие и близорукие опускаются на колени!

Ах, даже вам, великие души, нашептывает оно свою мрачную ложь! Ах, оно угадывает богатые сердца, охотно себя расточающие!

Ах, даже вас угадывает оно, вы, победители старого бога! Вы устали в борьбе, и теперь ваша усталость служит новому кумиру!

Героев и честных людей хотел бы он уставить вокруг себя, новый кумир! Оно любит греться в солнечном сиянии чистой совести — холодное чудовище!

Все готов дать в а м, если вы поклонитесь ему, новый кумир: так покупает он себе блеск вашей добродетели и взор ваших гордых очей.

Приманить хочет он вас, вы, многое множество! И вот изобретена была адская штука, конь смерти, бряцающий сбруей божеских почестей!

Да, изобретена была смерть для многих, но она прославляет самое себя как жизнь: поистине, сердечная услуга всем проповедникам смерти!

Государством зову я, где все вместе пьют яд, хорошие и дурные: государством, где все теряют самих себя, хорошие и дурные: государством, где медленное самоубийство всех — называется «жизнью».

Посмотрите же на этих лишних людей! Они крадут произведения изобретателей и сокровища мудрецов:

культурой называют они свою кражу — и все обращается у них в болезнь и несчастье!

Посмотрите же на этих лишних людей! Они всегда больны, они изливают свою желчь и называют это газетой. Они проглатывают друг друга и никогда не могут переварить.

Посмотрите же на этих лишних людей! Богатства приобретают они и делаются от этого беднее. Власти хотят они, и прежде всего рычага власти — много денег,— эти бессильные!

Посмотрите, как лезут они, эти проворные обезьяны! Они лезут друг на друга и потому срываются в грязь и в пропасть.

Все они хотят достичь трона: безумие их в том, будто счастье восседает на троне! Часто грязь восседает на троне — и также часто — трон на грязи.

По-моему, все они безумцы, карабкающиеся обезьяны и находящиеся в бреду. По-моему, дурным запахом несет от их кумира, холодного чудовища: по-моему, дурным запахом несет от всех этих служителей кумира.

Мои братья, разве хотите вы задохнуться в чаду их ртов и желаний! Скорее разбейте окна и прыгайте вон!

Избегайте же дурного запаха! Сторонитесь идолопоклонства лишних людей!

Избегайте же дурного запаха! Сторонитесь дыма этих человеческих жертв!

Свободною стоит для великих душ и теперь еще земля. Свободных много еще мест для одиноких и для тех, кто живет вдвоем, где веет благоухание тихих морей.

Еще свободной стоит для великих душ свободная жизнь. Поистине, кто владеет малым, тем меньше другие будут владеть им: хвала малой бедности!

Там, где оканчивается государство, начинается впервые человек, который не есть лишний: там начинается песнь тех, кто необходим, мелодия единожды существующая и невозвратная.

Туда, где *оканчивается* государство,— туда смотрите, мои братья! Разве вы не видите радугу и мосты, ведущие к сверхчеловеку?—

Так говорил Заратустра.

О базарных мухах

Беги, мой друг, в свое уединение! Я вижу, ты оглушен шумом великих людей и исколот жалами маленьких.

С достоинством умеют лес и скалы хранить молчание вместе с тобою. Опять уподобься твоему любимому дереву с раскинутыми ветвями: тихо, прислушиваясь, склонилось оно над морем.

Где оканчивается уединение, там начинается базар; и где начинается базар, начинается и шум великих комедиантов и жужжанье ядовитых мух.

В мире самые лучшие вещи ничего еще не стоят, если никто не представляет их; великими людьми называет народ этих представителей.

Плохо понимает народ великое, т. е. творческое. Но любит он всех представителей и тех, кто играет в великие вещи.

Вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир:— неслышно вращается он. Но вокруг комедиантов вращается народ и слава: это называется «мировым порядком».

У комедианта есть дух, но мало совести духа. Всегда верит он в то, чем он заставляет верить сильнее всего,— верит в с е б я с а м о г о!

Завтра у него новая вера, а послезавтра еще более новая. Чувства его быстры, как народ, и настроения переменчивы.

Опрокинуть — называется у него: доказать. Сделать сумасшедшим — называется у него: убедить. А кровь для него лучшее из всех оснований.

Истину, проскальзывающую только в тонкие уши, называет он ложью и ничем. Поистине, он верит только в таких богов, которые производят в мире много шума!

Базар полон шумящими паяцами — и народ хвалится своими великими людьми! Для него они — господа минуты.

Но минута настоятельно требует от них ответа: и они требуют его от тебя. Они хотят, чтобы ты сказал «да» или «нет». Горе тебе, если хочешь ты сесть между двумя стульями!

Не завидуй этим безусловным, настоятельно требую-

щим ответа, ты, любитель истины! Никогда еще истина не держалась за руку безусловного.

От этих стремительных удались в безопасность: лишь на базаре нападают с вопросом: «Да или нет?»

Медленно течет жизнь всех глубоких родников: долго должны они ждать, прежде чем узнают, ч т о упало в их глубину.

В сторону от базара и славы уходит все великое: в стороне от базара и славы жили издавна изобретатели новых ценностей.

Беги, мой друг, в свое уединение: я вижу тебя искусанным ядовитыми мухами. Беги туда, где веет суровый, свежий воздух!

Беги в свое уединение! Ты жил слишком близко к маленьким, жалким людям. Беги от их невидимого мщения! В отношении тебя они только мщение.

Не поднимай руки против них! Они — бесчисленны, и не твое назначение быть махалкой для мух.

Бесчисленны эти маленькие, жалкие люди; и не одному уже гордому зданию дождевые капли и сор послужили к гибели.

Ты не камень, но ты стал уже пуст от множества капель. Ты будешь изломан и получишь трещины от множества капель.

Усталым вижу я тебя от ядовитых мух, исцарапанным в кровь вижу я тебя во многих местах; и твоя гордость не хочет даже возмущаться.

Крови твоей хотели бы они при всей невинности, крови жаждут их бескровные души — и потому они кусают при всей невинности.

Но ты глубокий, ты страдаешь слишком глубоко даже от малых ран; и прежде чем ты излечивался, такой же ядовитый червь уже полз по твоей руке.

Ты кажешься мне слишком гордым, чтобы убивать этих лакомок. Но берегись, чтобы не стало твоим назначением выносить их ядовитое насилие!

Они жужжат вокруг тебя со своей похвалой: навязчивость — их похвала. Они хотят близости твоей кожи и твоей крови.

Они льстят тебе, как богу или дьяволу; они визжат перед тобою, как перед богом или дьяволом. Ну что ж! Они — льстецы и визгуны, и ничего более.

Также бывают они часто любезны с тобою. Но это всегда было хитростью трусливых. Да, трусы хитры!

Они много думают о тебе своей узкой душою,— подозрительным кажешься ты им всегда! Все, о чем много думают, становится подозрительным.

Они наказывают тебя за все твои добродетели. Они вполне прощают тебе только — твои ошибки.

Так как ты кроток и справедлив, ты говоришь: «Невиновны они в своем маленьком существовании». Но их узкая душа думает: «Виновно всякое великое существование».

Даже когда ты снисходителен к ним, они все-таки чувствуют, что ты презираешь их; и они возвращают тебе твое благодеяние скрытыми злодеяниями.

Твоя гордость без слов всегда противоречит их вкусу; они громко радуются, когда ты бываешь настолько скромен, чтобы быть тщеславным.

То, что мы узнаем в человеке, воспламеняем мы в нем. Остерегайся же маленьких людей!

Перед тобою чувствуют они себя маленькими, и их низость тлеет и разгорается против тебя в невидимое мщение.

Разве ты не замечал, как умолкали они, когда ты подходил к ним, и как сила их покидала их, как дым покидает угасающий огонь?

Да, мой друг, укором совести являешься ты для своих ближних: ибо они недостойны тебя. И они ненавидят тебя и охотно сосали бы твою кровь.

Твои ближние будут всегда ядовитыми мухами; то, что есть в тебе великого,— должно делать их еще более ядовитыми и еще более похожими на мух.

Беги, мой друг, в свое уединение, туда, где веет суровый, свежий воздух! Не твое назначение быть махалкой для мух.—

Так говорил Заратустра.

О целомудрии

Я люблю лес. В городах трудно жить: там слишком много страстных людей.

Не лучше ли попасть в руки убийцы, чем в предмет мечты страстной женщины?

И посмотрите на этих мужчин: их глаза говорят — они не знают ничего лучшего на земле, как спать с женщиной.

Грязь на дне их души; и горе, если у грязи их есть еще дух!

О, если бы вы совершенны были, по крайней мере, как звери! Но зверям принадлежит невинность.

Разве я советую вам убивать свои чувства? Я советую вам невинность чувств.

Разве целомудрие я советую вам? У иных целомудрие есть добродетель, но у многих почти что порок.

Они, быть может, воздерживаются: но пес чувственности проглядывает с завистью во всем, что они делают.

Даже до высот их добродетели и вплоть до сурового духа их следует за ними это животное и его вражда.

И как ловко умеет пес чувственности молить о духе, когда ему отказывают в теле!

Вы любите трагедии и все, что раздирает сердце? Но я отношусь недоверчиво к вашему псу.

У вас слишком жестокие глаза, и вы похотливо смотрите на страдающих. Не переоделось ли только ваше сладострастие и теперь называется состраданием?

И это знамение даю я вам: многие, желавшие изгнать своего дьявола, сами вошли при этом в свиней.

Кому тягостно целомудрие, тому надо его отсоветовать: чтобы оно не сделалось путем в преисподнюю, т. е. грязью и похотью души.

Разве я говорю о грязных вещах? По-моему, это не есть еще худшее.

Познающий не любит погружаться в воду истины не тогда, когда она грязна, но когда она мелкая.

Поистине, есть целомудренные до глубины души: они более кротки сердцем, они смеются охотнее и больше, чем вы.

Они смеются также и над целомудрием и спрашивают: «Что такое целомудрие?

Целомудрие не есть ли безумие? Но это безумие пришло к нам, а не мы к нему.

Мы предложили этому гостю приют в нашем сердце: теперь он живет у нас,— пусть остается, сколько хочет!»—

Так говорил Заратустра.

О друге

«Всегда быть одному слишком много для меня» — так думает отшельник. «Всегда один и один — это дает со временем двоих!»

«Я» и «меня» всегда слишком усердствуют в разговоре: как вынести это, если бы не было друга?

Всегда для отшельника друг является третьим — это пробка, мешающая разговору двоих опуститься в бездонную глубь.

Ах, существует слишком много бездонных глубин для всех отшельников. Поэтому так страстно жаждут они друга и высоты его.

Наша вера в других выдает,— во что мы хотели бы верить в нас самих. Наше страстное желание друга — это наш предатель.

И часто с помощью любви хотят лишь перескочить через зависть. Часто нападают и делают себе врагов, чтобы скрыть, что и на тебя могут напасть.

«Будь по крайней мере моим врагом!» — так говорит истинное почитание, которое не осмеливается просить о дружбе.

Если ты хочешь иметь друга, ты должен вести войну за него: а чтобы вести войну, надо уметь быть врагом.

Ты должен в своем друге уважать еще врага. Разве ты можешь близко подойти к своему другу и не перейти к нему?

В своем друге ты должен иметь своего лучшего врага. Ты должен быть к нему ближе всего сердцем, когда ты противишься ему.

Ты не хочешь перед своим другом носить одежды? Для твоего друга должно быть честью, что ты даешь ему себя, каков ты есть. Но он за это посылает тебя к черту!

Кто не скрывает себя, возмущает этим других: так много имеете вы оснований бояться наготы! Да, если бы вы были богами, вы могли бы стыдиться своих одежд!

Ты не можешь для своего друга достаточно хорошо нарядиться: ибо ты должен быть для него страстным желанием и стрелою, устремленною к сверхчеловеку.

Видел ли ты своего друга спящим,— чтобы знать, как он выглядит? Что такое лицо твоего друга? Оно — твое собственное лицо в грубом, несовершенном зеркале.

Видел ли ты своего друга спящим? Испугался ли ты, что так выглядит твой друг? О, мой друг, человек есть нечто, что дóлжно превзойти.

Угадывать и молчать должен уметь друг твой: не все должен ты видеть. Твой сон должен выдать тебе, что делает твой друг, когда бодрствует.

Пусть будет твое сострадание угадыванием: ты должен сперва узнать, хочет ли твой друг сострадания. Быть может, он любит в тебе несокрушенный взор и взгляд вечности.

Пусть будет сострадание к другу сокрыто под твердой корой, на ней должен ты стереть себе зубы. Тогда оно будет иметь свою тонкость и сладость.

Являешься ли ты чистым воздухом, и одиночеством, и хлебом, и лекарством для своего друга? Иной не может избавиться от своих собственных цепей и, однако, является избавителем для друга.

Не раб ли ты? Тогда ты не можешь быть другом. Не тиран ли ты? Тогда ты не можешь иметь друзей.

Слишком долго в женщине были скрыты раб и тиран. Поэтому женщина не способна еще к дружбе: она знает только любовь.

В любви женщины есть несправедливость и слепота ко всему, чего она не любит. Но и в сознательной любви женщины есть всегда еще неожиданность, и молния, и ночь рядом со светом.

Еще не способна женщина к дружбе: женщины все еще кошки и птицы. Или в лучшем случае коровы.

Еще не способна женщина к дружбе. Но скажите мне, вы, мужчины, кто же среди вас способен к дружбе?

О, мужчины, ваша бедность и ваша скупость души! Сколько даете вы другу, столько даю я даже своему врагу и не становлюсь от того беднее.

Существует товарищество: пусть будет и дружба!—

Так говорил Заратустра.

О тысяче и одной цели

Много стран видел Заратустра и много народов: так открыл он добро и зло многих народов. Большей власти не нашел Заратустра на земле, как добро и зло.

Ни один народ не мог бы жить, не сделав сперва оценки; если хочет он сохранить себя, он не должен оценивать так, как оценивает сосед.

Многое, что у одного народа называлось добром, у другого называлось стыдом и позором: так нашел я. Многое, что нашел я, здесь называлось злом, а там украшалось пурпурной мантией почести.

Никогда один сосед не понимал другого: всегда удивлялась душа его безумству и злобе соседа.

Скрижаль добра висит над каждым народом. Взгляни, это скрижаль преодолений его; взгляни, это голос воли его к власти.

Похвально то, что кажется ему трудным; все неизбежное и трудное называет он добром; а то, что еще освобождает от величайшей нужды, редкое и самое трудное,— зовет он священным.

Что способствует ему господствовать, побеждать и блистать на страх и зависть своему соседу: все это означает для него высоту, начало, мерило и смысл всех вещей.

Поистине, мой брат, если узнал ты потребность народа и страну, и небо, и соседа его: ты несомненно угадал и закон его преодолений, и почему он восходит по этой лестнице к своей надежде.

«Всегда ты должен быть первым и стоять впереди других: никого не должна любить твоя ревнивая душа, кроме друга»— слова эти заставляли дрожать душу грека: и шел он своей стезею величия.

«Говорить правду и хорошо владеть луком и стрелою»— казалось в одно и то же время и мило, и тяжело тому народу, от которого идет имя мое — имя, которое для меня в одно и то же время и мило, и тяжело.

«Чтить отца и матерь и до глубины души служить воле их»— эту скрижаль преодоления навесил на себя другой народ и стал через это могучим и вечным.

«Соблюдать верность и ради верности полагать честь и кровь даже на дурные и опасные дела»— так поуча-

ясь, преодолевал себя другой народ, и так преодолевая себя, стал он чреват великими надеждами.

Поистине, люди создали себе все добро и все зло их. Поистине, они не заимствовали и не находили его, оно не упало к ним, как глас с небесн.

Человек сперва вкладывал ценности в вещи, чтобы сохранить себя,— он создал сперва смысл вещам, человеческий смысл! Поэтому называет он себя «человеком», т. е. оценивающим.

Оценивать значит создавать: слушайте, вы, созидающие! Оценивать — это драгоценность и сокровище всех оцененных вещей.

Через оценку впервые является ценность: и без оценки был бы пуст орех бытия. Слушайте, вы, созидающие!

Перемена ценностей — это перемена созидающих. Постоянно уничтожает тот, кто должен быть созидателем.

Созидающими были сперва народы и лишь позднее отдельные личности; поистине, сама отдельная личность есть еще самое юное из творений.

Народы некогда навесили на себя скрижаль добра. Любовь, желающая господствовать, и любовь, желающая повиноваться, вместе создали себе эти скрижали.

Чувство стада старше происхождением, чем чувство «я»: и покуда добрая совесть именуется стадом, лишь дурная совесть говорит: «я».

Поистине, лукавое «я», лишенное любви, ищущее своей пользы в пользе многих: это — не начало стада, а гибель его.

Любящие были всегда и созидающими, они создали добро и зло. Огонь любви и огонь гнева горит на именах всех добродетелей.

Много стран видел Заратустра и много народов: большей власти не нашел Заратустра на земле, как дела любящих — «добро» и «зло» их имя.

Поистине, чудовище — власть этих похвал и этой хулы. Скажите, братья, кто победит его мне? Скажите, кто набросит этому зверю цепь на тысячу голов?

Тысяча целей существовала до сих пор, ибо существовала тысяча народов. Недостает еще только цепи для тысячи голов, недостает единой цели. Еще у человечества нет цели.

Но скажите же мне, мои братья: если человечеству

недостает еще цели, то, быть может, иедостает еще и его самого?—

Так говорил Заратустра.

О любви к ближнему

Вы жметесь к ближнему, и для этого есть у вас прекрасиые слова. Но я говорю вам: ваша любовь к ближиему есть ваша дурная любовь к самим себе.

Вы бежите к ближнему от самих себя и хотели бы из этого сделать себе добродетель: ио я иасквозь вижу ваше «бескорыстие».

«Ты» старше, чем «я»; «ты» призиаио священиым, ио еще не «я»: до того жмется человек к ближиему.

Разве я советую вам любовь к ближнему? Скорее, я советую вам бежать от ближнего и любить дальнего!

Выше любви к ближнему стоит любовь к дальиему и будущему; выше еще, чем любовь к человеку, ставлю я любовь к вещам и призракам.

Этот призрак, витающий перед тобою, брат мой, прекрасиее тебя; почему же ие отдаешь ты ему свою плоть и свои кости? Но ты страшишься и бежишь к своему ближиему.

Вы ие выиосите самих себя и иедостаточно себя любите: и вот вы хотели бы соблазиить ближнего иа любовь и позолотить себя его заблуждением.

Я хотел бы, чтобы все ближние и соседи их стали для вас иевыиосимы; тогда вы должиы бы были из самих себя создать своего друга с переполиеииым сердцем его.

Вы приглашаете свидетеля, когда хотите хвалить себя; и когда вы склонили его хорошо думать о вас, сами вы хорошо думаете о себе.

Лжет ие только тот, кто говорит вопреки своему зиаиию, ио еще больше тот, кто говорит вопреки своему незнанию. Имеиио так говорите вы о себе при общеиии с другими и обманываете соседа насчет себя.

Так говорит безумец: «Общеиие с людьми портит характер, особеиио когда иет его».

Одии идет к ближнему, потому что он ищет себя, а другой, потому что ои хотел бы потерять себя. Ваша дурная любовь к самим себе делает для вас из одиночества тюрьму.

Дальиие оплачивают вашу любовь к ближнему; и если вы соберетесь впятером, шестой должеи всегда умереть.

Я не люблю ваших празднеств; слишком миого актеров находил я там, и даже зрители вели себя часто как актеры.

Не о ближием учу я вас, ио о друге. Пусть друг будет для вас праздииком земли и предчувствием сверхчеловека.

Я учу вас о друге и переполиеиием сердце его. Но надо уметь быть губкою, если хочешь быть любимым переполиеииыми сердцами.

Я учу вас о друге, в котором мир предстоит завершенным, как чаша добра,— о созидающем друге, всегда готовом подарить завершеииый мир.

И как мир развериулся для него, так опять он свертывается вместе с ним подобио стаиовлению добра и зла, подобио стаиовлеиию цели из случая.

Будущее и самое дальиее пусть будет причиною твоего сегодня: в своем друге ты должеи любить сверхчеловека как свою причииу.

Мои братья, ие любовь к ближнему советую я вам: я советую вам любовь к дальиему.—

Так говорил Заратустра.

О пути созидающего

Ты хочешь, мой брат, идти в уедииеиие? Ты хочешь искать дороги к самому себе? Помедли еще немного и выслушай меия.

«Кто ищет, легко сам теряется. Всякое уедииеиие есть грех»— так говорит стадо. И ты долго прииадлежал к стаду.

Голос стада будет звучать еще даже в тебе! И когда ты скажешь: «У меия уже не одна совесть с вами»,— это будет жалобой и страдаиием.

Смотри, само это страдаиие породила еще единая совесть: и последнее мерцание этой совести горит еще в твоей печали.

Но ты хочешь следовать голосу своей печали, который есть путь к самому себе? Покажи же мие свое на это право и свою силу!

Являешь ли ты собой новую силу и новое право? Начальное движение? Самокатящееся колесо? Можешь ли ты заставить звезды вращаться вокруг себя?

Ах, так много вожделеющих о высоте! Так много видишь судорог честолюбия! Докажи мне, что ты не из вожделеющих и не из честолюбцев!

Ах, как много есть великих мыслей, которые делают не более, чем кузнечные мехи: они надувают и делают еще более пустым.

Свободным называешь ты себя? Твою господствующую мысль хочу я слышать, а не о том, что ты сбросил ярмо с себя.

Из тех ли ты, что *имеют право* сбросить ярмо с себя? Таких немало, которые потеряли свою последнюю ценность, когда освободились от своего рабства.

Свободный *от чего*? Какое дело до этого Заратустре! Но твой ясный взор должен поведать мне: свободный *для чего*?

Можешь ли ты создать себе свое добро и свое зло и навесить на себя свою волю как закон? Можешь ли ты быть сам своим судьею и мстителем своего закона?

Ужасно быть одному с судьею и мстителем собственного закона. Так бывает брошена звезда в пустое пространство и в ледяное дыхание одиночества.

Сегодня еще страдаешь ты от множества, ты, одинокий: сегодня еще есть у тебя все твое мужество и твои надежды.

Но когда-нибудь ты устанешь от одиночества, когда-нибудь твоя гордость согнется и твое мужество поколеблется. Когда-нибудь ты воскликнешь: «Я одинок!»

Когда-нибудь ты не увидишь более своей высоты, а твое низменное будет слишком близко к тебе; твое возвышенное будет даже пугать тебя, как призрак. Когда-нибудь ты воскликнешь: «Все — ложь!»

Есть чувства, которые грозят убить одинокого; если это им не удается, они должны сами умереть! Но способен ли ты быть убийцею?

Знаешь ли ты, мой брат, уже слово «презрение»? И муку твоей справедливости: быть справедливым к тем, кто тебя презирает?

Ты принуждаешь многих переменить о тебе мнение: это ставят они тебе в большую вину. Ты близко под-

ходил к ним и все-таки прошел мимо: этого они никогда не простят тебе.

Ты стал выше их: но чем выше ты поднимаешься, тем меньшим кажешься ты в глазах зависти. А больше всех ненавидят того, кто летает.

«Каким образом хотели вы быть ко мне справедливыми! — должен ты говорить. — Я избираю для себя вашу несправедливость как предназначенный мне удел».

Несправедливость и грязь бросают они вслед одинокому: но, мой брат, если хочешь ты быть звездою, ты должен светить им несмотря ни на что!

И остерегайся добрых и праведных! Они любят распинать тех, кто изобретает для себя свою собственную добродетель,— они ненавидят одинокого.

Остерегайся также святой простоты! Для нее нечестиво все, что непросто; она любит играть с огнем — костров.

И остерегайся также приступов своей любви! Слишком скоро протягивает одинокий руку тому, кто с ним повстречается.

Иному ты должен подать не руку, а только лапу: и я хочу, чтобы у твоей лапы были когти.

Но самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь всегда ты сам; ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах.

Одинокий, ты идешь дорогою к самому себе! И твоя дорога идет впереди тебя самого и твоих семи демонов!

Ты будешь сам для себя и еретиком, и колдуном, и прорицателем, и безумцем, и скептиком, и нечестивцем, и злодеем.

Надо, чтобы ты сжег себя в своем собственном пламени; как же мог бы ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом!

Одинокий, ты идешь путем созидающего: бога хочешь ты себе создать из своих семи демонов!

Одинокий, ты идешь путем любящего: самого себя любишь ты и потому презираешь ты себя, как презирают только любящие.

Созидать хочет любящий, ибо он презирает! Что знает о любви тот, кто не должен был презирать именно то, что любил он!

Со своей любовью и своим созиданием иди в свое

уединение, мой брат; и только позднее, прихрамывая, последует за тобой справедливость.

С моими слезами иди в свое уединение, мой брат. Я люблю того, кто хочет созидать дальше самого себя и так погибает.—

Так говорил Заратустра.

О старых и молодых женщинах

«Почему крадешься ты так робко в сумерках, о Заратустра? И что прячешь ты бережно под своим плащом?

Не сокровище ли, подаренное тебе? Или новорожденное дитя твое? Или теперь ты сам идешь по пути воров, ты, друг злых?» —

— Поистине, мой брат! — отвечал Заратустра,— это — сокровище, подаренное мне: это маленькая истина, что несу я.

Но она беспокойна, как малое дитя; и если бы я не зажимал ей рта, она кричала бы во все горло.

Когда сегодня я шел один своею дорогой, в час, когда солнце садится, мне повстречалась старушка и так говорила к душе моей:

«О многом уже говорил Заратустра даже нам, женщинам, но никогда не говорил он нам о женщине».

И я возразил ей: «О женщине надо говорить только мужчинам».

«И мне также ты можешь говорить о женщине,— сказала она.— Я достаточно стара, чтобы тотчас все позабыть».

И я внял просьбе старушки и так говорил ей:

«Все в женщине загадка, и все в женщине имеет одну разгадку: она называется беременностью.

Мужчина для женщины средство: целью бывает всегда ребенок. Но что же женщина для мужчины?

Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому хочет он женщины как самой опасной игрушки.

Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина для отдохновения воина: все остальное — безумство.

Слишком сладких плодов не любит воин. Поэтому

любит он женщину; в самой сладкой женщине есть еще горькое.

Лучше мужчины понимает женщина детей, но мужчина больше ребенок, чем женщина.

В настоящем мужчине сокрыто дитя, которое хочет играть. О, женщины, найдите дитя в мужчине!

Пусть женщина будет игрушкой, чистой и тонкой, как алмаз, сияющей добродетелями еще не существующего мира.

Пусть луч звезды сияет в вашей любви! Пусть вашей надеждой будет: «О, если бы мне родить сверхчеловека!»

Пусть в вашей любви будет храбрость! Своею любовью должны вы наступать на того, кто внушает вам страх.

Пусть в вашей любви будет ваша честь! Вообще женщина мало понимает в чести. Но пусть будет ваша честь в том, чтобы всегда больше любить, чем быть любимыми, и никогда не быть вторыми.

Пусть мужчина боится женщины, когда она любит: ибо она приносит всякую жертву, и всякая другая вещь не имеет для нее цены.

Пусть мужчина боится женщины, когда она ненавидит: ибо мужчина в глубине души только зол, а женщина еще дурна.

Кого ненавидит женщина больше всего? — Так говорило железо магниту: «Я ненавижу тебя больше всего, потому что ты притягиваешь, но недостаточно силен, чтобы притянуть к себе».

Счастье мужчины называется: я хочу. Счастье женщины называется: он хочет.

«Смотри, теперь только стал мир совершенен!» — так думает каждая женщина, когда она повинуется от всей любви.

И повиноваться должна женщина и найти глубину к своей поверхности. Поверхность — душа женщины, подвижная, бурливая пленка на мелкой воде.

Но душа мужчины глубока, ее бурный поток шумит в подземных пещерах: женщина чует его силу, но не понимает ее».—

Тогда сказала мне старушка: «Много приятного сказал Заратустра, и особенно для тех, кто достаточно молод для этого.

Странно, Заратустра мало знает женщину, и, однако, он прав относительно их. Не потому ли это происходит, что у женщины нет ничего невозможного?

А теперь в благодарность прими маленькую истину! Я достаточно стара для нее!

Заверни ее хорошенько и зажми ей рот: иначе она будет кричать во все горло, эта маленькая истина».

«Дай мне, женщина, твою маленькую истину!» — сказал я.

И так говорила старушка:

«Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!» —

Так говорил Заратустра.

Об укусе змеи

Однажды Заратустра заснул под смоковницей, ибо было жарко, и положил руку на лицо свое. Но приползла змея и укусила его в шею, так что Заратустра вскрикнул от боли. Отняв руку от лица, он посмотрел на змею; тогда узнала она глаза Заратустры, неуклюже отвернулась и хотела бежать. «Погоди,— сказал Заратустра,— я еще не поблагодарил тебя! Ты разбудила меня кстати, мой путь еще долог». «Твой путь уже короток,— ответила печально змея.— Мой яд убивает». Заратустра улыбнулся. «Когда же дракон умирал от яда змеи? — сказал он.— Но возьми обратно свой яд! Ты недостаточно богата, чтобы дарить мне его». Тогда змея снова обвилась ему вокруг шеи и начала лизать его рану.

Когда Заратустра однажды рассказал это ученикам своим, они спросили: «В чем же нравоучение рассказа твоего, о Заратустра?» Заратустра так отвечал на это:

— Разрушителем морали называют меня добрые и праведные: мой рассказ — безнравственным.

Если есть враг у вас, не платите ему за зло добром: ибо это пристыдило бы его. Напротив, докажите ему, что он сделал для вас нечто доброе.

И лучше сердитесь, но не стыдите! И когда проклинают вас, мне не нравится, что вы хотите благословить проклинающих. Лучше прокляните и вы немного!

И если случилась с вами большая несправедливость, скорее сделайте пять малых несправедливостей! Ужасно

смотреть, когда кого-нибудь одного давит несправедливость.

Разве вы уже знали это? Разделенная с другими несправедливость есть уже половина права. И тот должен взять на себя несправедливость, кто может нести ее!

Маленькое мщение более человечно, чем отсутствие всякой мести. И если наказание не есть также право и честь для нарушителя, то я не хочу ваших наказаний.

Благороднее — обвинять себя, чем оправдывать, особенно если кто прав. Только для этого надо быть достаточно богатым.

Я не люблю вашей холодной справедливости; во взоре ваших судей видится мне всегда палач и его холодный нож.

Скажите, где находится справедливость, которая есть любовь с ясновидящими глазами?

Найдите же мне любовь, которая несет не только всякое наказание, но и всякую вину!

Найдите же мне справедливость, которая оправдывает всякого, кроме тех, кто судит!

Хотите ли вы слышать еще и это? У того, кто хочет быть совсем справедливым, даже ложь обращается в любовь к человечеству.

Но как мог бы я быть совсем справедливым! Как мог бы я каждому воздать свое! С меня достаточно, если каждому отдаю я мое.

Наконец, братья мои, остерегайтесь быть несправедливыми к отшельникам! Как мог бы отшельник забыть! Как мог бы он отплатить!

На глубокий родник похож отшельник. Легко бросить камень в него; но если упал он на самое дно, скажите, кто захочет снова достать его?

Остерегайтесь обидеть отшельника! Но если вы это сделали, то уже и убейте его! —

Так говорил Заратустра.

О ребенке и браке

Есть у меня вопрос к тебе, брат мой: как свинцовый груз, бросаю я этот вопрос в твою душу, чтобы знать, как глубока она.

Ты молод н желаешь ребеика и брака. Но я спрашнваю тебя: настолько лн ты человек, чтобы н м е т ь п р а в о желать ребенка?

Победитель ли ты, преодолел ли ты себя самого, повелитель лн чувств, господнн ли своих добродетелей? Так спрашнваю я тебя.

Или в твоем желанин говорят зверь н иеобходнмость? Или страх одииочества? Илн недовольство собою?

Я хочу, чтобы твоя победа и твоя свобода страстно желалн ребеика. Живые памятники должен ты строить своей победе и своему освобождению.

Дальше себя должен ты строить. Но сперва ты должен построить самого себя правнльно в отиошеиии тела н души.

Не только вшнрь должен ты расти, но н ввысь! Да поможет тебе в этом сад супружества!

Высшее тело должен ты создать, начальное движеиие, самокатящееся колесо,— соэндающего должеи ты создать.

Брак: так называю я волю двух создать третьего, который больше тех, кто создали его. Глубокое уважение друг перед другом как перед хотящими одной и той же волн называю я браком.

Да будет это смыслом и правдой твоего брака! Но то, что называют браком многое множество, эти лишиие,— ах, как иазову я его?

Ах, эта бедность души вдвоем! Ах, эта грязь душн вдвоем! Ах, это жалкое довольство собою вдвоем!

Браком называют оии все это; н они говорят, будто нх браки заключены на небе.

Ну, что ж, я не хочу этого неба лишних людей! Нет, не нужны мие они, эти спутанные иебесною сетью звери!

Пусть подальше остается от меня бог, который, прнхрамывая, ндет благославлять то, чего он не соединял!

Не смейтесь над этнми браками! У какого ребенка нет оснований плакать нз-за своих роднтелей?

Достойиым казался мне этот человек н созревшнм для смысла земли: но когда я увидел его жеиу, земля показалась мие домом для умалишеиных.

Да, я хотел бы, чтобы земля дрожала в судорогах, когда святой сочетается с гусыней.

Один вышел, как герой, искать истины, а в конце добыл он себе маленькую наряженную ложь. Своим браком называет он это.

Другой был осторожен в обращении и крайне разборчив. Но одним разом испортил он навсегда свое общество: своим браком называет он это.

Третий искал служанки с добродетелями ангела. Но одним разом стал он служанкою женщины, и теперь ему самому надо бы стать ангелом.

Осторожными находил я всех покупателей, и у всех у них были хитрые глаза. Но жену себе покупает даже хитрейший из них, не видев ее.

Много коротких безумств — это называется у вас любовью. И ваш брак, как одна длинная глупость, кладет конец многим коротким безумствам.

Ваша любовь к жене и любовь жены к мужу: ах, если бы могла она быть жалостью к страдающим и сокрытым богам! Но почти всегда двое животных угадывают друг друга.

И даже ваша лучшая любовь есть только символ, полный экстаза, и болезненный пыл. Любовь — это факел, который должен светить вам на высших путях.

Некогда вы должны будете любить дальше себя! Начните же учиться любить! И потому вы должны были испить горькую чашу вашей любви.

Горечь содержится в чаше даже лучшей любви: так возбуждает она стремление к сверхчеловеку, так возбуждает она жажду в тебе, созидающем!

Жажду в созидающем, стрелу, устремленную к сверхчеловеку: скажи, брат мой, такова ли твоя воля к браку?

Священны для меня такая воля и такой брак.—

Так говорил Заратустра.

О свободной смерти

Многие умирают слишком поздно, а некоторые слишком рано. Еще странно звучит учение: «Умри вовремя!»

Умри вовремя; так учит Заратустра.

Конечно, кто никогда не жил вовремя, как мог бы

он умереть вовремя? Ему бы лучше никогда не родиться! — Так советую я лишним людям.

Но даже лишиие люди важничают еще своей смертью, и даже самый пустой орех хочет еще, чтобы его разгрызли.

Серьезно относятся все к смерти: ио смерть не есть еще праздиик. Еще не иаучились люди чтить самые светлые праздники.

Совершенную смерть показываю я вам; она для живущих становится жалом и священиым обетом.

Своей смертью умирает совершивший свой путь, умирает победоиосно, окруженный теми, кто надеются и дают священный обет.

Следовало бы научиться умирать; и не должно быть праздника там, где такой умирающий не освятил клятвы живущих!

Так умереть — лучше всего; а второе: умереть в борьбе и растратить великую душу.

Но как борющемуся, так и победителю одинаково ненавистна ваша смерть, которая скалит зубы и крадется, как вор,— и, однако, входит как повелитель.

Свою смерть хвалю я вам, свободиую смерть, которая приходит ко мие, потому что я хочу.

И когда же захочу я? — У кого есть цель и преемник, тот хочет смерти вовремя для цели и преемника.

Из глубокого уважения к цели и преемнику не повесит он сухих венков в святилище жизии.

Поистине, не хочу я походить иа тех, кто сучит веревку: они тянут свои нити в длину, а сами при этом все пятятся.

Иные стаиовятся для своих истин и побед слишком стары; беззубый рот не имеет уже права на все истины.

И каждый желающий славы должеи уметь вовремя проститься с почестью и знать трудиое искусство — уйти вовремя.

Надо перестать позволять себя есть, когда находят вас особенно вкусными: это знают те, кто хотят, чтобы их долго любили.

Есть, конечио, кислые яблоки, участь которых — ждать до последиего дня осеии: и за это время стаиовятся они спелыми, желтыми и морщинистыми.

У одних сперва стареет сердце, у других — ум. Иные

бывают стариками в юности: но кто поздно бывает юным, долго остается им.

Иному не удается жизнь: ядовитый червь гложет ему сердце. Пусть же постарается он, чтобы тем лучше удалась ему смерть.

Иной не бывает никогда сладким: он гниет еще летом. Одна трусость удерживает его на его суку.

Живут слишком многие, и слишком долго висят они на своих сучьях. Пусть же придет буря и стряхнет с дерева все гнилое и червивое!

О, если бы пришли проповедники *скорой смерти*! Они были бы настоящею бурею на деревьях жизни! Но я слышу только проповедь медленной смерти и терпения ко всему «земному».

Ах, вы проповедуете терпение ко всему земному? Но это земное слишком долго терпит вас, вы, богохульники!

Поистине, слишком рано умер тот еврей, которого чтут проповедники медленной смерти: и для многих стало с тех пор роковым, что умер он слишком рано.

Он знал только слезы и скорбь еврея, вместе с ненавистью добрых и праведных: тогда напало на него страстное желание смерти.

Зачем не остался он в пустыне и вдали от добрых и праведных! Быть может, он научился бы жить и научился бы любить землю — и вместе с тем смеяться.

Верьте мне, братья мои! Он умер слишком рано; он сам отрекся бы от своего учения, если бы он достиг моего возраста! Достаточно благороден был он, чтобы отречься!

Но незрелым был он еще. Незрело любит юноша, и незрело ненавидит он человека и землю. Еще связаны и тяжелы у него душа и крылья мысли.

Но зрелый муж больше ребенок, чем юноша, и меньше скорби в нем: лучше понимает он смерть и жизнь.

Свободный к смерти и свободный в смерти, он говорит священное «нет», когда нет уже времени говорить «да»: так понимает он смерть и жизнь.

Да не будет ваша смерть хулою на человека и землю, друзья мои: этого прошу я у меда вашей души.

В вашей смерти должны еще гореть ваш дух и ваша

добродетель, как вечерняя заря горит на земле: или смерть плохо удалась вам.

Так хочу я сам умереть, чтобы вы, друзья, ради меня еще больше любили землю; и в землю хочу я опять обратиться, чтобы найти отдых у той, что меня родила.

Поистине, была цель у Заратустры, он бросил свой мяч: теперь будьте вы, друзья, наследниками моей цели, для вас закидываю я золотой мяч.

Больше всего люблю я смотреть на вас, мои друзья, когда вы бросаете золотой мяч! Поэтому еще немного останусь я на земле: простите мне это! —

Так говорил Заратустра.

О дарящей добродетели

1

Когда Заратустра простился с городом, который любило сердце его и имя которого было «Пестрая корова»,— последовали за ним многие, называющиеся учениками его, и составили свиту его. И так дошли они до перекрестка: тогда Заратустра сказал им, что дальше он хочет идти один; ибо он любил ходить в одиночестве. Но ученики его на прощанье подали ему посох, на золотой ручке которого была змея, обвившаяся вокруг солнца. Заратустра обрадовался посоху и оперся на него; потом он так говорил к своим ученикам:

— Скажите же мне: как достигло золото высшей ценности? Тем, что оно необыкновенно и бесполезно, блестяще и кротко в своем блеске; оно всегда дарит себя.

Только как символ высшей добродетели достигло золото высшей ценности. Как золото, светится взор у дарящего. Блеск золота заключает мир между луною и солнцем.

Необыкновенна и бесполезна высшая добродетель, блестяща и кротка она в своем блеске: дарящая добродетель есть высшая добродетель.

Поистине, я угадываю вас, мои ученики: вы стремитесь, подобно мне, к дарящей добродетели. Что у вас общего с кошками и волками?

Ваша жажда в том, чтобы самим стать жертвою и даянием: потому вы и жаждете собрать все богатства в своей душе.

Ненасытно стремится ваша душа к сокровищам и всему драгоценному, ибо ненасытна ваша добродетель в желании дарить.

Вы принуждаете все вещи приблизиться к вам и войти в вас, чтобы обратно текли они из вашего родника как дары вашей любви.

Поистине, в грабителя всех ценностей должна обратиться такая дарящая любовь; но здоровым и священным называю я этот эгоизм.

Есть другой эгоизм, чересчур бедный и голодающий, который всегда хочет красть, эгоизм больных, больной эгоизм.

Воровским глазом смотрит он на все блестящее: алчностью голода измеряет он того, кто может богато есть; и всегда ползает он вокруг стола дарящих.

Болезнь и невидимое вырождение говорят в этой алчности; о болезненном теле говорит воровская алчность этого эгоизма.

Скажите мне, братья мои: что считается у нас худым и наихудшим? Не есть ли это *вырождение*? — И мы предполагаем всегда вырождение там, где нет дарящей души.

Вверх идет наш путь, от рода к другому роду, более высокому. Но ужас для нас — вырождающееся чувство, которое говорит: «Все для меня».

Вверх летит наше чувство: ибо оно есть символ нашего тела, символ возвышения. Символы этих возвышений суть имена добродетелей.

Так проходит тело через историю, оно нарождается и борется. А дух — что он для тела? Глашатай его битв и побед, товарищ и отголосок.

Символы — все имена добра и зла: они ничего не выражают, они — только знаки. Безумец тот, кто хочет познать их.

Будьте внимательны, братья мои, к каждому часу, когда ваш дух хочет говорить в символах: тогда зарождается ваша добродетель.

Тогда возвысилось ваше тело и воскресло; своей отрадою увлекает оно дух, так что он становится твор-

цом, и ценителем, и любящим, и благодетелем всех вещей.

Когда ваше сердце бьется широко н полно, как бурный поток, который есть благо и опасность для живущих на берегу: тогда зарождается ваша добродетель.

Когда вы возвысились над похвалою н порицанием, н ваша воля как воля любящего хочет приказывать всем вещам: тогда зарождается ваша добродетель.

Когда вы презираете мягкое ложе и все, что приятно, и можете отдыхать достаточно далеко от изнеженных: тогда зарождается ваша добродетель.

Когда вы хотите единой воли, н эта перемена всех потребностей называется у вас необходимостью: тогда зарождается ваша добродетель.

Поистине, она есть новое добро и новое зло! Поистине, это — новое глубокое журчание и голос нового ключа!

Властью является эта новая добродетель; господствующей мыслью является она, и вокруг нее мудрая душа: золотое солнце, и вокруг него змей познания.

2

Здесь Заратустра умолк на минуту и с любовью смотрел на своих учеников. Затем продолжал он так говорить, и голос его изменился:

— Оставайтесь верны земле, братья мои, со всей властью вашей добродетели! Пусть ваша дарящая любовь н ваше познание служат смыслу земли! Об этом прошу и заклинаю я вас.

Не позволяйте вашей добродетели улетать от земного и биться крыльями о вечные стены! Ах, всегда было так много улетевшей добродетели!

Приводите, как я, улетевшую добродетель обратно к земле,— да, обратно к телу жизни: чтобы дала она свой смысл земле, смысл человеческий!

Сотни раз улетали и заблуждались до сих пор дух и добродетель. Ах, в вашем теле и теперь еще живут все эти обманы и заблуждения: плотью и волею сделались они.

Сотни раз делали попытку и заблуждались до сих пор как дух, так и добродетель. Да, попыткою был человек. Ах, многие невежества н заблуждения сделались в нас плотью!

Не только разум тысячелетий — также безумие их прорывается в иас. Опасио быть иаследииком.

Еще боремся мы шаг за шагом с исполииом случаем, и иад всем человечеством царило до сих пор еще бессмыслие.

Да послужат ваш дух и ваша добродетель, братья мои, смыслу земли: цеиность всех вещей да будет виовь устаиовлеиа вами! Поэтому вы должны быть борющимися! Поэтому вы должиы быть созидающими!

Позиавая, очищается тело; делая попытку к познаиию, оио возвышается; для позиающего священиы все побуждеиия; душа того, кто возвысился, стаиовится радостиой.

Врач, исцелися сам: и ты исцелишь также и своего больиого. Было бы лучшей помощью для иего, чтобы увидел ои своими глазами того, кто сам себя исцеляет.

Есть тысячи дорог, по которым еще иикогда ие ходили, тысячи здоровых натур н скрытых островов жизии. Все еще ие нсчерпаны и ие открыты человек н земля человека.

Бодрствуйте н прислушивайтесь, вы, одииокие! От будущего веет незаметно ветер; и тоиких ушей ищет добрая весть.

Вы, сегодия еще одииокие, вы, живущие вдали, вы будете некогда иародом: от вас, избравших самих себя, должеи произойти народ нзбраиный: — и от него сверхчеловек.

Поистиие, местом выздоровлеиия должна еще стать земля! И уже веет вокруг иее иовым благоухаиием, прииосящим исцелеиие,— н новой иадеждой!

3

Сказав эти слова, Заратустра умолк, как тот, кто ие сказал еще своего последиего слова; долго в иерешимости держал ои посох в своей руке. Накоиец, так заговорил он, и голос его измеиился:

— Учеиики мои, теперь ухожу я один! Уходите теперь и вы, и тоже одии! Так хочу я.

Поистиие, я советую вам: уходите от меия н защищайтесь от Заратустры! А лучше еще: стыдитесь его! Быть может, он обмаиул вас.

Человек позиаиия должеи ие только любить своих

врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.

Плохо отплачивает тот учителю, кто навсегда остается только учеником. И почему не хотите вы ощипать венок мой?

Вы уважаете меня; но что будет, если некогда порушится уважение ваше? Берегитесь, чтобы кумир не убил вас!

Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре! Вы — верующие в меня: но что толку во всех верующих!

Вы еще не искали себя, когда нашли меня. Так поступают все верующие; потому-то всякая вера так мало значит.

Теперь я приказываю вам потерять меня и найти себя; и только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам.

Поистине, другими глазами, братья мои, я буду тогда искать утерянных мною; другою любовью я буду тогда любить вас.

И некогда вы должны будете еще стать моими друзьями и детьми единой надежды: тогда я захочу в третий раз быть среди вас, чтобы отпраздновать с вами великий полдень.

Великий полдень — когда человек стоит посреди своего пути между животным и сверхчеловеком и празднует свой путь к закату как свою высшую надежду: ибо это есть путь к новому утру.

И тогда идущий к закату сам благословит себя за то, что был он переходной ступенью; и солнце его познания будет стоять у него на полдне.

«Умерли все боги: теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек» — такова должна быть в великий полдень наша последняя воля! —

Так говорил Заратустра.

Часть вторая

*...И только когда вы все отречетесь **от** меня, я вернусь к вам.*

*Поистине, другими глазами, братья **мои**, я буду тогда искать утерянных мною; другою любовью я буду тогда любить вас.*

«Заратустра». **Часть первая**

Ребенок с зеркалом

После этого Заратустра опять возвратился в горы, в уединение своей пещеры, и избегал людей: ожидая, подобно сеятелю, посеявшему свое семя. Но душа его была полна нетерпением и страстным желанием видеть тех, кого он любил: ибо еще многое он имел дать им. А это особенно трудно: из любви сжимать отверстую руку и, как дарящий, хранить стыдливость.

Так проходили у одинокого месяцы и годы; но мудрость его росла и причиняла ему страдание своей полнотою.

Но в одно утро проснулся он еще задолго до зари, долго припоминал что-то, сидя на своем ложе, и наконец так говорил в своем сердце:

— Что же так испугало меня во сне, что я проснулся? Разве не ребенок подходил ко мне, несший зеркало?

«О Заратустра,— сказал мне ребенок,— посмотри на себя в зеркало!»

Посмотрев в зеркало, я вскрикнул, и мое сердце содрогнулось: ибо не себя увидел я в нем, а образ демона и язвительную улыбку его.

Поистине, слишком хорошо понимаю я знамение снов и предостережение их: мое у ч е н и е в опасности, сорная трава хочет называться пшеницею!

Мои враги стали сильны и исказили образ моего уче-

ния, так что мои возлюбленные должны стыдиться даров, что дал я им.

Утеряны для меня мои друзья; настал мой час искать утерянных мною! —

С этими словами Заратустра вскочил с ложа, но не как испуганный, ищущий воздуха, а, скорее, как пророк и песнопевец, на которого снизошел дух. С удивлением смотрели на него его орел и его змея: ибо, подобно утренней заре, грядущее счастье легло на лицо его.

— Что же случилось со мной, мои звери? — сказал Заратустра.— Разве я не преобразился? Разве не пришло ко мне блаженство, как бурный вихрь?

Безумно мое счастье, и безумное будет оно говорить: слишком оно еще юно — имейте же с ним терпение!

Я ранен своим счастьем: все страдающие должны быть моими врачами!

К моим друзьям могу я опять спуститься, а также к моим врагам! Заратустра опять может говорить, и дарить, и делать добро своим возлюбленным.

Моя нетерпеливая любовь течет через край в бурных потоках, бежит с высот в долины, на восток и на запад. С молчаливых гор и грозовых туч страдания с шумом спускается моя душа в долины.

Слишком долго тосковал я и смотрел вдаль. Слишком долго принадлежал я одиночеству: так разучился я молчанию.

Я всецело сделался устами и шумом ручья, ниспадающего с высоких скал: вниз, в долины хочу я низринуть мою речь.

И пусть низринется поток моей любви туда, где нет пути! Как не найти потоку, в конце концов, дороги к морю!

Правда, есть озеро во мне, отшельническое, себе довлеющее; но поток моей любви мчит его с собою вниз — к морю!

Новыми путями иду я, новая речь приходит ко мне; устал я, подобно всем созидающим, от старых речей. Не хочет мой дух больше ходить на истоптанных подошвах.

Слишком медленно течет для меня всякая речь: — в твою колесницу я прыгаю, буря! И даже тебя я хочу хлестать своей злобою!

Как крик и как ликование, хочу я мчаться по даль-

иим морям, пока не иайду я блаженных островов, где замешкались мои друзья: —

И мои враги между иими! Как люблю я теперь каждого, к кому могу я говорить! Даже мои враги принадлежат к моему блаженству.

И когда я хочу сесть иа своего самого дикого коия, мое копье помогает мие всего лучше: оно во всякое время готовый слуга моей ноги: —

Копье, что бросаю я в моих врагов! Как благодарю я моих врагов, что я могу наконец бросить копьем!

Слишком велико было иапряжеиие моей тучи: среди хохота молиий хочу я градом осыпать долины.

Грозно будет тогда вздыматься моя грудь; грозио, по горам, будет разносить она свою бурю: так приходит для иее облегчеиие.

Поистине, как буря, приходит мое счастье и моя свобода!

Но мои враги пусть думают, что злой дух неистовствует над их головами.

Даже вы, друзья мои, испугаетесь моей дикой мудрости; и, быть может, убежите от нее вместе с моими врагами.

Ах, если бы сумел я пастушеской свирелью обратно привлечь вас! Ах, если бы моя львииая мудрость научилась нежио рычать! Миогому учились мы вместе!

Моя дикая мудрость стала беремеииой иа одиноких горах; на жестких камиях родила она самого младшего из своих детей.

Теперь, безумная, бегает она по суровой пустыне и ищет, все ищет мягкого дерна — моя старая дикая мудрость!

На мягкий дерн ваших сердец, друзья мои! — на вашу любовь хотела бы она уложить свое любимое дитя! —

Так говорил Заратустра.

На блаженных островах

Плоды падают со смоковииц, оии хороши и сладки; и пока они падают, сдирается красиая кожа их. Я северный ветер для спелых плодов.

Так, подобио плодам смоковницы, падают к вам

эти наставления, друзья мои: теперь пейте их сок и ешьте их сладкое мясо! Осень кругом нас, и чистое небо, и время после полудня.

Посмотрите, какое обилие кругом нас! И среди этого преизбытка хорошо смотреть на дальние моря.

Некогда говорили: «бог», когда смотрели на дальние моря; но теперь учил я вас говорить: «сверхчеловек».

Бог есть предположеиие, но я хочу, чтобы ваше предположение простиралось не дальше, чем ваша созидающая воля.

Могли бы вы с о з д а т ь бога? — Так не говорите же мне о всяких богах! Но вы, иесомиенно, могли бы создать сверхчеловека.

Быть может, не вы сами, братья мои! Но вы могли бы пересоздать себя в отцов и предков сверхчеловека: и пусть это будет вашим лучшим созданием! —

Бог есть предположение: но я хочу, чтобы ваше предположение было ограиичеио в мыслимости.

Могли бы вы м ы с л и т ь бога? — Но пусть это озиачает для вас волю к истиие, чтобы все превратилось в человечески-мыслимое, человечески-видимое, человечески-чувствуемое! Ваши собствеииые чувства должиы вы продумать до конца!

И то, что иазывали вы миром, должно сперва быть создаио вами: ваш разум, ваш образ, ваша воля, ваша любовь должиы стать им! И поистине, для вашего блажеиства,— вы, познающие!

И как могли бы вы выносить жизиь без этой надежды, вы, познающие? Вы ие должиы быть одиородиы с непостижимым и неразумиым.

Но я хочу совсем открыть вам свое сердце, друзья мои: е с л и б ы существовали боги, как удержался бы я, чтобы ие быть богом! с л е д о в а т е л ь н о, нет богов.

Правда, сделал я этот вывод; но теперь он спасает меня.—

Бог есть преположеиие: но кто испил бы всю муку этого предположеиия и не умер бы? Неужели нужно у созидающего отиять его веру и у орла — его парение в доступиой орлам высоте?

Бог есть мысль, которая делает все прямое кривым

и все, что стоит, вращающимся. Как? Время исчезло бы, и все преходящее оказалось бы только ложью?

Мыслить подобное — это круженне для костей человеческих и тошнота для желудка: поистине, предположить нечто подобное — называю я болезнью верчения.

Злым и враждебным человеку называю я все это учение о едином, полном, неподвижном, сытом и непреходящем!

Все, что не преходит, есть только символ! И поэты слишком много лгут.—

Но о времени и становлении должны говорить лучшие символы: хвалой должны они быть и оправданием всего, что преходит!

Созидать — это великое избавление от страдания и облегчение жизни. Но чтобы быть созидающим, надо подвергнуться страданиям и многим превращениям.

Да, много горького умирания должно быть в вашей жизни, вы, созидающие! Так будьте вы ходатаями и оправдателями всего, что преходит.

Чтобы сам созидающий стал новорожденным,— для этого должен он хотеть быть роженицей и пережить родильные муки.

Поистине, через сотни душ шел я своею дорогою, через сотни колыбелей и родильных мук. Уже много раз я прощался, я знаю последние, разбивающие сердце часы.

Но так хочет моя созидающая воля, моя судьба. Или, говоря вам откровеннее: такой именно судьбы — хочет моя воля.

Все чувствующее страдает во мне и находится в темнице: но моя воля всегда приходит ко мне как освободительница и вестница радости.

Воля освобождает: таково истинное учение о воле и свободе — ему учит вас Заратустра.

Не хотеть больше, не ценить больше и не созидать больше! ах, пусть эта великая усталость навсегда останется от меня далекой!

Даже в познании чувствую я только радость рождения и радость становления моей воли; и если есть невинность в моем познании, то потому, что есть в нем воля к рождению.

Прочь от бога и богов тянула меня эта воля; и что осталось бы создавать, если бы боги — существовали!

Но всегда к человеку влечет меня сызнова пламенная воля моя к созданию; так устремляется молот на камень.

О люди, в камне дремлет для меня образ, образ моих образов! Ах, он должен дремать в самом твердом, самом безобразном камне!

Теперь дико устремляется мой молот на свою тюрьму. От камня летят куски; какое мне дело до этого?

Кончить хочу я этот образ: ибо тень подошла ко мне — самая молчаливая, самая легкая приблизилась ко мне!

Красота сверхчеловека приблизилась ко мне, как тень. Ах, братья мои! Что мне теперь до богов! —

Так говорил Заратустра.

О сострадательных

Мои друзья! До вашего друга дошли насмешливые слова: «Посмотрите только на Заратустру! Разве не ходит он среди нас, как среди зверей?»

Но было бы лучше так сказать: «Познающий ходит среди людей, к а к среди зверей».

Но сам человек называется у познающего: зверь, имеющий красные щеки.

Откуда у него это имя? Не потому ли, что слишком часто должен был он стыдиться?

О друзья мои! Так говорит познающий: стыд, стыд, стыд — вот история человека!

И потому благородный предписывает себе не стыдить других: стыд предписывает он себе перед всяким страдающим.

Поистине, не люблю я сострадательных, блаженных в своем сострадании: слишком лишены они стыда.

Если должен я быть сострадательным, все-таки не хочу я называться им; и если я сострадателен, то только издали.

Я люблю скрывать свое лицо и убегаю, прежде чем узнан я: так советую я делать и вам, друзья мои!

Пусть моя судьба ведет меня дорогою тех, кто, как

вы, всегда свободны от сострадания и с кем я мог бы иметь общими надежду, пиршество и мед!

Поистине, я делал и то и другое для всех, кто страдает: но мне казалось всегда, что лучше я делал, когда учился больше радоваться.

С тех пор как существуют люди, человек слишком мало радовался: лишь это, братья мои, наш первородный грех!

И когда мы научимся больше радоваться, тогда мы лучше разучимся причинять другим горе и выдумывать его.

Поэтому умываю я руку, помогавшую страдающему, поэтому вытираю я также и душу.

Ибо когда я видел страдающего страдающим, я стыдился его из-за стыда его; и когда я помогал ему, я прохаживался безжалостно по гордости его.

Большие одолжения делают не благодарных, а мстительных; и если маленькое благодеяние не забывается, оно обращается в гложущего червя.

«Будьте равнодушны, когда принимаете что-нибудь! Оказывайте внимание тем, что вы принимаете!» — так советую я тем, кому нечем отдарить.

Но я из тех, кто дарит: я люблю дарить, как друг, друзьям. И пусть чужие и бедные сами срывают плоды с моего дерева; это менее стыдит их.

А нищих надо бы совсем уничтожить! Поистине, сердишься, что даешь им, и сердишься, когда не даешь им.

И заодно с ними грешников и укоры совести! Верьте мне, друзья мои: укоры совести учат кусать других.

Но хуже всего мелкие мысли. Поистине, лучше уж совершить злое, чем подумать мелкое!

Хотя вы говорите: «Радость от мелкой злобы избавляет нас от крупного злого дела», здесь не надо быть бережливым.

Злое дело похоже на нарыв: оно зудит, и чешется, и нарывает,— оно говорит откровенно.

«Гляди, я — болезнь» — так говорит злое дело; в этом откровенность его.

Но мелкая мысль похожа на вошь: она и ползет, и сгибается, и нигде не хочет быть — пока все тело не будет вялым и дряблым от маленьких вшей.

А тому, кто одержим демоном, я так говорю на ухо:

«Лучше, чтобы ты вырастил своего демона! Даже для тебя существует еще путь величия!» —

Ах, братья мои! О каждом знают слишком много! И многие делаются для нас прозрачными, но от этого мы не можем еще пройти сквозь них.

Трудно жить с людьми, ибо так трудно хранить молчание.

И не к тому, кто противен нам, бываем мы больше всего несправедливы, а к тому, до кого нам нет никакого дела.

А если есть у тебя страдающий друг, то будь для страдания его местом отдохновения, но также и жестким ложем, походной кроватью: так будешь ты ему наиболее полезен.

И если друг делает тебе что-нибудь дурное, говори ему: «Я прощаю тебе, что ты мне делал; но если бы ты делал это себе,— как мог бы я это простить!»

Так говорит всякая великая любовь: она преодолевает даже прощение и жалость.

Надо сдерживать свое сердце; стоит только распустить его, и как быстро каждый теряет голову!

Ах, где в мире совершалось больше безумия, как не среди сострадательных? И что в мире причиняло больше страдания, как не безумие сострадательных?

Горе всем любящим, у которых нет более высокой вершины, чем сострадание их!

Так говорил однажды мне демон: «Даже у бога есть свой ад: это любовь его к людям».

И недавно я слышал, как говорил он такие слова: «Бог умер; из-за сострадания своего к людям умер бог».—

Итак, я предостерегаю вас от сострадания: *оттуда* приближается к людям тяжелая туча! Поистине, я знаю знамения времен!

Запомните также и эти слова: всякая великая любовь выше сострадания: ибо то, что она любит, она еще хочет — создать!

«Себя самого приношу я в жертву любви своей, и *ближнего своего, подобно себе*» — так надо говорить всем созидающим.

Но все созидающие тверды.—

Так говорил Заратустра.

О священниках

И однажды Заратустра подал знак своим ученикам и говорил им эти слова:

— Вот — жрецы: и хотя они также мои враги, но вы пройдите мимо них молча, с опущенными мечами!

Также и между ними есть герои; многие из них слишком много страдали: поэтому они хотят заставить других страдать.

Они — злые враги: нет ничего мстительнее смирения их. И легко оскверняется тот, кто нападает на них.

Но моя кровь родственна их крови: и я хочу, чтобы моя кровь была почтена в их крови.—

И когда прошли они мимо, напала скорбь на Заратустру; но недолго боролся он со своею скорбью, затем начал он так говорить:

— Жаль мне этих священников. Они мне противны; но для меня они еще наименьшее зло, с тех пор как живу я среди людей.

Я страдаю и страдал с ними: для меня они — пленники и клейменые. Тот, кого называют они избавителем, заковал их в оковы: —

В оковы ложных ценностей и слов безумия! Ах, если бы кто избавил их от их избавителя!

К острову думали они некогда пристать, когда море бросало их во все стороны; но он оказался спящим чудовищем!

Ложные ценности и слова безумия: это — худшие чудовища для смертных,— долго дремлет и ждет в них судьба.

Но наконец она наступает, пробуждается и пожирает все, что строило на ней жилища себе.

О, посмотрите же на эти жилища, что построили себе эти священники! Церквами называют они свои благоухающие пещеры.

О, этот поддельный свет, этот спертый воздух! Здесь душа не смеет подняться на высоту свою!

Ибо так приказывает ей вера: «На коленях взбирайтесь по лестнице, вы, грешники!»

Поистине, предпочитаю я видеть бесстыдного, чем перекошенные глаза стыда и благоговения их!

Кто же создал себе эти пещеры и лестницы покаяния?

Не были ли ими те, кто хотели спрятаться и стыдились ясного иеба?

И только тогда, когда ясиое иебо опять проглянет сквозь разрушенные крыши на траву и пунцовый мак у разрушенных стен, только тогда опять обращу я свое сердце к жилищам этого бога.

Они называли богом то, что противоречило им и причиняло страдание: и поистине, было миого героического в их поклонении!

И не иначе умели они любить своего бога, как распяв человека!

Как трупы думали они жить; в черные одежды облекли они свой труп; и даже из их речей слышу я еще зловоиие склепов.

И кто живет вблизи их, живет вблизи черных прудов, откуда жаба в сладкой задумчивости поет свою песню.

Лучшие песии должиы бы оии мне петь, чтобы иаучился я верить их избавителю: избавленными должны бы выглядеть его ученики!

Нагими хотел бы я видеть их: ибо красота должна проповедовать покаяние. Но кого же убедит эта закутанная печаль!

Поистине, сами их избавители ие исходили из свободы и седьмого неба свободы! Поистине, сами они никогда не ходили по коврам познания!

Из дыр состоял дух этих избавителей; и в каждую дыру поместили они свое б е з у м и е, своего помощника, которого они иазывали богом.

В их сострадании утонул их дух, и когда они вздувались от сострадания, на поверхности всегда плавало великое безумие.

Гневно, с криком гнали они свое стадо по своей тропинке: как будто к будущему ведет только одна тропинка! Поистине, даже эти пастыри принадлежали еще к овцам!

У этих пастырей был маленький ум и обшириая душа: ио, братья мои, какими маленькими странами были до сих пор даже самые обширные души!

Зиаками крови писали они иа пути, по которому они шли, и их безумие учило, что кровью свидетельствуется истина.

Но кровь есть самый худший свидетель истины; кровь

отравляет самое чистое учение до степеии безумня и иеиависти сердец.

А если кто и идет иа огонь из-за своего учения,— что же это доказывает! Поистиие, совсем другое дело, когда из собственного гореиия нсходит собствеииое учение!

Горячее сердце и холодиая голова: где оии встречаются, там возиикает урагаи, который иазывают «избавителем».

Поистиие, были люди более великие н более высокие по рождению, чем те, кого иарод иазывает избавителями, эти увлекающие все за собой ураганы!

И еще от более великих, чем были все избавнтели, должны вы, братья мон, избавиться, если хотите вы иайти путь к свободе!

Никогда еще не было сверхчеловека. Нагнмн видел я обоих, самого большого и самого малеиького человека: —

Еще слишком похожн оин друг на друга. Поистиие, даже самого великого из них иаходил я — слишком человеческим! —

Так говорнл Заратустра.

О добродетельиых

Громом и небесиым огнем надо говорить к вялым и соиным чувствам.

Но голос красоты говорит тихо: ои проиикает только в самые чуткие души.

Тихо вздрагивала й смеялась сегодия опора моя: это священиый смех и трепет красоты.

Над вами, вы, добродетельиые, смеялась сегодия моя красота. И до меия доиосидся ее голос: «Оии хотят еще — чтобы им заплатили!»

Вы еще хотите, чтобы вам заплатили, вы, добродетельиые! Хотите получить плату за добродетель, небо — за землю, вечиость — за ваше сегодия?

И теперь иегодуете вы иа меия, что учу я, что иет воздаятеля? И поистине, я ие учу даже, чтобы добродетель была своей собствеииой иаградой.

Ах, вот мое горе: в основу вещей коварио прндуманы

награда и наказание — и даже в основу ваших душ, вы, добродетельные!

Но подобно клыку вепря, должно мое слово бороздить основу вашей души; плугом хочу я называться для вас.

Все сокровенное вашей основы должно выйти на свет; и когда вы будете лежать на солнце, взрытые и изломанные, отделится ваша ложь от вашей истины.

Ибо вот ваша истина: вы слишком чисты для грязи таких слов, как мщение, наказание, награда и возмездие.

Вы любите вашу добродетель, как мать любит свое дитя; но когда же слыхано было, чтобы мать хотела платы за свою любовь?

Ваша добродетель — это ваше самое дорогое дитя. В вас есть жажда кольца; чтобы снова достичь самого себя, для этого вертится и крутится каждое кольцо.

И каждое дело вашей добродетели похоже на потухающую звезду: ее свет всегда находится еще в пути и блуждает — и когда же не будет он больше в пути?

Так и свет вашей добродетели находится еще в пути, даже когда дело совершено уже. Пусть оно будет даже забыто и мертво: луч его света жив еще и блуждает.

Пусть ваша добродетель будет вашим Само, а не чем-то посторонним, кожей, покровом: вот истина из основы вашей души, вы, добродетельные!—

Но есть, конечно, и такие, для которых добродетель представляется корчей под ударом бича: и вы слишком много наслышались вопля их!

Есть и другие, называющие добродетелью ленивое состояние своих пороков; и если просыпаются их ненависть и их зависть, просыпается также их «справедливость» и трет свои заспанные глаза.

Есть и такие, которых тянет вниз: их демоны тянут их. Но чем ниже они опускаются, тем ярче горят их глаза и страстное стремление их к своему богу.

Ах, и такой крик достигал ваших ушей, вы, добродетельные: «Чт́о не я, то для меня бог и добродетель!»

Есть и такие, что с трудом двигаются и скрипят, как телеги, везущие камни в долину: они говорят много о достоинстве и добродетели,— свою узду называют они добродетелью!

Есть и такие, что подобны часам с ежедневным за-

водом; они делают свое *тик-так* и хотят, чтобы *тик-так* называлось — добродетелью.

Поистине, они забавляют меня: где бы я ни находил такие часы, я завожу их своей насмешкой; и они должны еще пошипеть мне!

Другие гордятся своей горстью справедливости и клевещут во имя ее на все: так что мир тонет в их несправедливости.

Ах, как дурно звучит слово «добродетель» в их устах! И когда они говорят: «Я справедлив», всегда это звучит как будто: «Я отомщен!»

Своею добродетелью хотят они выцарапать глаза своим врагам; и они возносятся только для того, чтобы унизить других.

Но опять есть и такие, что сидят в своем болоте и так говорят из тростника: «Добродетель — это значит сидеть смирно в болоте.

Мы никого не кусаем и избегаем тех, кто хочет укусить; и во всем мы держимся мнения, навязанного нам».

Опять-таки есть и такие, что любят жесты и думают: добродетель — это род жестов.

Их колени всегда преклоняются, а их руки восхваляют добродетель, но их сердце ничего не знает о ней.

Но есть и такие, что считают за добродетель сказать: «Добродетель необходима»; но в душе они верят только в необходимость полиции.

И многие, кто не могут видеть высокого в людях, называют добродетелью, когда слишком близко видят низкое их: так называют они добродетелью свой дурной глаз.

Они хотят поучаться и стать на путь истинный и называют его добродетелью; а другие хотят от всего отказаться — и называют это также добродетелью.

И таким образом почти все верят, что участвуют в добродетели; и все хотят по меньшей мере быть знатоками в «добре» и «зле».

Но не для того пришел Заратустра, чтобы сказать всем этим лжецам и глупцам: «Что знаете вы о добродетели! Что м о г л и бы вы знать о ней!» —

Но чтобы устали вы, друзья мои, от старых слов, которым научились вы от глупцов и лжецов:

чтобы усталн от слов «награда», «возмездне», «наказаиие», «месть в справедливости» —

чтобы устали говорить: «Такой-то поступок хорош, ибо ои бескорыстеи»,—

ах, друзья мои! пусть ваше Само отразится в поступках, как мать отражается в ребеике: таково должно быть ваше слово о добродетели!

Понстине, я отиял у вас сотию слов н самые дорогие погремушкн вашей добродетели; н теперь вы серднтесь на меня, как сердятся дети.

Оии нграли у моря,— вдруг пришла волна н смыла у них в пучииу их игрушки: теперь плачут они.

Но та же волиа должиа приеести им новые нгрушки н рассыпать перед нимн новые пестрые раковииы!

Так будут оии утешены; и подобио им и вы, друзья мои, получите свое утешеиие — и иовые пестрые раковииы! —

Так говорил Заратустра.

О толпе

Жнзнь есть нсточинк радостн; но всюду, где пьет толпа, все родиики бывают отравлеиы.

Все чнстое люблю я; но я не могу вндеть морд с оскалеииыми зубамн н жажду нечистых.

Оии бросалн свой взор в глубь родннка: н вот мие светится из родника нх противиая улыбка.

Священиую воду отравилн онн своею похотью: и когда они свои грязиые сны называли радостью, отравлялн они еще н слова.

Негодует пламя, когда они свои сырые сердца кладут на огоиь; сам дух кипит н дымится, когда толпа приближается к огию.

Приториым н мягким становится плод в нх руках: сушит н делает негодным взор их плодовое дерево.

И миогие, кто отвериулись от жизии, отвериулись только от толпы: оин не хотелн делнть с толпою ни источника, ни пламеин, нн плода.

И многие, кто уходнлн в пустыню н вместе с хнщиымн зверямн терпели жажду, ие хотелн только сидеть у водоема вместе с грязными погоищикамн верблюдов.

И многие, кто приходили как истребители и как градобитие на все хлебные поля, хотели только поставить свою ногу в пасть толпы и таким образом заткнуть ей глотку.

И знать, что для самой жизни нужны вражда и смерть и кресты мучеников,— это не есть еще тот кусок, которым давился я больше всего: —

Но некогда я спрашивал и почти давился своим вопросом: как? неужели для жизни н у ж н а толпа?

Нужны отравленные источники, зловонные огни, грязные сны и черви в хлебе жизни?

Не моя ненависть, а мое отвращение пожирало жадно мою жизнь! Ах, я часто утомлялся духом, когда я даже толпу находил остроумной!

И от господствующих отвернулся я, когда я увидел, что они теперь называют господством: хлопотать и торговаться из-за власти — с толпою!

Среди народов жил я, заткнув уши, чужой им по языку, чтобы их язык барышничества и их торговля из-за власти оставались мне чуждыми.

И зажав нос, шел я, негодующий, через все вчера и сегодня: поистине, дурно пахнут пишущей чернью все вчера и сегодня!

Как калека, ставший глухим, слепым и немым: так жил я долго, чтобы не жить вместе с властвующей, пишущей и веселящейся чернью.

С трудом, осторожно поднимался мой дух по лестнице; крохи радости были усладой ему; опираясь на посох, текла жизнь для слепца.

Что же случилось со мной? Как избавился я от отвращения? Кто обновил мой взор? Как поднялся я на высоту, где толпа не сидит уже у источника?

Разве не само мое отвращение создало мне крылья и силы, угадавшие источник? Поистине, я должен был взлететь на самую высь, чтобы вновь обрести источник радости!

О, я нашел его, братья мои! Здесь на самой выси течет для меня источник радости! И существует жизнь, от которой не пьет толпа вместе с вами!

Слишком стремительно течешь ты для меня, источник радости! И часто опустошаешь ты кубок, желая наполнить его!

И мне надо еще научиться более скромно прибли-

жаться к тебе: еще слишком стремительно бьется мое сердце навстречу тебе: —

Мое сердце, где горит мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное: как жаждет мое лето-сердце твоей прохлады!

Миновала медлительная печаль моей весны! Миновала злоба моих снежных хлопьев в июне! Летом сделался я всецело и полуднем лета!

Летом в самой выси, с холодными источниками и блаженной тишиной: о, приходите, друзья мои, чтобы тишина стала еще блаженней!

Ибо это — наша высь и наша родина: слишком высоко и недоступно живем мы здесь для всех нечистых и для жажды их.

Бросьте же, друзья, свой чистый взор в источник моей радости! Разве помутится он! Он улыбнется в ответ вам своей чистотою.

На дереве будущего вьем мы свое гнездо; орлы должны в своих клювах приносить пищу нам, одиноким!

Поистине, не ту пищу, которую могли бы вкушать и нечистые! Им казалось бы, что они пожирают огонь, и они обожгли бы себе рты!

Поистине, мы не готовим здесь жилища для нечистых! Ледяной пещерой было бы наше счастье для тела и духа их.

И подобно могучим ветрам, хотим мы жить над ними, соседи орлам, соседи снегу, соседи солнцу: так живут могучие ветры.

И подобно ветру, хочу я когда-нибудь еще подуть среди них и своим духом отнять дыхание у духа их: так хочет мое будущее.

Поистине, могучий ветер Заратустра для всех низких мест; и такой совет дает он своим врагам и всем, кто плюет: «Берегись плевать против ветра!» —

Так говорил Заратустра.

О тарантулах

Взгляни, вот яма тарантула! Не хочешь ли ты посмотреть на него самого? Вот висит его сеть: тронь, чтобы она задрожала.

Вот идет он добровольно: здравствуй, тарантул! Черным сидит на твоей спиие твой треугольиик и примета; и я знаю также, что́ сидит в твоей душе.

Мщение сидит в твоей душе: куда ты укусишь, там вырастает черный струп; мщением заставляет твой яд кружиться душу!

Так говорю я вам в символе, вы, проповедиики *равенства*, заставляющие кружиться души! Тарантулы вы для меия и скрытые мстители!

Но я выведу ваши притоны на свет: поэтому и смеюсь я вам в лицо своим смехом высоты.

Поэтому и рву я вашу сеть, чтобы ваша ярость выманила вас из вашей пещеры лжи и чтобы ваша месть выскочила из-за вашего слова «справедливость».

Ибо: *да будет человек избавлен от мести*: вот для меия мост, ведущий к высшей надежде, и радужиое иебо после долгих гроз.

Но другого, коиечио, хотят тарантулы. «По-нашему, справедливость будет именно в том, чтобы мир был полои грозами нашего мщения» — так говорят они между собою.

«Мщеиию и позору хотим мы предать всех, кто не подобен нам» — так клянутся сердца тарантулов.

И еще: «Воля к равеиству — вот что должно стать отныне имеием для добродетели; и против всего власть имущего подиимаем мы свой крик!»

Проповедники равенства! Бессильиое безумие тирана вопиет в вас о «равенстве»: так скрывается ваше сокровенное желание тираиии за словами о добродетели!

Истосковавшийся мрак, скрытая зависть, быть может, мрак и зависть ваших отцов: вот что прорывается в вас безумиым пламенем мести.

То, о чем молчал отец, иачииает говорить в сыие; и часто находил я в сыие обиажеиную тайну отца.

На вдохиовеииых похожи они: ио не сердце вдохиовляет их — а месть. И если они становятся хитрыми и холодными,— это не ум, а зависть делает их хитрыми и холодными.

Их зависть приводит их даже иа путь мыслителей; и в том отличительиая черта их зависти, что всегда идут они слишком далеко: так что их усталость должна в коице концов усиуть на сиегу.

В каждой жалобе их звучит мщение, в каждой похвале их есть желание причинить страдание; и быть судьями кажется им блаженством.

Но я советую вам, друзья мои: не доверяйте никому, в ком сильно стремление наказывать!

Это — народ плохого сорта и происхождения; на их лицах виден палач и ищейка.

Не доверяйте всем тем, кто много говорят о своей справедливости! Поистине, их душам недостает не одного только меду.

И если они сами себя называют «добрыми и праведными», не забывайте, что им недостает только — власти, чтобы стать фарисеями!

Друзья мои, я не хочу, чтобы меня смешивали или ставили наравне с ними.

Есть такие, что проповедуют мое учение о жизни: и в то же время они проповедники равенства и тарантулы.

Они говорят в пользу жизни, эти ядовитые пауки, хотя они сидят в своих пещерах, отвернувшись от жизни: ибо этим они хотят причинять страдание.

Этим они хотят причинять страдание всем, у кого теперь власть: ибо у этих преобладает еще проповедь смерти.

Будь иначе, и тарантулы учили бы иначе: ибо они некогда были худшими клеветниками на мир и сожигателями еретиков.

Я не хочу, чтобы меня смешивали или ставили наравне с этими проповедниками равенства. Ибо так говорит ко мне справедливость:«Люди не равны».

И они не должны быть равны! Чем была бы моя любовь к сверхчеловеку, если бы я говорил иначе?

Пусть по тысяче мостов и тропинок стремятся они к будущему, и пусть между ними будет все больше войны и неравенства: так заставляет меня говорить моя великая любовь!

Изобретателями образов и призраков должны они стать во время вражды своей, и этими образами и призраками должны они сразиться в последней борьбе!

Добрый и злой, богатый и бедный, высокий и низкий и все имена ценностей: все должно быть оружием и кричащим символом и указывать, что жизнь должна всегда сызнова преодолевать самое себя!

Ввысь хочет она строиться с помощью столбов и ступеней: дальние горизонты хочет она изведать и смотреть на блаженные красоты,— *для этого* ей нужна высота!

И так как ей нужна высота, то ей нужны ступени и противоречия ступеней и подымающихся по ним! Подниматься хочет жизнь и, поднимаясь, преодолевать себя.

И посмотрите, друзья мои! Здесь, где пещера тарантула, высятся развалины древнего храма,— посмотрите на них просветленными глазами!

Поистине, тот, кто некогда здесь, в камне, воздвигал свои мысли вверх, знал о тайне всякой жизни наравне с мудрейшими из людей!

Что даже в красоте есть борьба и неравенство, и война и власть, и чрезмерная власть: этому учит он нас здесь в самом ясном символе.

Как божественно преломляются здесь в борьбе своды и дуги: как светом и тенью они устремляются друг против друга, божественно стремительные,—

так же уверенно и прекрасно будем врагами и мы, друзья мои! Божественно устремимся мы друг *против* друга! —

Увы! Тут укусил меня самого тарантул, мой старый враг! Божественно уверенно и прекрасно укусил он меня в палец!

«Должны быть наказание и справедливость» — так думает он: ведь недаром же ему петь здесь гимны в честь вражды!

Да, он отомстил за себя! И, увы! теперь мщением заставит он кружиться и мою душу!

Но чтобы не стал я кружиться, друзья мои, привяжите меня покрепче к этому столбу! Уж лучше хочу я быть столпником, чем вихрем мщения!

Поистине, не вихрь и не смерч Заратустра; а если он и танцор, то никак не танцор тарантеллы! —

Так говорил Заратустра.

О знаменитых мудрецах

Народу служили вы и народному суеверию, вы все, знаменитые мудрецы! — а не истине! И потому только платили вам дань уважения.

И потому только перенеслн ваше неверне, что оно было остроумным окольным путем к народу. Так предоставляет господин волю своим рабам и еще потешается над их своеволием.

Но кто же ненавнстен народу, как волк собакам: — свободный ум, враг цепей, кто не молнтся и живет в лесах.

Выгнать его нз его убежнща — это называлось всегда у народа «чувством справедливости»: на него он все еще натравливает своих самых злых собак.

«Истнна существует: ибо существует народ! Горе нщущему!» — так велось исстарн.

Своему народу хотелн вы дать оправдание в его поклоненин: это называлн вы «волею к истнне», вы, знаменитые мудрецы!

И ваше сердце всегда говорило себе: «Из народа вышел я, оттуда же низошел на меня голос бога».

Упрямые и хитрые, как ослы, вы всегда былн ходатаями за народ.

И многне властители, желавшне ладнть с народом, впрягали впередн своих коней — осленка знаменитого мудреца.

А теперь, знаменитые мудрецы, хотелось бы мне, чтобы вы наконец совсем сбросилн с себя шкуру льва!

Пеструю шкуру хнщного зверя н космы нсследующего, ищущего и завоевывающего!

Ах, чтобы научнлся я верить в вашу «правдивость», вам надо сперва отказаться от вашей воли к поклонению.

Правдивым называю я того, кто идет в пустыни, где нет богов, и разбивает свое сердце, готовое поклониться.

На желтом песке, палимый солнцем, украдкой смотрит он с жадностью на богатые нсточниками острова, где все живущее отдыхает под тенью дерев.

Но его жажда не может заставить его сделаться похожим на этих довольных: нбо где есть оазнсы, там есть н ндолы.

Быть голодным, сильным, одиноким н безбожным: так хочет воля льва.

Быть свободным от счастья рабов, нзбавленным от богов и поклонения им, бесстрашным н наводящим страх, великим и одиноким: такова воля правдивого.

В пустыне жили искони правдивые, свободные умы, как господа пустыни; но в городах живут хорошо откорм-

ленные, знаменитые мудрецы,— вьючные животные.

Ибо всегда тянут они, как ослы,— повозку *народа*!

За это не сержусь я на них: но слугами остаются они для меня и людьми запряженными, даже если сбруя их сверкает золотом.

И часто бывали они хорошими слугами, достойными похвалы. Ибо так говорит добродетель: «Если должен ты быть слугою, ищи того, кому твоя служба всего полезнее!»

«Дух и добродетель твоего господина должны расти благодаря тому, что ты его слуга: так будешь ты расти и сам вместе с его духом и его добродетелью!»

И поистине, вы, знаменитые мудрецы, слуги народа! вы сами росли вместе с духом и добродетелью народа — а народ через вас! К вашей чести говорю я это!

Но народом остаетесь вы для меня даже в своих добродетелях, близоруким народом,— который не знает, что такое *дух*!

Дух есть жизнь, которая сама стоит жизни: своим собственным страданием увеличивает она собственное знание,— знали ли вы уже это?

И счастье духа в том, чтобы помазанным быть и освященным быть слезами на закланье,— знали ли вы уже это?

И слепота слепого и его исканье ощупью свидетельствуют о силе солнца, на которое глядел он,— знали ли вы уже это?

С помощью гор должен учиться *строить* познающий! Мало того, что дух двигает горами,— знали ли вы уже это?

Вы знаете только искры духа: но вы не видите наковальни, какой является он, и жестокости его молота!

Поистине, вы не знаете гордости духа! Но еще менее перенесли бы вы скромность духа, если бы когда-нибудь захотела она говорить!

И никогда еще не могли вы ввергнуть свой дух в яму со снегом: вы недостаточно горячи для этого! Потому и не знаете вы восторгов его холода.

Но во всем обходитесь вы, по-моему, с духом слишком запросто; и из мудрости делали вы часто богадельню и больницу для плохих поэтов.

Вы не орлы: потому и не испытывали вы счастья в

испуге духа. И кто не птица, не должен парить над пропастью.

Вы кажетесь мне теплыми: но холодом веет от всякого глубокого познания. Холодны, как лед, самые глубокие источники духа: услада для горячих рук и для тех, кто действует.

Вот стоите вы, чтимые, строгие, с прямыми спинами, вы, знаменитые мудрецы! — вами не движет могучий ветер и сильная воля.

Видели ли вы когда-нибудь парус на море, надутый ветром и дрожащий от бури?

Подобно парусу, дрожащему от бури духа, проходит по морю моя мудрость — моя дикая мудрость!

Но вы, слуги народа, вы, знаменитые мудрецы,— как *могли бы* вы идти со мною!—

Так говорил Заратустра.

Ночная песнь

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь только пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного.

Что-то неутоленное, неутолимое есть во мне: оно хочет говорить. Жажда любви есть во мне; она сама говорит языком любви.

Я — свет: ах, если бы быть мне ночью! Но в том и одиночество мое, что опоясан я светом.

Ах, если бы быть мне темною ночью! Как упивался бы я у сосцов света!

И даже вас благословлял бы я, вы, звездочки, мерцающие, как светящиеся червяки на небе! — и был бы счастлив от ваших даров света.

Но я живу в своем собственном свете, я вновь поглощаю пламя, что исходит из меня.

Я не знаю счастья берущего; и часто мечтал я о том, что красть должно быть еще блаженнее, чем брать.

В том моя бедность, что моя рука никогда не отдыхает от дарения; в том моя зависть, что я вижу глаза, полные ожидания, и ночи, освещенные жаждой желания.

О горе всех, кто дарит! О затмение моего солнца! О

жажда желаний! О ярый голод среди пресыщения!

Они берут у меня: но затрагиваю ли я их душу? Целая пропасть лежит между «дарить» и «брать»; но и через малейшую пропасть очень трудно перекинуть мост.

Голод вырастает из моей красоты: причинить страдание хотел бы я тем, кому я свечу, ограбить хотел бы я одаренных мною: — так алчу я злобы.

Отдернуть руку, когда другая рука уже протягивается к ней; медлить, как водопад, который медлит в своем падении: — так алчу я злобы.

Такое мщение измышляет мой избыток: такое коварство рождается из моего одиночества.

Мое счастье дарить замерло в дарении, моя добродетель устала от себя самой и от своего избытка!

Кто постоянно дарит, тому грозит опасность потерять стыд; кто постоянно раздает, у того рука и сердце натирают себе мозоли от постоянного раздавания.

Мои глаза не делаются уже влажными перед стыдом просящих; моя рука слишком огрубела для дрожания рук наполненных.

Куда же девались слезы из моих глаз и нежность из моего сердца? О одиночество всех, кто дарит! О молчание всех, кто светит!

Много солнц вращается в пустом пространстве: всему, что темно, говорят они своим светом,— для меня молчат они.

О, в этом и есть вражда света ко всему светящемуся: безжалостно проходит оно своими путями.

Несправедливое в глубине сердца ко всему светящемуся, равнодушное к другим солнцам,— так движется всякое солнце.

Как буря несутся солнца своими путями, в этом — движение их. Своей неумолимой воле следуют они, в этом — холод их.

О, это вы, темные ночи, создаете теплоту из всего светящегося! О, только вы пьете млеко и усладу у сосцов света!

Ах, лед кругом меня, моя рука обжигается об лед! Ах, жажда во мне, которая томится по вашей жажде!

Ночь: ах, зачем я должен быть светом! И жаждою тьмы! И одиночеством!

Ночь: теперь рвется, как ключ, мое желание,— желание говорить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И душа моя тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного.—

Так пел Заратустра.

Песнь-пляска

Однажды вечером проходил Заратустра со своими учениками по лесу; и вот: отыскивая источник, вышел он на зеленый луг, окаймленный молчаливыми деревьями и кустарником: на нем танцевали девушки. Узнав Заратустру, девушки бросили свой танец; но Заратустра подошел к ним с приветливым видом и говорил эти слова:

— Не бросайте пляски, вы, милые девушки! К вам подошел не противник игр со злым взглядом, не враг девушек.

Ходатай бога я перед дьяволом, а он — дух тяжести. Как бы мог я, вы, быстроногие, быть врагом божественных танцев? Или женских ножек с красивыми пальцами?

Правда, я — лес, полный мрака от темных дерев: но кто не испугается моего мрака, найдет и кущи роз под сенью моих кипарисов.

И маленького бога найдет он, любезного девушкам: у колодца лежит он тихо, с закрытыми глазами.

Поистине, среди бела дня уснул он, ленивец! Не гонялся ли он слишком много за бабочками?

Не сердитесь на меня, прекрасные плясуньи, если я немного накажу маленького бога! Быть может, кричать будет он и плакать,— но он готов смеяться, даже когда плачет!

И со слезами на глазах пусть просит он у вас о пляске; а я спою песнь к его пляске:

Песнь пляски и насмешки над духом тяжести, моим величайшим и самым могучим демоном, о котором говорят, что он «владыка мира».—

И вот песня, которую пел Заратустра, в то время как Купидон и девушки вместе плясали:

В твои глаза заглянул я недавно, о жизнь! И мне показалось, что я погружаюсь в непостижимое.

Но ты вытащила меня золотою удочкой; насмешливо смеялась ты, когда я тебя называл непостижимой.

«Так говорят все рыбы,— отвечала ты.— Чего не постигают *они*, то и непостижимо.

Но я только изменчива и дика, и во всем я женщина, и притом не добродетельная:

Хотя я называюсь у вас, мужчин, «глубиною» или «верностью», «вечностью», «тайною».

Но вы, мужчины, одаряете нас всегда собственными добродетелями — ах вы, добродетельные!»

Так смеялась она, невероятная; но никогда не верю я ей и смеху ее, когда она дурно говорит о себе самой.

И когда я с глазу на глаз говорил со своей дикой мудростью, она сказала мне с гневом: «Ты желаешь, ты жаждешь, ты любишь, потому только ты и *хвалишь* жизнь!»

Чуть было зло не ответил я ей и не сказал правду рассерженной; и нельзя злее ответить, как «сказав правду» своей мудрости.

Так обстоит дело между нами тремя. От всего сердца люблю я только жизнь — и поистине, всего больше тогда, когда я ненавижу ее!

Но если я люблю мудрость, и часто слишком люблю ее, то потому, что она очень напоминает мне жизнь!

У нее ее глаза, ее смех и даже ее золотая удочка: чем же я виноват, что они так похожи одна на другую?

И когда однажды жизнь спросила меня: «Что такое мудрость?» — я с жаром ответил: «О, да! мудрость!

Ее алчут и не насыщаются, смотрят сквозь покровы и ловят сетью.

Красива ли она? Почем я знаю! Но и самые старые карпы еще идут на приманки ее.

Изменчива она и упряма; часто я видел, как кусала она себе губы и путала гребнем свои волосы.

Быть может, она зла и лукава, и во всем она женщина; но когда она дурно говорит о себе самой, тогда именно увлекает она всего больше».

И когда я сказал это жизни, она зло улыбнулась и закрыла глаза. «О ком же говоришь ты?— спросила она.— Не обо мне ли?

И еслн даже ты прав,— можно лн говорнть э т о мне прямо в лнцо! Но теперь скажн мне о своей мудростн!»

Ах, ты опять раскрыла глаза свон, о жизнь возлюблениая! И мие показалось, что я опять погружаюсь в непостнжимое.—

Так пел Заратустра. Но когда пляска кончнлась н девушкн ушлн, он сделался печальным.

«Солнце давно уже село,— сказал ои наконец,— луг стал сырым, от лесов веет прохладой.

Что-то неведомое окружает меня н задумчнво смотрит. Как! Ты жнв еще, Заратустра?

Почему? Зачем? Для чего? Куда? Где? Как? Разве не безумне — жнть еще? —

Ах, друзья мон, это вечер вопрошает во мне. Простнтё мие мою печаль!

Вечер настал: простнте мне, что вечер настал!» —

Так говорил Заратустра.

Надгробная песнь

«Там остров могнл, молчалнвый; там также могнлы моей юностн. Туда отнесу я вечно зеленый венок жнзнн».

Так решнв в сердце, ехал я по морю.—

О вы, образы н вндення моей юности! О взоры любви, божественные мгновення! Как быстро нсчезлн вы! Я вспомннаю о вас сегодня как об умершнх для меня.

От вас, мон дорогне мертвецы, нисходит на меня сладкое благоуханне, облегчающее мое сердце слезамн. Поистине, оно глубоко трогает н облегчает сердце однноконму пловцу.

И все-такн я самый богатый н больше всех вызывающнй завнсть к себе — я самый однноквй! Ибо вы б ы л н у меня, а я до сих пор у вас: скажите, кому падалн такие розовые яблочкн с дерева, как мне?

Я все-такн предмет вашей любвн н наследннк, цветущнй в память о вас пестрыми дикорастущнми добродетелямн, о вы, возлюблеииые мон!

Ах, мы былн созданы, чтобы оставаться вблнзн друг друга, вы, милые, нездешние чудеса; н ие как боязливые

птицы приблизились вы ко мне и к желанию моему — нет, как доверчивые к доверчивому!

Да, вы были созданы для верности, подобно мне, и для нежной вечности: должен ли я теперь называть вас именем вашей неверности, вы, взоры любви и божественные мгновения: иному имени не научился я еще.

Поистине, слишком быстро умерли вы для меня, вы, беглецы. Но не бежали вы от меня, не бежал и я от вас: не виновны мы друг перед другом в нашей неверности.

Чтобы *меня* убить, душили вас, вы, певчие птицы моих надежд! Да, в вас, вы, возлюбленные мои, пускала всегда злоба свои стрелы — чтобы попасть в мое сердце!

И она попала! Ибо вы были всегда самыми близкими моему сердцу, вы были всем, чем я владел и что владело мною: и *потому* вы должны были умереть молодыми и слишком рано!

В самое уязвимое, чем я владел, пустили они стрелу: то были вы, чья кожа походит на нежный пух и еще больше на улыбку, умирающую от одного взгляда на нее!

Но так скажу я своим врагам: «Что значит всякое человекоубийство в сравнении с тем, что вы мне сделали!

Больше зла сделали вы мне, чем всякое человекоубийство; невозвратное взяли вы у меня».— Так говорю я вам, мои враги.

Разве вы не убивали видений и самых дорогих чудес моей юности! Товарищей моих игр отнимали вы у меня, блаженных духов! В память их кладу я этот венок и это проклятие.

Это проклятие вам, мои враги! Разве вы не сделали мою вечность более короткой,— как звук разбивается в холодную ночь! Одним лишь взглядом божественного ока промелькнула она для меня,— одним мгновением!

Так говорила в добрый час когда-то моя чистота: «Божественными должны быть для меня все существа».

Тогда напали вы на меня с грязными призраками; ах, куда же девался теперь *тот* добрый час!

«Все дни должны быть для меня священны» — так говорила когда-то мудрость моей юности: поистине, веселой мудрости речь!

Но тогда украли вы, враги, у меня мои ночи и заменили их мукой бессонницы: ах, куда же девалась теперь та веселая мудрость?

Когда-то искал я по птицам счастливых примет: тогда пустили вы мне на дорогу противное чудовище — сову. Ах, куда же девалось тогда мое нежное стремление?

Когда-то дал я обет отрешиться от всякого отвращения: тогда превратили вы моих ближних и самых близких в гнойные вереда*. Ах, куда же девался тогда мой самый благородный обет?

Как слепец, шел я когда-то блаженными путями: тогда набросали вы грязи на дорогу слепца: и теперь чувствует он отвращение к старой тропинке слепца.

И когда я совершал самое трудное для меня и праздновал победу своих преодолений, тогда вы заставили тех, кто любили меня, кричать, что причиняю я им жестокое горе.

Поистине, вы всегда поступали так: вы отравляли мне мой лучший мед и старания моих лучших пчел.

К моей благотворительности посылали вы всегда самых наглых нищих; вокруг моего сострадания заставляли вы всегда тесниться неисправимых бесстыдников. Так ранили вы мои добродетели в их вере.

И если приносил я в жертву, что было у меня самого священного, тотчас присоединяло сюда и ваше «благочестие» свои жирные дары: так что в чаду вашего жира глохло, что было у меня самого священного.

И однажды хотел я плясать, как никогда еще не плясал: выше всех небес хотел я плясать. Тогда уговорили вы моего самого любимого певца.

И теперь он запел заунывную, мрачную песню; ах, он трубил мне в уши, как печальный рог!

Убийственный певец, орудие злобы, ты виновен менее всех! Уже стоял я готовым к лучшему танцу: тогда убил ты своими звуками мой восторг!

Только в пляске умею я говорить символами о самых высоких вещах: — и теперь остался мой самый высокий символ невыраженным в моих телодвижениях!

Невыраженной и неразрешенной осталась во мне высшая надежда! И умерли все образы и утешения моей юности!

Как только перенес я это? Как перенес и превозмог я эти раны? Как воскресла моя душа из этих могил?

Да, есть во мне нечто, чего нельзя ни ранить, ни похоронить, что может взрывать даже скалы: м о е й в о л е ю на-

* Рана, нарыв (др.-русск.).— *Ред.*

зывается оно. Молчаливо и не изменяясь проходит оно через годы.

Своим ходом хочет идти на моих ногах моя старая воля; ее чувство безжалостно и неуязвимо.

Неуязвим я только в мою пяту. Ты жива еще и верна себе, самая терпеливая! Всегда проходила ты через все могилы!

В тебе живет еще все неразрешенное моей юности; и как жизнь и юность, сидишь ты здесь, надеясь, на желтых обломках могил.

Да, ты еще для меня разрушительница всех могил: привет тебе, моя воля! И только там, где есть могилы, есть и воскресение.—

Так пел Заратустра.

О преодолении самого себя

«Волею к истине» называете вы, мудрейшие, то, что движет вами и делает пылкими?

Волею к мыслимости всего сущего: так называю я вашу волю!

Все сущее хотите вы с д е л а т ь сперва мыслимым: ибо вы сомневаетесь с добрым недоверием, мыслимо ли оно.

Но оно должно подчиняться и покоряться вам! Так хочет ваша воля. Гладким должно стать оно и подчиниться духу как его зеркало и отражение в нем.

В этом вся ваша воля, вы, мудрейшие, как воля к власти; и даже когда вы говорите о добре и зле и об оценках ценностей.

Создать хотите вы еще мир, перед которым вы могли бы преклонить колена: такова ваша последняя надежда и опьянение.

Но немудрые, народ,— они подобны реке, по которой плывет челнок: и в челноке сидят, торжественные и разряженные, оценки ценностей.

Вашу волю и ваши ценности поставили вы на реку становления; старая воля к власти открывается в том, во что верит народ как в добро и зло.

Это были вы, мудрейшие, кто посадили таких гостей в этот челнок и дали им блеск и гордые имена,— вы и ваша господствующая воля!

Дальше иесет теперь река ваш челиок: оиа должиа его иести. Что за беда, если неиится разбитая волиа и гиевио противится килю!

Не река является вашей опасиостью и коицом вашего добра и зла, вы, мудрейшие: ио сама эта воля, воля к власти,— иеистощимая, творящая воля к жизии.

Но чтобы пояли вы мое слово о добре и зле, я скажу вам еще свое слово о жизии и свойстве всего живого.

Все живое проследил я, я прошел великими и малыми путями, чтобы позиать его свойство.

Стограииым зеркалом ловил я взор жизии, когда уста ее молчали: дабы ее взор говорил мие. И ее взор говорил мие.

Но где бы ии иаходил я живое, везде слышал я речь о послушаиии. Все живое есть иечто повииующееся.

И вот второе: тому приказывают, кто ие может повиioваться самому себе. Таково свойство всего живого.

Но вот третье, что я слышал: приказывать трудиее, чем повииоваться. И ие потому только, что приказывающий иесет бремя всех повииующихся и что легко может это бремя раздавить его: —

Попыткой и дерзиовеиием казалось мие всякое приказаиие; и, приказывая, живущий всегда рискует самим собою.

И даже когда ои приказывает самому себе: ои должеи еще искупить свое приказаиие. Своего собствеииого закоиа должеи ои стать судьей, и мстителем, и жертвой.

«Но как же происходит это!» — так спрашивал я себя. Что побуждает все живое повииоваться и, приказывая, быть еще повииующимся?

Слушайте же мое слово, вы, мудрейшие. Удостоверьтесь серьезио, проиик ли я в сердце жизии и до самых корией его сердца!

Везде, где иаходил я живое, иаходил я и волю к власти; и даже в воле служащего иаходил я волю быть господиюм.

Чтобы сильиейшему служил более слабый — к этому побуждает его воля его, которая хочет быть господииом иад еще более слабым: лишь без этой радости ие может ои обойтись.

И как меиьший отдает себя большему, чтобы тот радовался и власть имел иад меиьшим, так прииосит себя в жертву и больший и из-за власти ставит иа доску — жизиь свою.

В том и жертва великого, чтобы было в нем дерзновение, и опасность, и игра на жизнь и смерть.

А где есть жертва, и служение, и взоры любви, там есть и воля быть господином. Окольными путями пробирается слабейший в крепость и до самого сердца сильнейшего — и похищает власть у него.

И вот какую тайну поведала мне сама жизнь. «Смотри,— говорила она,— *я всегда должна преодолевать самое себя*.

Конечно, вы называете это волей к творению или стремлением к цели, к высшему, дальнему, более сложному: но все это образует единую тайну.

Лучше погибну я, чем отрекусь от этого; и поистине, где есть закат и опадение листьев, там жизнь жертвует собою — из-за власти!

Мне надо быть борьбою, и становлением, и целью, и противоречием целей: ах, кто угадывает мою волю, угадывает также, какими *кривыми* путями она должна идти!

Что бы ни создавала я и как бы ни любила я созданное — скоро должна я стать противницей ему и моей любви: так хочет моя воля.

И даже ты, познающий, ты только тропинка и след моей воли: поистине, моя воля к власти ходит по следам твоей воли к истине!

Конечно, не обрел тот истины, кто пустил вслед ей слово о «воле к существованию»: такой воли — не существует!

Ибо то, чего нет, не может хотеть; а что существует, как могло бы оно еще хотеть существования!

Только там, где есть жизнь, есть и воля: и это не воля к жизни, но — так учу я тебя — воля к власти!

Многое ценится живущим выше, чем сама жизнь; но и в самой оценке говорит — воля к власти!» —

Так учила меня некогда жизнь: и отсюда я разрешаю, вы, мудрейшие, также и загадку вашего сердца.

Поистине, я говорю вам: добра и зла, которые были бы непреходящими,— не существует! Надо, чтобы всегда сызнова преследовали они самих себя.

При помощи ваших ценностей и слов о добре и зле совершаете вы насилие, вы, ценители ценностей: и в этом ваша скрытая любовь и блеск, и трепет, и порыв вашей души.

Но еще большее иаснлие и иовое преодоление **растет** нз вашнх ценностей: об ннх разбивается яйцо н скорлупа его.

И кто должен быть творцом в добре н зле: поистние, тот должен быть сперва разрушнтелем, разбивающим ценности.

Так принадлежнт высшее зло к высшему благу: а это благо есть творческое.—

Будем же г о в о р и т ь только о нем, вы, мудрейшие, хотя н трудно это. Но молчаиие еще хуже; все нстины, о которых умалчнвают, стаиовятся ядовитымн.

И пусть разобьется все, что может разбнться **об наши истины**! Еще много зданий есть для постройкн!—

Так говорил Заратустра.

О возвышениых

Спокойна глубииа моего моря: кто бы угадал, что она скрывает смешиые чудовища!

Непоколебима моя глубина: но она блестнт от плавающих загадок н смеха.

Одиого возвышеииого вндел я сегодия, торжественного, кающегося духом: о, как смеялась моя душа над его безобразнем!

С приподнятой грудью, похожий на тех, кто вбнрают в себя дыханне,— так стоял он, возвышеииый н молчаливый:

Увешаииый безобразиыми истннамн, своей охотничьей добычей, и богатый разодраниыми одеждами; также много шипов висело на нем — но я ие видел еще ии одиой розы,

Еще не научился он смеху и красоте. Мрачным возвратнлся этот охотник из леса позиання.

С битвы с дикимн зверямн вернулся он: и сквозь его суровость проглядывает еще дикий зверь — иепобежденный!

Как тигр, все еще стоит он, готовый прыгиуть; но я не люблю этнх напряженных душ; ие по вкусу мие все этн удалнвшиеся.

И вы говорнте мие, друзья, что о вкусах ие спорят? Но ведь вся жнзнь есть спор о вкусах!

Вкус: это одиовремеино н вес, и весы, н тот, кто взве-

шивает; и горе всему живущему, если бы захотело оио жить без спора о весе, о весах и о том, кто взвешивает!

Если бы этот возвышеииый утомился своею возвышениостью: только тогда иачалась бы его красота,— и только тогда вкусил бы я его и иашел бы вкусным.

И только когда он отвратится сам от себя, тогда перепрыгнет ои через свою собствеиную тень — и поистиие, прямо в свое солнце.

Слишком долго сидел ои в тени, щеки побледнели у кающегося духом; почти умер он с голоду в своих ожиданиях.

Презреиие еще в его взоре; и отвращеиие таится иа его устах. Хотя отдыхает он теперь, но его отдых еще ие на солнце.

Он должен был бы работать, как вол; и его счастье должио бы пахнуть землею, а не презреиием к земле.

Белым волом хотел бы я его видеть, идущим, фыркая и мыча, впереди плуга: и его мычаиие должио бы хвалить все земиое!

Темно еще его лицо; тень руки пробегает по нему. Затемнен еще взор его глаз.

Самое дело его есть еще теиь на ием: рука затемияет того, кто действует ею. Еще не преодолел он своего дела.

Как люблю я в нем затылок вола: ио теперь хочу я еще видеть взор аигела.

Также свою волю героя должен он забыть: возиесеиным вверх должеи он быть для меия, а ие только возвышеииым: — сам эфир должеи возиести его, лишеииого воли!

Он победил чудовищ, он разгадал загадки: но ои должен еще победить своих чудовищ и разгадать свои загадки, в иебесиых детей ои должен еще превратить их.

Еще не научилось его позиаиие улыбаться и жить без зависти: еше не стих поток его страстей в красоте.

Поистиие, не в сытости должио смолкнуть и утонуть его желание, а в красоте! Красота входит в великодушие тех, кто возвышенно иастроен.

Положив руку поверх головы: так должен был бы отдыхать герой, так должен был бы преодолевать он даже свой отдых.

Но имеиио для героя к р а с о т а есть самая трудная вещь. Недостижима красота для всякой сильиой воли.

Немного больше, немного меньше: именно это значит здесь много, это значит здесь всего больше.

Оставить мускулы в бездействии и освободить волю от ноши ее: это и есть самое трудное для всех вас, вы, возвышенные!

Когда власть становится милостивой и нисходит в видимое: красотой называю я такое нисхождение.

И ни от кого не требую я так красоты, как от тебя, сильный: твоя доброта да будет твоим последним преодолением самого себя.

На всякое зло считаю я тебя способным: поэтому я и требую от тебя добра.

Поистине, я смеялся часто над слабыми, которые мнят себя добрыми, потому что у них бессильные руки.

К столбу добродетели должен ты стремиться: чем выше он вздымается, тем становится он красивее и нежнее, а внутри тверже и выносливее.

Да, возвышенный, некогда должен ты быть прекрасным и держать зеркало перед своей собственной красотою.

Тогда твоя душа будет содрогаться от божественных желаний; и поклонение будет в твоем тщеславии!

Это и есть тайна души: только когда герой покинул ее, приближается к ней, в сновидении,— сверхгерой.—

Так говорил Заратустра.

О стране культуры

Слишком далеко залетел я в будущее: ужас напал на меня.

И, оглянувшись кругом, я увидел, что время было моим единственным современником.

Тогда бежал я назад домой — и спешил все быстрее: так пришел я к вам, вы, настоящие, и в страну культуры.

Впервые посмотрел я на вас как следует и с добрыми желаниями: поистине, с тоскою в сердце пришел я.

Но что случилось со мной? Как ни было мне страшно,— я должен был рассмеяться! Никогда не видел мой глаз ничего более пестрого!

Я продолжал смеяться, тогда как мои ноги и сердце

дрожали: «Да, тут родина всех горшков с красками!»,— сказал я.

С лицами, обмазанными пятьюдесятью красками: так сидели вы, к моему удивлению, вы, настоящие!

И с пятьюдесятью зеркалами вокруг себя, которые льстили и подражали игре ваших красок!

Поистине, вы не могли бы носить лучшей маски, вы, настоящие, чем ваши собственные лица! Кто бы мог вас — *узнать*!

Исписанные знаками прошлого — а эти знаки закрашены новыми знаками: так сокрылись вы от всех толкователей!

И если даже быть исследователем внутренностей: кто поверил бы, что есть у вас внутренности! Из красок кажетесь вы составленными и из склеенных бумажек.

Все века и народы смотрят в беспорядке из-под ваших покровов; все обычаи и все верования говорят беспорядочно в ваших жестах.

Если бы кто освободил вас от ваших покрывал, накидок, красок и жестов: все-таки осталось бы у него достаточно, чтобы пугать этим птиц.

Поистине, я сам испуганная птица, однажды увидевшая вас нагими и без красок; и я улетел, когда скелет стал делать мне знаки любви.

Ибо скорее хотел бы я быть поденщиком в подземном мире и служить теням минувшего! — Жирнее и полнее вас обитатели подземного мира!

В том и горечь моей внутренности, что ни нагими, ни одетыми не выношу я вас, вы, настоящие!

Все беспокойное в будущем, и то, что некогда пугало улетевших птиц, поистине, внушает больше доверия, чем ваша «действительность».

Ибо так говорите вы: «Мы всецело действительность, и притом без веры и суеверия»,— так гордитесь вы — ах, даже не имея чем гордиться!

Но как *могли* бы вы верить, вы, размалеванные! — вы, образы всего, во что некогда верили!

Вы — ходячее опровержение самой веры и обрывки всяких мыслей. *Недостоверные*: так называю я вас, выразители действительности!

Все времена говорят друг против друга в ваших умах;

но сны и бред всех времен были все-таки ближе к действительности, чем ваше бодрствование!

Бесплодны вы: *потому* и недостает вам веры. Но кто должен был создать, у того были всегда свои вещие сны и звезды знамения — и верил он в веру! —

Вы — полуоткрытые ворота, у которых ждут могильщики. И вот *ваша* действительность: «Все стоит того, чтобы погибнуть».

Ах, вы стоите предо мной, вы, бесплодные, живые скелеты! И многие из вас хорошо понимали это и сами.

И они говорили: «Кажется, бог, пока я спал, что-то отнял у меня? Поистине, достаточно, чтобы сделать из этого женщину!

Удивительна худоба ребер моих!» — так говорили уже многие из людей настоящего.

Да, смех вызываете вы во мне, вы, настоящие! И в особенности, когда вы удивляетесь сами себе.

И горе мне, если бы не мог я смеяться над вашим удивлением и должен был глотать все, что есть противного в ваших горшках!

Но я хочу отнестись к вам легче, ибо *нечто тяжелое* должен нести я; и что мне за дело, если жуки и мухи сядут на мою ношу!

Поистине, не станет же она от того тяжелее! И не от вас, вы, настоящие, должна придти ко мне великая усталость.—

Ах, куда же еще подняться мне с моим желанием! Со всех гор высматриваю я страну моих отцов.

Но родины не нашел я нигде: ни в одном городе не обосновываюсь я и ухожу из всех ворот.

Чужды мне и для насмешки служат мне люди настоящего; к ним еще недавно влекло меня сердце; и изгнан я из страны моих отцов.

Так что люблю я еще только *страну моих детей*, неоткрытую, лежащую в самых далеких морях: и пусть ищут и ищут ее мои корабли.

Своими детьми хочу я искупить то, что я потомок моих отцов: и всем будущим — *это* настоящее! —

Так говорил Заратустра.

О незапятнанном познании

Когда вчера взошла луна, я думал, что она хочет родить солнце: так широко, как роженица, лежала она на горизонте.

Но она обманула меня своей беременностью; и скорее еще я поверю в мужчину на луне, чем в женщину.

Конечно, мало похож на мужчину этот застенчивый ночной мечтатель. Поистине, с нечистой совестью бродит он по крышам.

Ибо полон он вожделений и ревности, этот монах на луне, падок он до земли и всех радостей влюбленных.

Нет, я не люблю его, этого кота на крышах! Противны мне все, кто подкрадывается к полуоткрытым окнам!

Набожно и молча бродит он по звездным коврам: — но я не люблю мужских ног, ступающих тихо, на которых не звенят даже шпоры.

Шаги всякого честного говорят; но кошка ходит по земле крадучись. Взгляни, луна восходит нечестно, как кошка.—

Это сравнение прилагаю я к вам, чувствительные лицемеры, к вам, ищущим «чистого познания»! Вас называю я — сластолюбцами!

Вы также любите землю и земное: я хорошо разгадал вас! — но стыд в вашей любви и нечистая совесть,— вы похожи на луну!

В презрении к земному убедили вы ваш дух, но не ваше нутро: а *оно* сильнейшее в вас!

И теперь стыдится ваш дух, что он угождает вашему нутру, и крадется путями лжи и обмана, чтобы не встретиться со своим собственным стыдом.

«Для меня было бы высшим счастьем,— так говорит себе ваш лживый дух,— смотреть на жизнь без вожделений, а не как собака, с высунутым языком:

Быть счастливым в созерцании, с умершей волею, без приступов и алчности себялюбия,— холодным и серым на всем теле, но с пьяными глазами месяца!

Для меня было бы лучшей долею — так соблазняет самого себя соблазненный — любить землю, как любит ее месяц, и только одними глазами прикасаться к красоте ее.

И я называю *незапятнанным* познанием всех

вещей, когда я ничего ие хочу от иих, как только лежать перед нимн подобио зеркалу с сотиею глаз».—

О вы, чувствительиые лицемеры, вы, сластолюбцы! Вам недостает иевиииости в желаиии: и вот почему клевещете вы иа желаиие!

Поистиие, ие как созидающие, производящие н радующиеся стаиовлению любите вы землю!

Где есть невиииость? Там, где есть воля к рождеиию. И кто хочет созидать дальше себя, у того для меня самая чистая воля.

Где есть красота? Там, где я *должеи хотеть* всею волею; где хочу я любить и погибнуть, чтобы образ не остался только образом.

Любить и погибиуть: это согласуется от вечиости. Хотеть любви — это зиачит хотеть также смерти. Так говорю я вам, малодушные!

Но ваш взор, нечистый и изиежеиный, хочет быть «созерцанием»! А к чему можио прикосиуться трусливым глазом, должио быть окрещено именем «прекрасиого»! О вы, загрязнителн благородиых имеи!

Но в том проклятье ваше, вы, иезапятиаииые, вы, ищущие чистого познания, что иикогда ие родите вы: хотя бы широко, как рожеиица, и лежали вы на горизоите!

И понстние, вашн уста полиы благородиых слов: и мы должиы верить, что и ваше сердце полио через край, вы, лжецы?

Но *мои* слова — слова грубые, презрительные и простые: н я люблю подбнрать то, что иа ваших пиршествах падает под стол.

Все-такн я могу сказать ими нстииу — лицемерам! Да, мон рыбьн косточкн, раковииы и колючие листья должиы — щекотать носы лицемерам!

Дурной запах всегда кругом вас н ваших пиршеств: ибо вашн похотлнвые мысли, ваши ложь н притворство внсят в воздухе!

Рнскните же сперва поверить самнм себе — себе и своему нутру! Кто не верит себе самому, всегда лжет.

Лнчииою бога прнкрылнсь вы перед самимн собой, вы, «чнстые»: в личнне бога укрылся ужасиый кольчатый червь ваш.

Понстине, вы обманываете, «созерцающне»! Даже Заратустра был некогда обмаиут божествеииой виешиостью

вашей; не угадал он, какие змеи наполняют эту внешность.

Душу бога мечтал я некогда видеть играющей в ваших играх, вы, ищущие чистого познания! О лучшем искусстве не мечтал я никогда, чем ваши искусства!

Нечистоты от змей и дурной запах скрывала от меня даль: и что хитрость ящерицы похотливо ползала здесь.

Но я подошел к вам ближе: тогда наступил для меня день — и теперь наступает он для вас,— кончились похождения месяца.

Взгляните на него! Застигнутый, бледный стоит он — пред утренней зарею!

Ибо оно уже близко, огненное светило,— его любовь приближается к земле! Невинность и жажда творца — вот любовь всякого солнца!

Смотрите же на него, как оно нетерпеливо поднимается над морем! Разве вы не чувствуете жадного, горячего дыхания любви его?

Морем хочет упиться оно и глубину его поднять к себе на высоту: и тысячью грудей поднимается к нему страстное море.

Ибо оно *хочет*, чтобы солнце целовало его и упивалось им; оно *хочет* стать воздухом, и высотою, и стезею света, и самим светом!

Поистине, подобно солнцу, люблю я жизнь и все глубокие моря.

И для *меня* в том познание, чтобы все глубокое поднялось — на мою высоту! —

Так говорил Заратустра.

Об ученых

Пока я спал, овца принялась объедать венок из плюща на моей голове,— и, объедая, она говорила: «Заратустра не ученый больше».

И, сказав это, она с пренебрежением отошла в сторону. Ребенок рассказал мне об этом.

Люблю я лежать здесь, где играют дети, у развалившейся стены, среди чертополоха и красного мака.

Я все еще ученый для детей, а также для чертополоха и красного мака. Невинны они, даже в своей злобе.

Но для овец я уже перестал быть учеиым: так хочет моя судьба — да будет оиа благословеииа!

Ибо истииа в том, что ушел я из дома учеиых и еще захлопиул дверь за собою.

Слишком долго сидела моя душа голодной за их столом; не научился я, подобио им, позианию, как грызть орехи.

Простор люблю я и воздух над свежей землей; лучше буду спать я на воловьих шкурах, чем на зваииях и почестях их.

Я слишком горяч и сгораю от собственных мыслей: часто захватывает у меня дыхаиие. Тогда мне нужно на простор, подальше от всех запыленных комиат.

Но оии прохлаждаются в прохладиой тени: они хотят во всем быть только зрителями и остерегаются сидеть там, где солице жжет ступени.

Подобно тем, кто стоит на улице и глазеет иа проходящих: так ждут и оии и глазеют иа мысли, продумаииые другими.

Если дотроиуться до них руками, от иих невольно подиимается пыль, как от мучных мешков: но кто же подумает, что пыль их идет от зерна и от золотых даров нивы?

Когда выдают они себя за мудрых, меня знобит от мелких изречений и истин их: часто от мудрости их идет запах, как будто она исходит из болота: и поистине, я слышал уже, как лягушка квакала в ней!

Ловки оии, и искусные пальцы у них: что моя простота при многостороииости их! Всякое ткаиье и вязаиье зиают их пальцы: так вяжут они чулки духа!

Оии хорошие часовые механизмы: иужио только правильно заводить их! Тогда показывают оии безошибочно время и производят при этом легкий шум.

Подобно мельницам, работают они и стучат: только подбрасывай им свои зериа! — оии сумеют уже измельчить их и сделать белую пыль из них.

Они зорко поглядывают друг другу иа пальцы и не слишком доверяют один другому. Изобретательные на маленькие хитрости, подстерегают они тех, у кого хромает зиаиие,— подобио паукам подстерегают оии.

Я видел, как оии всегда с осторожностью приготовляют яд; и всегда надевали оии при этом стеклянные перчатки на свои пальцы.

Также в поддельные кости умеют они играть; и я заставал их играющими с таким жаром, что они при этом потели.

Мы чужды друг другу, и их добродетели противны мне еще более, чем лукавство и поддельные игральные кости их.

И когда я жил у них, я жил над ними. Поэтому и невзлюбили они меня.

Они и слышать не хотят, чтобы кто-нибудь ходил над их головами; и потому наложили они дерева, земли и сору между мной и головами своими.

Так заглушали они шум от моих шагов: и меньше всего слушали меня до сих пор самые ученые среди них.

Все ошибки и слабости людей нагромождали они между собою и мной: — «черным полом» называют они это в своих домах.

И все-таки хожу я со своими мыслями *над* головами их; и даже если бы я захотел ходить по своим собственным ошибкам, все-таки был бы я над ними и головами их.

Ибо люди *не равны*: так говорит справедливость. И чего я хочу, они не имели бы права хотеть! —

Так говорил Заратустра.

О поэтах

«С тех пор как лучше знаю я тело,— сказал Заратустра одному из своих учеников,— дух для меня только как бы дух; все же, что «не преходит»,— есть только символ».

«Это слышал я уже однажды от тебя,— отвечал ученик,— и тогда ты прибавил еще: «Но поэты слишком много лгут». Почему же сказал ты, что поэты слишком много лгут?»

«Почему? — повторил Заратустра.— Ты спрашиваешь, почему? Но я не принадлежу к тем, у кого можно спрашивать об их «почему».

Разве переживания мои начались со вчерашнего дня? Давно уже пережил я основания своих мнений.

Мне пришлось бы быть бочкой памяти, если бы хотел я хранить все основания своих мнений!

Уже слишком много для меня самому хранить свои мнения; и много птиц улетает уже.

И среди них нахожу я и залетного зверька в моей го-

лубятне, он мне чужой и дрожнт, когда я кладу на него свою руку.

Но что же сказал тебе однажды Заратустра? Что поэты слншком много лгут? — Но н Заратустра — поэт.

Вернshь лн ты, что сказал он здесь правду? Почему вернshь ты этому?»

Ученнк отвечал: «Я верю в Заратустру». Но Заратустра покачал головой н улыбнулся.

— Вера не спасает меня,— сказал он,— особенно вера в меня.

Но положнм, что кто-нибудь совершенно серьезно сказал бы, что поэты слншком много лгут: он был бы прав,— мы лжем слишком много.

Мы знаем слншком мало и дурно учнмся: поэтому н должны мы лгать.

И кто же нз нас, поэтов, не разбавлял бы своего вина? Много ядовнтых смесей прнготовлялось в нашнх погребах; многое, чего нельзя опнсать, осуществлялось там.

И так как мы мало знаем, то нам особенно нравятся ннщие духом, особенно если это молодые бабенкн.

И даже падкн мы к тому, о чем старые бабы рассказывают себе по вечерам. Это называем мы сами вечной женственностью в нас.

И как будто существует особый, тайный доступ к знанию, скрытый для тех, кто чему-ннбудь учнтся: так верим мы в народ н «мудрость» его.

Все поэты верят, что еслн кто-нибудь, лежа в траве нлн в уединенной роще, навострнт ушн, узнает кое-что о вещах, находящихся между небом и землею.

И когда находнт на поэтов нежное настроение, онн всегда думают, что сама прнрода влюблена в них:

И что она подкрадывается к их ушам, чтобы нашептывать им таинственные, влюбленные, льстнвые речи: этнм гордятся и чванятся онн перед всемн смертнымн!

Ах, есть так много вещей между небом и землей, мечтать о которых позволяли себе только поэты!

И особенно выше неба: ибо все боги суть снмволы и измышления поэтов!

Понстнне, нас влечет всегда вверх — в царство облаков: на них сажаем мы своих пестрых баловней и называем их тогда богами н сверхчеловеками: —

Ибо достаточно легки они для этих седалищ! — все эти боги и сверхчеловеки.

Ах, как устал я от всего недостижимого, что непременно хочет быть событием! Ах, как устал я от поэтов!

Пока Заратустра так говорил, сердился на него ученик его, но молчал. Молчал и Заратустра; но взор его обращен был внутрь, как будто глядел он в глубокую даль. Наконец он вздохнул.

— Я — от сегодня и от прежде,— сказал он затем.— Но есть во мне нечто, что от завтра, от послезавтра и от некогда.

Я устал от поэтов, древних и новых: поверхностны для меня они все и отмели они для меня на море.

Они недостаточно вдумались в глубину: потому и не опускалось чувство их до самого дна.

Немного похоти и немного скуки: таковы еще лучшие мысли их.

Дуновением и бегом призраков кажутся мне все звуки их арф; что знали они до сих пор о зное душевном, рождающем звуки!—

Они для меня недостаточно опрятны: все они мутят свою воду, чтобы глубокой казалась она.

И они любят выдавать себя за примирителей: но они остаются для меня людьми неопрятными, посредниками и посредственностью, которая все мутит! —

Ах, я закидывал свою сеть в их моря, желая наловить хороших рыб, но постоянно вытаскивал я голову какого-нибудь старого бога.

Так давало море камень голодающему. И им самим кажется, что происходят они из моря.

Несомненно, попадаются перлы у них: тем более похожи сами они на твердые раковины. И часто вместо души находил я у них соленую тину.

У моря научились они тщеславию его: не есть ли море павлин из павлинов?

Даже перед самым безобразным из всех буйволов распускает оно свой хвост, и никогда не устает оно играть своим веером из кружев, шелка и серебра.

Угрюмо смотрит буйвол, в своей душе близкий к песку, еще более близкий к тине, но приближающийся больше всего к болоту.

Что ему красота, и море, и убранство павлииа! Такое сравиеиие прилагаю я к поэтам.

Поистиие, самый дух их — павлии из павлиинов и море тщеславия!

Зрителей требует дух поэта: хотя бы то были буйволы!—

Но я устал от этого духа: и я предвижу время, когда ои устанет от самого себя.

Я видел уже поэтов измеиившимися и иаправившими взоры против самих себя.

Я видел приближеиие кающихся духом: они выросли из иих.—

Так говорил Заратустра.

О великих событиях

Есть остров иа море — иедалеко от блаженных островов Заратустры — иа нем постояиио дымится огнедышащая гора; иарод и особенно старые бабы из народа говорят об этом острове, что ои поставлеи, подобио камню, перед вратами подземиого мира: через самую же гору проходит вииз узкая тропиика, ведущая к этим вратам подземиого мира.

В ту пору как Заратустра пребывал иа блажеиных островах, случилось, что корабль бросил якорь у острова, где стоит дымящаяся гора; и люди его сошли иа берег, чтобы пострелять кроликов. Но около полудня, когда капитан и люди его сиова собрались вместе, увидели оии вдруг человека, идущего к иим по воздуху, и какой-то голос сказал явствеиио: «Пора! давно пора!» Когда же видеиие было совсем близко к иим — оно быстро пролетело мимо них, подобио теии, туда, где была огиеиная гора,— тогда узиали оии, к величайшему смущеиию, что это — Заратустра; ибо все оии уже видели его, за исключением самого капитаиа, и любили его, как любит иарод: мешая поровиу любовь и страх.

«Смотрите,— сказал старый кормчий,— это Заратустра отправляется в ад!»

В то самое время как эти корабельщики пристали к огиеииому острову, разиесся слух, что Заратустра исчез; и, когда спрашивали друзей его, оии рассказывали,

что он ночью сел на корабль, не сказав, куда хочет он ехать.

Так возникло смятение, а через три дня к этому смятению присоединилась еще история корабельщиков — и теперь весь народ говорил, что черт унес Заратустру. Хотя ученики его смеялись над этой болтовней и один из них сказал даже: «Я думаю, что скорее Заратустра унес черта», но в глубине души все были озабочены и желали скорее увидеть его: как же велика была их радость, когда на пятый день Заратустра появился среди них.

И вот рассказ о беседе Заратустры с огненным псом.

— Земля,— сказал он,— имеет оболочку; и эта оболочка поражена болезнями. Одна из этих болезней называется, например: «человек».

А другая из этих болезней называется «огненный пес»: о нем люди много лгали и позволяли лгать.

Чтобы изведать эту тайну, перешел я море: и я увидел истину нагою, поистине! нагою с головы до ног.

Теперь я знаю, что это за огненный пес; а также все бесы извержения и возмущения, которых боятся не одни только старые бабы.

«Выходи, огненный пес, из своей бездны! — кричал я,— и сознайся, как глубока эта глубина! Откуда берется то, что ты изрыгаешь вверх?

Ты пьешь обильно у моря: это видно по соли твоего красноречия! Поистине, для пса из бездны берешь ты слишком много пищи с поверхности!

Я считаю тебя самое большее чревовещателем земли: и всякий раз, когда я слышал речи бесов возмущения и извержения, находил я их похожими на тебя: с твоей же солью, ложью и плоскостью.

Вы умеете рычать и засыпать пеплом. Вы большие хвастуны и хорошо изучили искусство подогревать тину.

Где вы, там непременно должна быть поблизости тина и много похожего на губку, ноздреватого и защемленного: все это хочет на свободу.

«Свобода»,— вопите вы все особенно охотно: но я разучился верить в «великие события», коль скоро вокруг них много шума и дыма.

И поверь мне, шум ада! Величайшие события — это не наши самые шумные, а наши самые тихие часы.

Не вокруг изобретателей нового шума: вокруг изо-

бретателей новых цениостей вращается мир; и е с л ы ш н о вращается он.

И сознайся только! Совершившегося оказывалось мало всегда, когда твой шум н дым рассеивались. Ну что ж, если город обращался в развалнны н колоина лежала в грязи!

И вот что скажу я еще разрушителям колони. Несомнеино, это велнчайшее безумие — бросать соль в море и колоины в грязь.

В грязн вашего презреиия лежала колониа: ио таков закон ее, что для нее нз презреиия вырастает новая жизиь н жнвая красота!

Теперь в божествеином ореоле восстает оиа, еще более обольстительиая в своем страдаиии; и поистине! оиа еще поблагодарит вас, что вы иизвергли ее, вы, разрушителн!

Такой совет даю я царям и церквям и всему одряхлевшему от лет н от добродетели — дайте только изверг-нуть себя! Чтобы опять вериулись вы к жизии и к вам — добродетель!»

Так говорнл я перед огненным псом: но он сердито прервал меия н спроснл: «Церковь? Что это такое?»

«Церковь? — отвечал я.— Это род государства, н прнтом самый лживый. Но молчи, огненный пес! Ты знаешь род свой лучше другнх!

Как н ты сам, государство есть пес лицемерия; как и ты, любит оио говорить средн дыма н грохота,— чтобы заставнть вернть, что, подобно тебе, оно говорит нз недр вещей.

Ибо оно хочет иепремеино быть самым важиым зверем на земле; н в этом также верят ему.» —

И как только сказал я это, огиеииый пес как бешеный стал извиваться от завнстн. «Как,— крнчал ои,— самым важиым зверем иа земле? И в этом также верят ему?» И столько дыма н ужасиых криков выходило из его глотки, что я думал, что он задохнется от гнева н завнстн.

Накоиец он умолк, н уменьшилось его пыхтенне; но как только он умолк, сказал я со смехом:

«Ты сердншься, огиеииый пес: значит, я прав отиоснтельно тебя!

И чтобы оставался я правым, послушай о другом огиеииом псе: он говорит действнтельно из сердца земли.

Дыхание его из золота и золотого дождя: так хочет сердце его. Что ему до пепла, дыма и горячей пены!

Смех вылетает из него, как пестрые тучки; противны ему твое бурчанье, твое плеванье и истерзанные внутренности твои!

Но золото и смех — берет он из сердца земли, ибо, чтобы знал ты наконец,— сердце земли из золота».

Когда услышал это огненный пес, он не выдержал, чтобы дослушать меня. Пристыженный, поджал он свой хвост, трусливо проговорил *вау, вау!* и уполз вниз в свою пещеру.—

Так рассказывал Заратустра. Но ученики его едва слушали его: так велико было их желание рассказать ему о корабельщиках, кроликах и о летающем человеке.

«Что мне думать об этом! — сказал Заратустра.— Разве я призрак?

Но, вероятно, это была моя тень. Вы, должно быть, кое-что уже слышали о страннике и тени его?

Несомненно одно: нужно, чтобы я держал ее крепче,— иначе она еще испортит мою славу.»

И еще раз Заратустра покачал головой и удивился. «Что мне думать об этом!— повторил он.—

Почему же кричал призрак: «Пора! давно пора!»? Что же — давно пора?» —

Так говорил Заратустра.

Прорицатель

«— И я видел: наступило великое уныние среди людей. Лучшие устали от своих дел.

Объявилось учение, и рядом с ним шла вера в него: «Все пусто, все равно, все уже было!»

И эхо вторило со всех холмов: «Все пусто, все равно, все уже было!»

Правда, собрали мы жатву: но почему же сгнили и почернели наши плоды? Что упало со злого месяца в последнюю ночь?

Напрасен был всякий труд, в отраву обратилось наше вино, дурной глаз спалил наши поля и наши сердца.

Все мы иссохли; и если бы огонь упал на нас, мы бы

рассыпались как пепел: — но даже огонь утомили мы.

Все источники иссякли, и даже море отступило назад. Земля хочет треснуть, но бездна не хочет поглотить!

«Ах, есть ли еще море, где бы можно было утонуть» — так раздается наша жалоба — над плоскими болотами.

Поистине, мы уже слишком устали, чтобы умереть; и мы еще бодрствуем и продолжаем жить — в склепах!» —

Так говорящим слышал Заратустра одного прорицателя; и его предсказания проникли в сердце его и изменили его. Печальный и усталый бродил он; и он стал похож на тех, о ком говорил прорицатель.

— Поистине,— сказал он своим ученикам,— еще немного, и наступят эти долгие сумерки. Ах, как спасу я от них мой свет!

Чтобы не погас он среди этой печали! Для дальних миров он должен быть светом и для самых далеких ночей!

Так, опечаленный в сердце своем, ходил Заратустра; и три дня не принимал он ни пищи, ни питья, не имел покоя и потерял речь. Наконец, случилось, что впал он в глубокий сон. Ученики же его сидели вокруг него, бодрствуя долгими ночами, и с беспокойством ждали, не проснется ли он, не заговорит ли опять и не выздоровеет ли от своей печали.

Вот речь, которую сказал Заратустра, когда проснулся; голос его доходил до его учеников как бы издалека:

«Послушайте сон, который я видел, вы, друзья, и помогите мне отгадать его смысл!

Все еще загадка для меня этот сон; его смысл сокрыт в нем и не витает еще свободно над ним.

Я отрешился от всякой жизни, так снилось мне. Я сделался ночным и могильным сторожем в замке Смерти, на одинокой горе.

Там охранял я гробы ее; мрачные своды были полны трофеев побед ее. Из стеклянных гробов смотрела на меня побежденная жизнь.

Запах запыленной вечности вдыхал я: удручена и в пыли была моя душа. И кто же мог бы освежать там свою душу!

Свет полуночи был всегда кругом меня, одиночество на корточках сидело рядом с ним; и еще хрипящая мертвая тишина, худшая из моих подруг.

Ключи носил я с собой, самые заржавленные из всех

ключей; и я умел отворять ими самые скрипучие из всех ворот.

Подобио зловещему каркаиью, пробегали звуки по длииным ходам, когда подиимались затворы ворот: зловеще кричала эта птица, иеохотио давала оиа будить себя.

Но было еще ужасиее, и еще сильиее сжималось мое сердце, когда все замолкало и кругом водворялась тишииа, и я одии сидел в этом зловещем молчаиии.

Так медлеино тяиулось время, если время еще существовало: почем зиаю я это! Но, иакоиец, случилось то, что меия разбудило.

Трижды ударили в ворота как громом, трижды зазвучали и заревели своды в ответ: тогда пошел я к воротам.

«Альпа! — кричал я,— кто иесет свой прах иа гору? Альпа! альпа! Кто иесет свой прах иа гору?»

И я нажимал ключ и иапирал иа ворота, стараясь отворить их. Но оии ие отворялись ии иа палец:

Тогда бушующий ветер распахиул половиики их: свистя, крича, разрезая воздух, бросил ои мие чериый гроб:

И среди шума, свиста и произительиого воя раскололся гроб, и из иего раздался смех иа тысячу ладов.

И тысяча обликов детей, аигелов, сов, глупцов и бабочек величииой с ребеика смеялись и издевались иадо миой и иеслись иа меия.

Страшио испугался я и упал иаземь. И я закричал от ужаса, как иикогда ие кричал.

Но собствеиный крик разбудил меия: — и я пришел в себя».—

Так рассказывал Заратустра свой сои и потом умолк: ибо ои ие зиал еще зиачеиия своего сиа. Но учеиик, которого ои любил больше всех, быстро подиялся, схватил руку Заратустры и сказал:

«Сама твоя жизнь объясияет иам сои этот, о Заратустра!

Не ты ли сам этот ветер, с произительиым свистом распахивающий ворота в замке Смерти?

Не ты ли сам этот гроб, иаполиеиный миогоцветиой злобою и аигельскими обликами жизии?

Поистиие, подобио детскому смеху иа тысячу ладов, входит Заратустра во все склепы, смеясь иад иочиыми и могильиыми сторожами и иад всеми, кто гремит ржавыми ключами.

Пугать и опрокидывать будешь ты их своим смехом, обморок и пробуждение докажут твою власть иад ними.

И даже когда иаступят долгие сумерки и усталость смертельиая, ты ие закатишься иа иашем иебе, ты, защитиик жизии!

Новые звезды и иовое великолепие ночи показал ты иам; поистине, самый смех раскинул ты иад иами миогоцветиым шатром.

Отныие детский смех всегда будет бить ключом из гробов; отныне всегда будет дуть могучий ветер, торжествующий иад смертельной усталостью: в этом ты сам иам порука и предсказатель!

Поистине, *самих врагов своих видел ты во сне*: это был твой самый тяжелый сон!

Но как ты проснулся от иих и пришел в себя, так и оии должны проснуться от себя самих — и придти к тебе!» —

Так говорил ученик; и все остальные теснились к Заратустре, хватали руки его и хотели его убедить оставить ложе и печаль и вериуться к иим. Заратустра же сидел, приподиявшись на своем ложе и с диким взором. Подобно тому, кто возвращается после долгого отсутствия, смотрел он иа своих учеников, вглядывался в их лица и еще ие узиавал их. Но когда оии подияли его и поставили на иоги, изменился сразу взор его; он поиял все, что случилось, и, гладя себе бороду, сказал твердым голосом:

«Ну что ж, это придет в свое время; ио позаботьтесь, мои учеиики, чтобы был у иас хороший обед, и поскорей! Так думаю я искупить дуриые сны!

Прорицатель же должеи есть и пить рядом со мною: и поистиие, я покажу ему еще море, в котором может ои утоиуть!» —

Так говорил Заратустра. И он долго смотрел в лицо ученику, объясиившему сон, и качал при этом головою.

Об избавлении

Одиажды, когда Заратустра проходил по большому мосту, окружили его калеки и нищие, и один горбатый так говорил ему:

«Посмотри, Заратустра! Даже иарод учится у тебя и приобретает веру в твое учение: но чтобы совсем уверовал

ои в тебя, для этого нужио еще одио — ты должеи убеднть еще нас, калек! Здесь у тебя прекрасный выбор н, поистине, прекрасный случай нспытать себя больше чем на одиой голове! Ты можешь нсцелять слепых н заставлять бегать хромых, и ты мог бы иесколько облегчнть н того, у кого слишком миого позади его:— это, думаю я, было бы прекрасиым средством заставить калек уверовать в Заратустру!»

Но Заратустра так возразил говорившему: «Когда снимают у горбатого горб его, у иего отиимают и дух его — так учит иарод. И когда возвращают слепому глаза его, ои видит на земле слишком миого дуриого: так что он проклннает нсцелнвшего его. Тот же, кто дает возможиость бегать хромому, делает ему величайший вред: нбо едва лн он сможет бежать так скоро, чтобы пороки не опережали его,— так учит народ о калеках. И почему бы Заратустре ие учиться у иарода, если иарод учится у Заратустры?

Но с тех пор как жнву я средн людей, для меня это еще наимеиьшее зло, что вижу я: одному недостает глаза, другому — уха, третьему — ногн; ио есть и такие, что утратили язык, нли иос, или голову.

Я вижу и вндел худшее, н много столь отвратительного, что не обо всем хотелось бы говорить, а об нном хотелось бы даже умолчать: иапример, о людях, которым недостает всего, кроме избытка их,— о людях, которые ие что ниое как однн большой глаз, нлн однн большой рот, нлн одно большое брюхо, нлн вообще одио что-нибудь большое,— калекамн наизнанку называю я нх.

И когда я шел нз своего уединения и впервые проходнл по этому мосту, я не верил своим глазам, иепрестаино смотрел и накоиец сказал: «Это — ухо! Ухо велнчииою с человека!» Я посмотрел еще прнстальнее: н действнтельно, за ухом двигалось еще нечто, до жалостн маленькое, бедное н слабое. И поистние, чудовищное ухо сидело иа малеиьком, тоиком стебле,— н этнм стеблем был человек! Вооружась очкамн, можно было даже разглядеть маленькое, завнстлнвое лнчнко, а также пухлую душонку, которая качалась на стебле этом. Народ же говорил мне, что большое ухо не только человек, ио даже великий человек, геиий. Но никогда не вернл я народу, когда говорил он о велнких людях,— и я остался прн убежденнн, что это —

калека наизнаику, у которого всего слншком мало н только одиого чего-инбудь слншком много».

Сказав так горбатому и тем, для кого ои был толкователем н ходатаем, Заратустра обратнлся с глубокнм негодоваинем к своим учеинкам и сказал:

— Понстине, друзья мои, я хожу среди людей, как среди обломков и отдельных частей человека!

Самое ужасиое для взора моего — это вндеть человека разрушеииым и разбросанным, как будто иа поле кровопролнтной битвы.

И если переиосится мой взор от иастоящего к прошлому, всюду иаходит ои то же самое: обломки, отдельные частн человека н ужасиую случайность — н нн одного человека!

Настоящее и прошлое иа земле — ах! друзья мои, это и есть самое невыноснмое для меня; н я ие мог бы жнть, если бы ие был я провндцем того, что должно придтн.

Провндец, хотящий, созидающнй, само будущее и мост к будущему — и, ах, как бы калека на этом мосту: все это и есть Заратустра.

И вы также часто спрашивали себя: «Кто для нас Заратустра? Как должны мы иазывать его?» И как мои, вашн ответы были вопросами.

Есть ли ои обещающий? Илн нсполняющий? Завоевывающнй? Или наследующий? Осень? Или плуг? Врач? Илн выздоравлнвающнй?

Поэт ли ои? Говорит ли ои истину? Освободитель? Или покоритель? Добрый? Или злой?

Я хожу средн людей, как среди обломков будущего: того будущего, что вижу я.

И в том мое творчество н стремленне, чтобы собрать и соедннить воедино все, что является обломком, загадкой н ужасиой случайностью.

И как мог бы я быть человеком, если бы человек ие был также поэтом, отгадчиком и избавнтелем от случая!

Спасти тех, кто в прошлом, и преобразовать всякое «было» в «так хотел я» — лишь это я назвал бы нзбавлеиием!

«Воля» — так иазывается освободитель и вестнкк радости: так учил я вас, мои друзья! А теперь иаучнтесь еще: сама воля еще пленнница.

«Хотеть» освобождает: но как называется то, что и освободителя заковывает еще в цепи?

«Было» — так называется скрежет зубовный и сокровенное горе воли. Бессильная против того, что уже сделано,— она злобная зрительница всего прошлого.

Обратно не может воля хотеть; что не может она победить время и остановить движение времени,— в этом сокровенное горе воли.

«Хотеть» освобождает: чего только не придумывает сама воля, чтобы освободиться от своего горя и посмеяться над своим тюремщиком?

Ах, безумцем становится каждый пленник! Безумством освобождает себя и плененная воля.

Что время не бежит назад,— в этом гнев ее; «было» — так называется камень, которого не может катить она.

И вот катит она камни от гнева и досады и мстит тому, кто не чувствует, подобно ей, гнев и досаду.

Так стала воля, освободительница, причинять страдание: и на всем, что может страдать, вымещает она, что не может вернуться вспять.

Это и только это есть само м щ е н и е: отвращение воли ко времени и к его «было».

Поистине, великое безумие живет в нашей воле, и проклятьем стало всему человеческому, что это безумие научилось духу!

Дух мщения: друзья мои, он был до сих пор лучшей мыслью людей; и где было страдание, там всегда должно было быть наказание.

«Наказание» — именно так называет само себя мщение: с помощью лживого слова оно притворяется доброй совестью.

И так как в самом хотящем есть страдание, оттого что не может он обратно хотеть,— то и сама воля и вся жизнь должны бы быть — наказанием!

И вот туча за тучей собрались над духом: пока наконец безумие не стало проповедовать: «Все преходит, и потому все достойно того, чтобы пройти!»

«И самой справедливостью является тот закон времени, что оно пожирает своих детей» — так проповедовало безумие.

«Нравственно все распределено по праву и наказанию. Ах, где же избавление от потока вещей и от наказания

«существованнем»?» — так проповедовало безумне.

«Может лн существовать нзбавление, еслн существует вечное право? Ах, недвнжнм камень «было»: вечиыми должны быть также все наказання!» — так проповедовало безумие.

«Никакое дело не может быть уничтожено: как могло бы оно быть не сделано через наказание! В том нменно вечное в наказанни «существованнем», что существованне вечно должно быть опять делом н наказаннем!

«Пока, наконец, воля ие избавится от себя самой и не станет отрнцаннем волн»: — но ведь вы знаете, братья мои, эту басню безумня!

Прочь вел я вас от этих басеи, когда учил я вас: «Воля есть созидательинца».

Всякое «было» есть обломок, загадка, ужасная случайность, пока созндающая воля не добавнт: «Но так хотела я!»

— Пока созндающая воля не добавнт: «Но так хочу я! Так захочу я!»

Но говорнла ли оиа уже так? И когда это случается? Освобождена лн уже воля от своего собственного безумня?

Стала ли уже воля избавительннцей себя самой и вестницей радости? Забыла ли оиа дух мщеиия н всякнй скрежет зубовный?

И кто научил ее прнмиренню с временем и более высокому, чем всякое примиреине?

Более высокого, чем всякое примнренне, должна хотеть воля, которая есть воля к власти:— но как это может случиться с ией? Кто иаучнт ее хотеть обратно?» —

Но на этом месте речи Заратустры случнлось, что он вдруг остаиовился н сделался похож на страшно испугавшегося. Испуганнымн глазамн смотрел ои на своих учеинков; взор его, как стрела, проиизывал нх мыслн и тайные помыслы. Но мниуту спустя ои уже опять смеялся и сказал добродушно:

«Трудно жнть с людьми, нбо трудно хранить молчанне. Особенно для болтлнвого».—

Так говорнл Заратустра. Но горбатый прнслушивался к разговору и закрыл при этом свое лицо; когда же он

услыхал, что Заратустра смеется, он с любопытством взглянул на него и проговорил медленно:

«Почему Заратустра говорит с нами иначе, чем со своими учениками?»

Заратустра отвечал: «Что же тут удивительного! С горбатыми надо говорить по-горбатому!»

«Хорошо,— сказал горбатый,— и с учениками надо болтать по-школьному.

Но почему говорит Заратустра иначе к своим ученикам — чем к самому себе?» —

О человеческой мудрости

Не высота: покатость есть нечто ужасное!

Покатость, где взгляд стремительно падает *вниз*, а рука тянется *вверх*. Тогда трепещет сердце от двойного желания своего.

Ах, друзья, угадываете ли вы и моего сердца двойное желание?

В том покатость для *меня* и опасность, что взор мой устремляется в высоту, а рука моя хотела бы держаться и опираться — на глубину!

За человека цепляется воля моя, цепями связываю я себя с человеком, ибо влечет меня ввысь, к сверхчеловеку: ибо к нему стремится другая воля моя.

И *потому* живу я слепым среди людей, как будто не знаю я их: чтобы моя рука не утратила совсем своей веры в нечто твердое.

Я не знаю вас, люди: эта тьма и это утешение часто окружают меня.

Я сижу у проезжих ворот, доступный для каждого плута, и спрашиваю: кто хочет меня обмануть?

Моя первая человеческая мудрость в том, что я позволяю себя обманывать, чтобы не быть настороже от обманщиков.

Ах, если бы я был настороже от человека: как бы мог человек быть тогда якорем для воздушного шара моего! Слишком легко оторвался бы я, увлекаемый вверх и вдаль!

Таково уж провидение над моею судьбой, что без предвидения должен я быть.

И кто среди людей не хочет умереть от жажды, должен

научиться пить из всех стаканов; и кто среди людей хочет остаться чистым, должен уметь мыться и грязной водой.

И часто так говорил я себе в утешение: «Ну, подымайся, старое сердце! Несчастье не удалось тебе: наслаждайся этим — как своим счастьем!» —

Моя вторая человеческая мудрость в том, что больше щажу *я тщеславных*, чем гордых.

Не есть ли оскорбленное тщеславие мать всех трагедий? Но где оскорблена гордость, там вырастает еще нечто лучшее, чем гордость.

Чтобы приятно было смотреть на жизнь, надо, чтобы ее игра хорошо была сыграна: но для этого нужны хорошие актеры.

Хорошими актерами находил я всех тщеславных: они играют и хотят, чтобы все смотрели на них с удовольствием,— весь дух их в этом желании.

Они представляют себя, они выдумывают себя; вблизи их люблю я смотреть на жизнь,— это исцеляет от тоски.

Потому и щажу я тщеславных, что они врачи моей тоски и привязывают меня к человеку, как к зрелищу.

И потом: кто измерит в тщеславном всю глубину его скромности! Я люблю его, и мне его жаль из-за его скромности.

У вас хочет он научиться своей вере в себя; он питается вашими взглядами, он ест хвалу из ваших рук.

Даже вашей лжи верит он, если вы лжете во хвалу ему: ибо в глубине вздыхает его сердце: «Что я такое!»

И если истинная добродетель та, что не знает о себе самой: то и тщеславный не знает о своей скромности! —

Моя третья человеческая мудрость в том, что ваша боязливость не делает для меня противным вид *злых* людей.

Я счастлив при виде чудес, порождаемых горячим солнцем: при виде тигра, пальм и гремучих змей.

Так и среди людей есть прекрасные порождения горячего солнца, и у злых есть много чудесного.

И как мудрейшие среди вас не казались мне такими уж мудрыми, так нашел я и злобу людей лучшей, чем говорят о ней.

И часто спрашивал я, качая головой: «К чему еще гремите вы, гремучие змеи?»

Поистнне, даже для зла есть еще будущее! И самый горячнй юг не открыт еще для человека.

Сколь многое иазывают теперь худшей злобою, что имеет всего двеиадцать шагов в шириину и трн месяца в длииу! Но некогда прндут в мир гораздо большие драконы.

Чтобы сверхчеловек не был лишеи своего дракоиа, сверхдракоиа, достойиого его,— надо, чтобы горячее солице долго еще пылало над влажным девственным лесом!

Из вашнх днкнх кошек должны стать сперва тигры, нз ваших ядовитых жаб — крокодилы: ибо у доброго охотиика должиа быть и добрая охота!

И поистине, вы, добрые н праведные! В вас есть миого смешного, и особенно ваш страх перед тем, что до сих пор называлн «дьяволом»!

Так чужда ваша душа всего великого, что вам сверхчеловек был бы *страшен* в своей доброте!

И вы, мудрые н знающие, вы бежали бы от солнечного зноя той мудрости, в которой сверхчеловек купает с радостью свою иаготу.

Вы, высшне людн, каких встречал мой взор! в том сомиенне мое в вас и тайный смех мой: я угадываю: вы бы назвали моего сверхчеловека — дьяволом!

Ах, устал я от этих высших и лучших: с «высоты» их потяиуло меня выше, дальше от иих, к сверхчеловеку!

Ужас иапал иа меня, когда увндел я нагими этих лучшнх людей: тогда выросли у меня крылья, чтобы уиестись в далекое будущее.

В далекое будущее, в более южные страны, о какнх ие мечтал еще не однн художиик: туда, где боги стыдятся всяких одежд!

Но переодетымн хочу видеть *я вас*, о людн-братья н блнжние мон, н наряжеииымн, тщеславиыми н гордымн, как подобает «добрым и праведным».—

И переодетым хочу я сам сидеть среди вас,— чтобы *ие узнавать* вас и себя: в этом моя последняя человеческая мудрость.—

Так говорил Заратустра.

Тишина

Что случилось со мною, друзья мои? Вы видите меня расстроенным, изгнанным, повинующимся против воли, готовым уйти — ах, уйти подальше от *вас*!

Да, еще один раз должен Заратустра вернуться в свое уединение: но неохотно возвращается на этот раз медведь в свою берлогу!

Что случилось со мною? Кто обязывает меня к этому? — Ах, этого хочет моя гневная повелительница, она говорила ко мне; называл ли я вам когда-нибудь имя ее?

Вчера вечером говорила ко мне *тишина* моя: вот имя ужасной повелительницы моей.

И случилось это так,— ибо я должен сказать вам все, чтобы ваше сердце не ожесточилось против внезапно удаляющегося!

Знаете ли вы испуг засыпающего? —

До пальцев своих ног пугается он, ибо почва уходит из-под ног его, и начинается сон.

Это говорю я вам для сравнения. Вчера, в час глубочайшей тишины, почва ушла из-под моих ног: сон начался.

Стрелка подвинулась, часы моей жизни стали, чтобы отдохнуть,— никогда еще не было такой тишины вокруг меня: так что мое сердце испугалось.

Тогда заговорила беззвучно тишина ко мне: «*Ты знаешь это, Заратустра?*» —

И я вскрикнул от страха при этом шепоте, и кровь отхлынула от моего лица: но я молчал.

Тогда во второй раз сказала она мне беззвучно: «Ты знаешь это, Заратустра, но ты не говоришь об этом!» —

И я отвечал наконец, подобно упрямцу: «Да, я знаю это, но не хочу говорить об этом!»

Тогда опять сказала она мне беззвучно: «Ты не *хочешь*, Заратустра? Правда ли это? Не прячься в своем упорстве!» —

И я плакал и дрожал, как ребенок, и наконец сказал: «Ах, я хотел бы, но разве могу я! Избавь меня! Это свыше моих сил!»

Тогда опять сказала она мне беззвучно: «Что тебе за дело, что случится с тобой, Заратустра! Скажи свое слово и умри!» —

И я отвечал: «Ах, разве это *мое* слово? Кто я такой?

Я жду более достойного; я не достоин даже умереть за него».

Тогда опять сказала она мне беззвучно: «Что тебе за дело, что случится с тобой? Ты еще недостаточно кроток для меня. У кротости самая толстая шкура».—

И я отвечал: «Чего только не вынесла шкура моей кротости! У подножия своей высоты я живу: как высоки мои вершины? Никто еще не сказал мне этого. Но хорошо знаю я свои долины».

Тогда опять сказала она мне беззвучно: «О Заратустра, кто должен двигать горами, тот передвигает также долины и низменности».—

И я отвечал: «Еще мое слово не двигало горами, и что я говорил, не достигало людей. И хотя я шел к людям, но еще не дошел до них».

Тогда опять сказала она мне беззвучно: «Что знаешь ты *об этом*! Роса падает на траву, когда ночь всего безмолвнее».—

И я отвечал: «Они смеялись надо мной, когда нашел я свой собственный путь и пошел по нему; и поистине, дрожали тогда мои ноги.

И так говорили они мне: «Ты потерял путь, а теперь ты не умеешь даже ходить!»

Тогда опять сказала она мне беззвучно: «Что тебе до насмешек их! Ты тот, кто разучился повиноваться: теперь должен ты повелевать!

Разве ты не знаешь, кто наиболее нужен всем? Кто приказывает великое.

Совершить великое трудно: но еще труднее приказать великое.

Самое непростительное в тебе: у тебя есть власть, и ты не хочешь властвовать».—

И я отвечал: «Мне недостает голоса льва, чтобы приказывать».

Тогда, как легкий шепот, прозвучала тишина во мне: «Самые тихие слова — те, что приносят бурю. Мысли, приходящие, как голубь, управляют миром.

О Заратустра, ты должен идти как тень того, что должно наступить: так будешь ты приказывать и, приказывая, идти впереди».—

И я отвечал: «Мне мешает стыд».

Тогда опять сказала она мие беззвучно: «Ты должен еще стать ребенком, чтобы стыд не мешал тебе.

Гордыня юиошн тяготеет еще на тебе, поздно помолодел ты: но кто хочет превратнться в днтя, должен преодолеть еще свою юность».—

И я решался долго н дрожал. Наконец сказал я то же, что н в первый раз: «Я не хочу».

Тогда раздался смех вокруг меня. Ах, смех этот разрывал мне внутренностн н надрывал мое сердце!

И в последиий раз сказала оиа мне: «О Заратустра, плоды твон созрели, но ты не созрел для плодов своих!

Итак, тебе надо опять уедииться: ибо ты должен еще дозреть».—

И опять раздался смех, удалявшнйся от меня: тогда наступнла вокруг меия тншнна, двойная тишнна. Я же лежал на земле, н пот катился с моих члеиов.

— Теперь слышалн вы все, почему я должен вернуться в свое уеднneние. Ничего не утаил я от вас, мои друзья.

И все это слышали вы от меия, всегда самого молчаливого нз всех людей,— н я хочу остаться таким!

Ах, мон друзья! Я имел бы еще многое сказать вам, я имел бы еще многое дать вам! Почему же ие даю я? Разве я скуп? —

Но когда Заратустра пронзиес эти слова, им овладела велнкая скорбь н близость разлукн со своимн друзьямн, так что ои громко заплакал; н ннкто не мог утешить его! Ночью же ушел он один и оставил своих друзей.

Часть третья

Вы смотрите вверх, когда вы стремитесь подняться. А я смотрю вниз, ибо я поднялся.
Кто из вас может одновременно смеяться и быть высоко?
Кто поднимается на высочайшие горы, тот смеется над всякой трагедией сцены и жизни.
«Заратустра» Часть первая

Странник

Была полиочь, когда Заратустра пустился в свой путь через гориый хребет острова, чтобы раииим угром достичь противоположиого берега: ибо там хотел ои сесть иа корабль. Там была прекрасиая гаваиь, в которой даже чужие корабли охотио стаиовились иа якорь; оии брали с собою тех, кто с блажеииых островов хотел пуститься в море. Взбираясь иа гору, Заратустра вспомииал дорогою о своих миогочислеииых одииоких страиствоваиях с самой юиости и о том, как миого гор, хребтов и вершии пришлось ему переходить.

— Я, страииик и скиталец по горам,— говорил ои в своем сердце,— я ие люблю долии и, кажется, я ие могу долго сидеть спокойио.

И каковы бы ии были моя судьба и то, что придется мие пережить,— всегда будет в иих страиствоваиие и восхождеиие иа горы: в коице коицов, мы переживаем только самих себя.

Прошло то время, когда иа моем пути могли еще стаиовиться случайиости; и что м о г л о б ы теперь еще случиться со мной, что бы ие было моей собствеииостью?

Мое Само только возвращается ко мие, оио иакоиец приходит домой; возвращаются и все части его, бывшие долго иа чужбиие и рассеяииые среди всех вещей и случайностей.

И еще одио зиаю я: я стою теперь перед последией

вершииой своей н перед тем, что давио предиазичачеио мие. Ах, я должеи вступить иа самый трудиый путь свой! Ах, я начал самое одииокое странствоваиие свое!

Но тому, кто подобеи мие, не избежать этого часа — часа, который говорит ему: «Только теперь ты ндешь своим путем величйя! Вершина и пропасть — слнлись теперь воедиио!

Ты ндешь свонм путем велнчия: что доселе называлось твоей величайшей опасностью, теперь стало твоим последним убежищем!

Ты ндешь своим путем величия: теперь лучшей поддержкой тебе должио быть сознание, что позади тебя нет больше пути!

Ты идешь своим путем велнчия: здесь инкто не может красться по твоим следам! Твон собственные шагн стнрали путь за тобою, н над ним напнсано: «Невозможиость».

И еслн у тебя ие будет больше нн одиой лестиицы, ты должен будешь научнться взбираться иа свою собствеииую голову: как же нначе хотел бы ты подняться выше?

На свою собственную голову н выше через свое собственное сердце! Теперь все самое нежиое в тебе должно стать самым суровым.

Кто всегда очеиь берег себя, под конец хворает от своей чрезмерной осторожности. Хвала всему, что закаляет! Я ие хвалю страиы, где текут — масло и мед!

Чтобы вндеть м н о г о е, надо иаучнться не смотреть на с е б я: — эта суровость необходима каждому, кто восходит на горы.

И еслн кто нщет познания иазойливым оком, то как увидит ои в вещах больше, чем виешние прнчины их?

Но ты, о Заратустра, ты хотел видеть основу н смысл всех вещей: н потому должен ты подииматься над самим собою, все выше н выше, пока даже твон звезды не окажутся под тобой!»

Да! Смотреть вннз на самого себя и даже на свон звезды: лишь это иазвал бы я своей в е р ш и и о й, лишь это осталось для меия моей п о с л е д н е й вершииой! —

Так говорил Заратустра с собою, подиимаясь иа гору и утешая свое сердце суровыми изречеииями: ибо сердце его сокрушалось как никогда еще прежде. И когда ои достиг вершины гориого хребта, он увидел другое море,

расстилавшееся перед ним: и он остановился и долго молчал. А ночь на этой высоте была холодная и ясная, и усеяна звездами.

— Я узнаю свою судьбу,— сказал он наконец с грустью.— Ну что ж! Я готов. Началось мое последнее уединение.

О, это черное, печальное море подо мною! О, это тяжелое, ночное недовольство! О, судьба и море! К вам должен я теперь спуститься.

Я стою перед самой высокой своею горой и перед самым долгим своим странствованием: поэтому я должен спуститься ниже, чем когда-либо поднимался я:

— глубже погрузиться в страдание, чем когда-либо поднимался я, до самой черной волны его! Так хочет судьба моя: ну что ж! Я готов.

«Откуда берутся высочайшие горы?» — так спрашивал я однажды. Тогда научился я, что выходят они из моря.

Об этом свидетельствуют недра их и склоны вершин их. Из самого низкого должно вознестись самое высокое к своей вершине.—

Так говорил Заратустра на вершине горы, где было холодно; но когда он достиг близости моря и наконец стоял один среди утесов, усталость от пути и тоска овладели им еще сильнее, чем прежде.

— Теперь еще все спит,— говорил он.— Спит также и море. Чуждое, сонное, смотрит его око на меня.

Но его теплое дыхание чувствуя я. И я чувствую также, что оно грезит. В грезах мечется оно на жестких подушках.

Чу! Как оно стонет от тяжких воспоминаний! Или от недобрых предчувствий?

Ах, я разделяю твою печаль, темное чудовище, и из-за тебя досадую я на себя самого.

Ах, почему нет в моей руке достаточной силы! Поистине, охотно избавил бы я тебя от тяжелых грез! —

И пока Заратустра так говорил, смеялся он с тоскою и горечью над самим собой.

— Как! Заратустра! — сказал он.— Ты еще думаешь утешать море?

Ах ты, любвеобильный глупец Заратустра, безмерно блаженный в своем доверии! Но таким был ты всегда: всегда подходил ты доверчиво ко всему ужасному.

Ты хотел приласкать всех чудовищ. Теплое дыхаиие, иемиого мягкой шерсти иа лапах: — и ты уже готов был полюбить и привлечь к себе.

Любовь есть опасность для самого одинокого; любовь ко всему, если только оно живое! Поистине, достойиы смеха мое безумие и моя скромиость в любви! —

Так говорил Заратустра и опять засмеялся: но тут он вспомиил о своих покинутых друзьях,— и, как бы провинившись перед ними своими мыслями, он рассердился на себя за свои мысли. И вскоре смеющийся заплакал: — от гнева и тоски горько заплакал Заратустра.

О призраке и загадке

1

Когда среди моряков распространился слух, что Заратустра находится иа корабле,— ибо одновременно с ним сел иа корабль человек, прибывший с блаженных островов,— всеми овладели великое любопытство и ожидаиие. Но Заратустра молчал два дня и был холоден и глух от печали, так что ие отвечал ни на взгляды, ни на вопросы. К вечеру же второго дня отверз он свои уши, хотя и продолжал молчать: ибо много иеобыкиовеииого и опасиого можио было услышать иа этом корабле, пришедшем издалека и собиравшемся плыть еще далее. Заратустра же любил всех, кто предприиимает дальние страиствоваиия и ие может жить без опасиости. И вот, пока слушал он других, развязался его собствеииый язык, и лед его сердца растаял: — тогда начал он так говорить:

— Вам, смелым искателям, испытателям и всем, кто когда-либо плавал под коварными парусами по страшным морям,—

— вам, опьяиеиным загадками, любителям сумерек, чья душа привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине:

— ибо вы не хотите нащупывать нить трусливой рукой, и где можете вы угадать, там презираете вы исследоваине,—

— вам одиим расскажу я загадку, которую видел

я,— призрак, представший пред самым одиноким.—

Мрачный шел я недавно среди мертвенно-бледных сумерек,— мрачный и суровый, со стиснутыми губами. Уже не одно солнце закатилось для меня.

Тропинка, капризно извивавшаяся между камнями, злобная, одинокая, не желавшая ни травы, ни кустарника: эта горная тропинка хрустела под моей дерзновенной ногой.

Безмолвно ступая среди насмешливого грохота камней, стирая в прах камень, о который спотыкалась моя нога: так медленно взбирался я вверх.

Вверх: наперекор духу, увлекавшему меня вниз, в пропасть, духу тяжести, моему демону и смертельному врагу.

Вверх: — хотя он сидел на мне, полукарлик, полукрот; хромой, делая хромым и меня; вливая свинец в мои уши, свинцовые мысли в мой мозг.

«О Заратустра,— насмешливо отчеканил он,— ты, камень мудрости! Как высоко вознесся ты, но каждый брошенный камень должен — упасть!

О Заратустра, ты, камень мудрости, ты, диск блестящий, ты, сокрушитель звезд! Как высоко вознесся ты,— но каждый брошенный камень должен — упасть!

Тебе самому суждено побить себя камнями: о Заратустра, как далеко бросил ты камень,— но на т е б я упадет он!»

Карлик умолк; и это длилось долго. Его молчание давило меня; и поистине, вдвоем человек бывает более одиноким, чем наедине с собою!

Я поднимался и поднимался, я грезил, я думал,— но все давило меня. Я походил на больного, которого усыпляет тяжесть страданий его, но которого снова будит от сна еще более тяжелый сон.—

Но есть во мне нечто, что называю я мужеством: оно до сих пор убивало во мне уныние. Это мужество заставило меня наконец остановиться и сказать: «Карлик! Ты! Или я!» —

Мужество — лучшее смертоносное оружие,— мужество н а п а д а ю щ е е: ибо в каждом нападении есть победная музыка.

Человек же самое мужественное животное: этим победил он всех животных. Победной музыкой преодолел он

всякое страдание; а человеческое страдание — самое глубокое страдание.

Мужество побеждает даже головокружение на краю пропасти: а где же человек не стоял бы на краю пропасти! Разве смотреть в себя самого — не значит смотреть в пропасть?

Мужество — лучшее смертоносное оружие: мужество убивает даже сострадание. Сострадание же есть наиболее глубокая пропасть: ибо насколько глубоко человек заглядывает в жизнь, настолько глубоко заглядывает он и в страдание.

Мужество — лучшее смертоносное оружие,— мужество нападающее: оно убивает даже смерть, ибо оно говорит: «Так *это* была жизнь? Ну что ж! Еще раз!»

Но в этих словах громко звучит победная музыка. Имеющий уши — да слышит.—

2

«Стой, карлик! — сказал я.— Я! Или ты! Но я сильнейший из нас двоих: — ты не знаешь самой глубокой мысли моей! *Ее* бремени — ты не мог бы нести!» —

Тут случилось то, что облегчило меня: назойливый карлик спрыгнул с моих плеч! Съежившись, он сел на камень напротив меня. Путь, где мы остановились, лежал чрез ворота.

«Взгляни на эти ворота, карлик! — продолжал я.— У них два лица. Две дороги сходятся тут: по ним никто еще не проходил до конца.

Этот длинный путь позади: он тянется целую вечность. А этот длинный путь впереди — другая вечность.

Эти пути противоречат один другому, они сталкиваются: — и именно здесь, у этих ворот, они сходятся вместе. Название ворот написано вверху: «Мгновенье».

Но если кто-нибудь по ним пошел бы дальше — и все дальше и дальше: то думаешь ли ты, карлик, что эти два пути себе противоречили бы вечно?» —

«Все прямое лжет,— презрительно пробормотал карлик.— Всякая истина крива, само время есть круг.»

«Дух тяжести,— проговорил я с гневом,— не притворяйся, что это так легко! Или я оставлю тебя здесь, где ты сидишь, хромой уродец,— а я ведь нес тебя *наверх*!

Взгляни,— продолжал я,— на это Мгновенье! От этих

врат Мгновенья уходит длинный, вечный путь *назад*: позади нас лежит вечность.

Не должно ли было все, что *может* идти, уже однажды пройти этот путь? Не должно ли было все, что *может* случиться, уже однажды случиться, сделаться, пройти?

И если все уже было: что думаешь ты, карлик, об этом Мгновеньи? Не должны ли были и эти ворота уже — однажды быть?

И не связаны ли все вещи так прочно, что это Мгновенье влечет за собою *все* грядущее? *Следовательно* — еще и само себя?

Ибо все, что *может* идти: не *должно* ли оно еще раз пройти — этот длинный путь *вперед*! —

И этот медлительный паук, ползущий при лунном свете, и этот самый лунный свет, и я, и ты, что шепчемся в воротах, шепчемся о вечных вещах,— разве все мы уже не существовали?

— и не должны ли мы вернуться и пройти этот другой путь впереди нас, этот длинный плачевный путь,— не должны ли мы вечно возвращаться?» —

Так говорил я, и говорил все тише: ибо я страшился своей собственной мысли и сокровенного значения ее. И вдруг вблизи услышал я *вой* собаки.

Не слышал ли я уже когда-то этот вой собаки? Моя мысль устремилась в прошлое. Да! когда я был ребенком, в самом раннем детстве:

— тогда слышал я собаку, которая так выла. И я видел ее, ощетинившуюся, с мордой, поднятой кверху, дрожащую, в тот тихий полуночный час, когда и собаки верят в призраков:

— и мне было жаль ее. Над домом только что взошел в мертвом молчании полный месяц; он остановился круглым огненным шаром над плоской крышею, как вор над чужой собственностью: —

тогда собаку обуял страх: ибо собаки верят в воров и призраков. И когда я опять услышал этот вой, я вновь почувствовал жалость.

Куда же девался карлик? И ворота? И паук? И наши перешептывания? Было ли это во сне? Или наяву? Я увидел вдруг, что стою среди диких скал, один, облитый мертвым лунным светом.

Но здесь же лежал человек! И собака, с

ощетиинившейся шерстью, прыгала н визжала,— н увндев, что я подошел,— она сиова завыла, оиа з а к р и ч а л а : — слышал лн я когда-ннбудь, чтобы собака кричала так о помощн?

И понстнне, иичего подобного тому, что увидел я, инкогда я не вндел. Я увндел молодого пастуха, задыхавшегося, корчившегося, с нскаженным лицом; изо рта у него висела чериая, тяжелая змея.

Вндел лн я когда-нибудь столько отвращения н смертельного ужаса на одном лице? Должно быть, он спал? В это время змея заползла ему в глотку н впнлась в нее.

Моя рука рванула змею, еще рванула: — напрасно! она не вырвала змею из глоткн. Тогда из уст моих раздался крнк: «Откуси! Откусн!

Откусн ей голову!» — так крнчал нз меия мой ужас, моя неиависть, мое отвращенне, моя жалость, все доброе н все злое во мне слилнсь в однн общнй крик.—

Вы, смельчакн, окружающие меня! Вы, нскателн, нспытателн н все, кто плавает под коварнымн парусамн по иеисследованным морям! Вы, любнтелн загадок!

Разгадайте же мне загадку, которую я вндел тогда, растолкуйте же мне призрак, представший пред самым однноким!

Ибо это был прнзрак н предвидение: — ч т о видел я тогда в снмволе? И к т о же он, кто некогда еще должен прндтн?

К т о этот пастух, которому заползла в глотку змея? К т о этот человек, которому все самое тяжелое, самое черное заползет в глотку? —

И пастух откусил, как советовал ему крик мой, откусил голову змен! Далеко отплюиул он ее: — и вскочил иа ноги.—

Нн пастуха, нн человека более,— предо миой стоял преображеииый, просветленный, который с м е я л с я! Ннкогда еще на земле не смеялся человек, как о н смеялся!

О братья мои, я слышал смех, который ие был смехом человека,— и теперь пожирает меня жажда, желание, которое никогда не стнхнет во мие.

Желаине этого смеха пожирает меня: о, как вынесу я еще жизнь? И как вынес бы я теперь смерть! —

Так говорнл Заратустра.

О блаженстве против воли

С такими загадками и с горечью в сердце плыл Заратустра по морю. Но на четвертый день странствования, когда он уже был далеко от блажеииых островов и от своих друзей, ои превозмог всю свою печаль: — победоиосио, твердой ногою стоял ои сиова на пути своей судьбы. И так говорил тогда Заратустра к своей ликующей совести:

— Опять я одии и хочу им быть, одии с ясиым иебом и свободиым морем; и сиова послеполудеииое время вокруг меня.

В послеполудеииое время обрел я иекогда впервые своих друзей, и в послеполуденное время вторично обрел я их: — в тот час, когда становится более спокойиым всякий свет.

Ибо частички счастья, блуждающие еще между иебом и землей, ищут пристаиища себе в светлой душе: теперь от *счастья* стал более спокойиым всякий свет.

О послеполудеиное время моей жизни! Однажды спустилось также и *мое* счастье в долину искать себе пристаница: тогда обрело оно эти открытые, гостеприимиые души.

О послеполуденное время моей жизии! Чего ие отдал бы я, чтобы иметь одио: живое насаждение моих мыслей и утренний рассвет моей высшей надежды!

Последователей искал некогда созидающий и детей *своей* надежды: и вот оказалось, что ои ие может найти их ииаче, как сам впервые создав их.

Так и я нахожусь среди своего дела, идя к своим детям и возвращаясь от них: ради своих детей должеи Заратустра довершить самого себя.

Ибо от всего сердца любят только свое дитя и свое дело; и где есть великая любовь к самому себе, там служит оиа призиаком бремениости: так замечал я.

Еще цветут мои дети своей первой весною, стоя близко друг к другу, вместе колеблемые ветром деревья моего сада и лучшей земли.

И поистиие! Где такие деревья стоят близко друг к другу, там *иаходятся* блаженные острова!

Но когда-нибудь я вырою их и рассажу — каждое отдельно: чтобы научилось оно одииочеству, упорству и осторожности.

Суковатым н изогиутым, с гибкой твердостью должно стоять оио у моря, живым маяком иепобедимой жизни.

Там, где бурн низвергаются в море и уста гор пьют воду, там должно стоять каждое из инх, дием и иочью, иа страже, чтобы нспытать н познать с е б я.

Испытаио и позиаио должио быть оио, чтобы зиать, моего ли оио рода н пронсхождеиия,— повелевает ли оио упориой волей, молчаливо ли, даже когда говорит, и делает ли вид, что б е р е т, отдавая:

— чтобы стать иекогда моим последователем и созидающим н праздиующим вместе с Заратустрой: — такнм, что пишет мою волю на монх скрнжалях: для более полиого довершения всех вещей.

И ради иего и подобиых ему должен я довершить самого с е б я: поэтому бегу я теперь своего счастья и отдаю себя в жертву всем иесчастьям — чтобы испытать и позиать с е б я в последиий раз.

И поистиие, иастало время мие уходить; и теиь страииика, и поздияя пора, и тишииа — все говорило мие: «Давно пора!»

Ветер проник в замочиую скважиину и сказал: «Идем!» Дверь потихоиьку распахиулась и сказала: «Уходи!»

Но я лежал, прнкованиый любовью к своим детям: желаиие любви иаложило иа меия эти узы, так что я сделался жертвою своих детей, и нз-за ннх потерял себя.

Желать — это уже значнт для меия: потерять себя. У м е и я е с т ь в ы, м о и д е т и! В этом обладанин все должно быть увереииостью и иичто не должно быть желаиием.

Но солице моей любвн пылало надо мной, в собственном соку варился Заратустра,— тогда пронеслись теиь и сомнение надо мной.

Я уже жаждал мороза н знмы: «О, еслн бы мороз н знма заставили меня сиова дрожать от стужи и щелкать зубами!» — вздыхал я: — тогда подняллсь от меия ледяиые тумаиы.

Мое прошлое вскрыло свои могилы, проснулось много страдання, заживо погребенного: — оио лишь дремало, сокрытое в саваие.

Так все крнчало мне знаками: «Пора!» Но я — не слушал: пока накоиец не зашевелилась моя бездна н моя мысль не укусила меия.

О бездонная мысль, ты — м о я мысль! Когда же найду я силу слышать, как ты роешься, и не дрожать более?

До самой гортани стучит мое сердце, когда я слышу, как ты роешься! Даже твое молчание душит меня, ты, молчаливая, как бездна!

Никогда еще не решался я вызвать тебя н а р у ж у: довольно того уже, что носил я тебя — с собою! Еще не был я достаточно силен для последней смелости льва и дерзости его.

Твоя тяжесть всегда была для меня уже достаточно ужасной: но некогда я должен еще найти силу и голос льва, который вызовет тебя наружу!

И когда я преодолею это в себе, тогда преодолею я еще и нечто большее; и п о б е д а должна быть печатью моего довершения! —

А до тех пор я блуждаю еще по неведомым морям; случай льстит мне и ласкает меня; я смотрю вперед и назад — и не вижу конца.

Еще не наступил час моей последней борьбы,— или он только настает? Поистине, с коварной прелестью смотрят на меня кругом море и жизнь!

О послеполуденное время моей жизни! О счастье, предвестник вечера! О пристань в открытом море! О мир в неизвестности! Как не доверяю я вам всем!

Поистине, я не доверяю вашей коварной прелести! Я похож на влюбленного, который не доверяет слишком бархатной улыбке.

Как он, ревнивец, отталкивает от себя возлюбленную, оставаясь нежным даже в своей суровости,— так и я отталкиваю от себя этот блаженный час.

Прочь от меня, блаженный час! С тобой пришло ко мне блаженство против воли! Готовый к своему самому глубокому страданию, стою я здесь: не вовремя пришел ты!

Прочь от меня, блаженный час! Лучше ищи себе пристанища там — у моих детей! Спеши! и благослови их еще до вечера м о и м счастьем!

Уже наступает вечер: солнце садится. Удалилось мое счастье!—

Так говорил Заратустра. И он ждал своего несчастья всю ночь: но ждал напрасно. Ночь оставалась ясной и тихой, и счастье само подступало к нему все ближе и ближе. А к утру засмеялся Заратустра в своем сердце и

сказал насмешливо: «Счастье бегает за мной. Это потому, что я не бегаю за женщинами. А счастье — женщина».

Перед восходом солнца

О, небо надо мной, чистое, глубокое! Бездна света! Созерцая тебя, я трепещу от божественных желаний.

Броситься в твою высоту — в этом моя глубина! Укрыться в твоей чистоте — в этом моя невинность!

Бога скрывает красота его: *так* и ты скрываешь свои звезды. Ты безмолвствуешь: *так* вещаешь ты мне свою мудрость.

Безмолвно над бушующим морем поднялось ты сегодня, твоя любовь и твоя стыдливость открываются моей будущей душе.

В том, что пришло ты ко мне, прекрасное, скрытое в своей красоте, что безмолвно говоришь ты мне, открываясь в своей мудрости:

о, неужели не угадал бы я всей стыдливости твоей души! *Перед* восходом солнца пришло ты ко мне, самому одинокому.

Мы друзья с тобою издавна: у нас печаль, и страх, и существо общие; даже солнце у нас общее.

Мы не говорим друг с другом, ибо знаем слишком многое: — мы безмолвствуем, мы улыбками сообщаем другу другу наше знание.

Не свет ли ты моего пламени? Не живет ли в тебе душа, родственная моему разуму?

Вместе учились мы всему; вместе учились мы подниматься над собою к себе самим и безоблачно улыбаться: — безоблачно улыбаться вниз, светлыми очами и из огромной дали, в то время как под нами струятся, как дождь, насилие, и цель, и вина.

И если блуждал я один: *чего* алкала душа моя по ночам и на тропинках заблуждения? И если поднимался я на горы, *кого* как не тебя искал я на горах?

И все мои странствования и восхождения на горы: разве не были они лишь необходимостью, чтобы помочь неумелому: — *лететь* только хочет вся воля моя, лететь до *тебя*!

И кого ненавидел я более, как не ползущие облака и все омрачающее тебя? И даже свою собственную ненависть ненавидел я, потому что она пятнала тебя!

Ползущие облака ненавижу я, этих крадущихся, хищных кошек: они отнимают у тебя и у меня, что́ есть у нас общего,— огромное, безграничное утверждение всех вещей.

Мы ненавидим ползущие облака, этих посредников и смесителей: это существа разнородные и неопределенные, которые не научились ни благословлять, ни проклинать от всего сердца.

Лучше буду я сидеть в бочке под закрытым небом или в бездне без неба, чем видеть тебя, ясное небо, омраченным ползущими облаками!

И часто хотелось мне их соединить зубчатыми золотыми проволоками молний, чтобы мог я, подобно грому, барабанить по вздутому животу их:

— гневно барабанить, ибо они отнимают у меня твое утверждение, ты, небо чистое надо мною! светлое! ты, бездна света! — ибо они отнимают у тебя м о е утверждение.

Ибо легче мне переносить шум, и гром, и проклятия непогоды, чем это осторожное, нерешительное кошачье спокойствие; и даже среди людей ненавижу я всего больше всех тихонько ступающих, половинчатых и неопределенных, нерешительных, медлительных, как ползущие облака.

И «кто не может благословлять, должен н а у ч и т ь с я проклинать!» — это светлое наставление упало мне с ясного неба, эта звезда блестит даже в темные ночи на моем небе.

Но я благословляю и утверждаю, если только ты окружаешь меня, ты, чистое, ясное, ты, бездна света! — во все бездны несу я тогда свое благословляющее утверждение.

Я стал благословляющим и утверждающим: я долго боролся и был борцом, чтобы иметь наконец руки свободными для благословления.

И вот мое благословление: над каждою вещью быть ее собственным небом, ее круглым куполом, ее лазурным колоколом и вечным спокойствием: и блажен, кто так благословляет!

Ибо все вещи крещены у источника вечности и по ту сторону добра и зла; а добро и зло суть только бегущие тени, влажная скорбь и ползущие облака.

Поистине, это благословление, а не хула, когда я учу:

«Над всеми вещами стоит небо-случай, небо-невинность, небо-дерзновение».

«Случай» — это самая древняя аристократия мира, ее возвратил я всем вещам, я избавил их от подчинения цели.

Эту свободу и это небо-спокойствие поставил я, как лазурный колокол, над всеми вещами, когда я учил, что над ними и через них никакая «вечная воля» — не хочет.

Это дерзновение и это безумие поставил я на место той воли, когда я учил: «Всюду одно невозможно — разумный смысл!»

Хотя н е м н о г о разума, крупицы мудрости рассеяны от звезды до звезды,— эта закваска примешана ко всем вещам: из-за безумия примешана мудрость ко всем вещам!

Немного мудрости еще возможно; но эту блаженную уверенность находил я во всех вещах: они предпочитают танцевать — на ногах случая.

О, небо надо мною, ты, чистое, высокое! Теперь для меня в том твоя чистота, что нет вечного паука-разума и паутины его:

— что ты место танцев для божественных случаев, что ты божественный стол для божественных игральных костей и играющих в них! —

Но ты краснеешь? Не сказал ли я то, чего нельзя высказывать? Не произнес ли я хулы, желая благословить тебя?

Или покраснело ты от стыда, что находимся мы вдвоем? — Не приказываешь ли ты мне удалиться и замолчать, ибо теперь — д е н ь приближается?

Мир — глубина, глубь эта дню едва видна. Не все дерзает говорить перед лицом дня. Но день приближается: и мы должны теперь расстаться!

О, небо надо мною, ты, стыдливое, пылающее! О ты, мое счастье перед восходом солнца! День приближается: и мы должны теперь расстаться! —

Так говорил Заратустра.

Об умаляющей добродетели

1

Спустившись на сушу, Заратустра не направнлся прямо на свою гору н в свою пещеру, а прошелся по разным дорогам, всюду задавая вопросы н осведомляясь о многом, так что шутя он говорил о себе самом: «Вот река, многнми извивами возвращающаяся к истоку своему!» Ибо он хотел узнать, что случнлось с человеком в отсутствне его: стал ли он более велнкнм нлн меньше прежнего. И однажды увидел он ряд новых домов; дивился он этому и сказал:

«Что означают дома эти? Понстине, невеликая душа построила нх по своему подобию!

Не глупый ли ребенок вынул их нз своего ящика с игрушками? Пусть бы другой ребенок опять уложил нх в свой ящик!

А эти комнаты и каморки: могут ли людн выходнть из них и входить туда? Они кажутся мне сделаннымн для шелковичных червей нлн для кошек-лакомок, которые позволяют также лакомиться и собою!»

И Заратустра остановнлся н задумался. Наконец он сказал с грустью: «*Все* измельчало!

Повсюду внжу я ннзкне ворота: кто подобен мне, может еще пройтн в них, но — он должен нагнуться!

О, когда же вернусь я на мою роднну, где я не должен более нагибаться — не должен более нагнбаться перед *маленькнмн*!» — И Заратустра вздохнул н устремил взор свой вдаль.—

Но в тот же день сказал он речь свою об умаляющей добродетелн.

2

Я хожу среди этнх людей н дивлюсь: они не прощают мне, что я не завидую добродетелям их.

Они огрызаются на меня, нбо я говорю нм: маленькнм людям нужны маленькие добродетели,— ибо трудно мне согласнться, чтобы маленькие люди былн нужны!

Я похож здесь на петуха в чужом птнчнике, которого клюют даже куры; но за это не сержусь я на этнх кур.

Я вежлив с ними, как со всякой маленькой непрнятно-

стью; быть колючим по отиошеиию ко всему малеиькому кажется мие мудростью, достойной ежа.

Все оии говорят обо мне, сидя вечером у очага,— оии говорят обо мие, ио ннкто ие думает — обо мие!

Вот новая тишииа, которой я научился: их шум вокруг меня иакидывает покрывало на мои мысли.

Оии шумят между собой: «Что иесет нам эта темная туча? берегитесь, чтобы не прииесла она иам заразы!»

И иедавио одиа женщииа отдериула своего ребенка, тяиувшегося ко мие: «Уиесите детей! — кричала она.— Такие глаза опаляют детские души».

Оин кашляют, когда я говорю: онн думают, что кашель — возражение протнв могучнх ветров,— они не догадываются о шуме моего счастья!

«У нас еще иет времени для Заратустры» — так возражают онн, но что толку во временн, у которого «иет временн» для Заратустры?

И даже когда они восхваляют меня: разве мог бы заснуть я на славе их? Пояс нз терннй — хвала нх для меня: он зуднт еще, даже когда я снимаю его.

И вот чему научился я у них: тот, кто хвалит, делает вид, будто воздает он должное, но на самом деле он хочет получнть еще больше!

Спросите у моей ногн, нравнтся лн ей нх манера хвалить н прнвлекать к себе! Поистиие, под такой такт и при таком *тик-так* не хочет она нн танцевать, нн оставаться в покое.

Оии пробуют хвалнть мне малеиькую добродетель н привлечь меня к ней; в *тик-так* малеиького счастья хотелн бы оии увлечь мою ногу.

Я хожу среди этих людей н дивлюсь: оин н з м е л ь ч а л и и все еще мельчают:— и д е л а е т э т о н х у ч е н н е о с ч а с т ь е и д о б р о д е т е л н.

Оии ведь и в добродетели скромны,— ибо оии нщут довольства. А с довольством может мирнться только скромиая добродетель.

Правда, н они также учатся шагать по-своему, н шагать вперед: но я иазываю это к о в ы л я н и е м.— И этнм мешают оии всякому, кто спешит.

И миогие из них идут вперед н смотрят прн этом назад, вытяиув шею: я охотно толкаю их.

Ноги и глаза не должиы ии лгать, ии нзобличать друг

друга во лжи. Но много лжи у маленьких людей.

Некоторые из них обнаруживают свою волю, но большинство лишь служат чужой воле. Некоторые из них искренни, но большинство плохие актеры.

Есть между ними актеры бессознательные и актеры против воли,— искренние всегда редки, особенно искренние актеры.

Качества мужа здесь редки: поэтому их женщины становятся мужчинами. Ибо только тот, кто достаточно мужчина, *освободит в женщине — женщину*.

И вот худшее лицемерие, что встретил я у них: даже те, кто повелевают, подделываются под добродетели тех, кто служат им.

«Я служу, ты служишь, мы служим» — так молится здесь лицемерие господствующих,— но горе! если первый господин есть только первый слуга!

Ах, даже в их лицемерие залетело любопытство моего взора; и я хорошо угадал их счастье мухи и их жужжание на освещенном солнцем оконном стекле.

Сколько вижу я доброты, столько слабости. Сколько справедливости и сострадания, столько слабости.

Все они круглы, аккуратны и благосклонны друг к другу, как круглы, аккуратны и благосклонны песчинки одна к другой.

Сколько вижу я доброты, столько слабости. Сколько справедливости и сострадания, столько слабости.
косятся на новое маленькое счастье.

В сущности, в своей простоте они желают лишь одного: чтобы никто не причинял им страдания. Поэтому они предупредительны к каждому и делают ему добро.

Но это *трусость*: хотя бы и называлась она «добродетелью».—

И когда этим маленьким людям случается говорить грубо: я слышу в голосе их лишь хриплость,— ибо всякое дуновение ветра делает их хриплыми.

Хитры они, и у добродетелей их хитрые пальцы. Но им недостает кулаков, их пальцы не умеют сжиматься в кулак.

Добродетелью считают они все, что делает скромным и ручным: так превратили они волка в собаку и самого человека в лучшее домашнее животное человека.

«Мы сели между двух стульев,— так говорит мне улыб-

ка их,— одинаково далеко от умирающих гладиаторов и довольных свиней».

Но это — п о с р е д с т в е н н о с т ь: хотя бы и иазывалась она умеренностью.—

3

Я хожу среди этих людей и роияю миого слов: но оии не умеют ии брать, ии хранить.

Они удивляются, что я ие пришел обличать их похоть и пороки; но поистиие, я не пришел также предостерегать от кармаииых воров!

Оии удивляются, что я не желаю оттачивать и обострять их мудрость: как будто у иих еще не довольио тонких мудрецов, чей голос скрипит, как грифель по аспидиой доске!

И когда я кричу: «Кляиите всех трусливых демоиов в вас, которые желали бы визжать, крестом складывать руки и поклоняться!», они восклицают: «Заратустра — иечестивец».

И особеиио кричат об этом их проповедиики смирения: — да, имеино им люблю я кричать в самое ухо: «Да! Я — Заратустра, иечестивец!»

Проповедники смирения! Всюду, где есть слабость, болезнь и гниение, они ползают, как вши; и только мое отвращение мешает мне давить их.

Ну что ж! Вот моя проповедь для их ушей: я — Заратустра, нечестивец, который говорит: «Кто нечестивее меня, чтобы я мог радоваться его иаставлеиию?»

Я — Заратустра, иечестивец: где иайду я подобиых себе? Подобиы мне все, кто отдают себя самих своей воле и сбрасывают с себя всякое смиреиие.

Я — Заратустра, нечестивец: я варю каждый случай в своем котле. И только когда ои там вполие сварится, я приветствую его как мою пищу.

И поистине, миогие случаи повелительио приближались ко мне: но еще более повелительно говорила к иим моя в о л я,— и тотчас стояли они на колеиях, умоляя —

— умоляя, чтобы дал я им пристаиище и оказал им сердечный прием, и льстиво уговаривая: «Видишь, о Заратустра, так только друг приближается к другу!» —

Но к чему говорю я там, где иет ии у кого для меия ушей! И так стаиу я взывать ко всем ветрам:

Вы все мельчаете, вы, маленькие люди! Вы распадаетесь на крошки, вы, любители довольства! Вы погибнете еще —

— от множества ваших маленьких добродетелей, от множества ваших мелких упущений, от вашего постоянного маленького смирения!

Вы слишком щадите, слишком уступаете: такова почва, на которой произрастаете вы! Но чтобы дерево стало *большим*, для этого должно оно обвить крепкие скалы крепкими корнями!

Даже то, чего вы не исполняете, помогает ткать ткань всего человеческого будущего; даже ваше ничто есть паутина и паук, живущий кровью будущего.

И когда вы берете, вы как бы крадете, вы, маленькие добродетельные люди; но и среди мошенников говорит *честь*: «Надо красть только там, где нельзя грабить».

«Дается» — таково учение смирения. Но я говорю вам, вы, любители довольства: *берется* и будет все больше браться *от вас*!

Ах, если бы вы сбросили с себя всякое *полухотение* и решительно отдались и лени, и делу!

Ах, если бы вы поняли мои слова: «Делайте, пожалуй, все, что вы хотите,— но прежде всего будьте такими, которые *могут хотеть*!

Любите, пожалуй, своего ближнего, как себя,— но прежде всего будьте такими, которые *любят самих себя* —

— любят великой любовью, любят великим презрением!» — Так говорит Заратустра, нечестивец.—

Но к чему говорю я там, где нет ни у кого для меня ушей! Здесь еще целым часом рано для меня.

Свой собственный предвестник я среди этих людей, свой собственный крик петуха среди темных улиц.

Но приближается их час! Приближается также и мой! Час от часу становятся они меньше, беднее, бесплоднее,— бедная трава! бедная земля!

И скоро будут они стоять, подобно сухой степной траве и, поистине, усталые от себя самих — и томимые скорее жаждой *огня*, чем воды!

О, благословенный час молнии! О, тайна перед полуднем! — в блуждающие огни некогда превращу я их и в провозвестников огненными языками: —

— возвещать будут они некогда огненными языками: «Он приближается, он близок, *великий полдень*!» —

Так говорил Заратустра.

На священной горе

Зима, злая гостья, сидит у меня в доме; посинели мои руки от ее дружеских рукопожатий.

Я уважаю ее, эту злую гостью, но охотно оставляю ее сидеть одну. Я люблю убегать от нее; и если бежишь *хорошо*, то и убегаешь от нее!

С теплыми ногами, с теплыми мыслями бегу я туда, где стихает ветер,— в освещенный солнцем уголок моей священной горы.

Там смеюсь я над моей суровою гостьей, и я люблю ее за то, что она ловит у меня в доме мух и заставляет стихать разный мелкий шум.

Ибо она не любит, если хочет петь комар или даже целых два; она делает улицу пустынной, так что лунный свет боится проникать туда ночью.

Она суровый гость,— но я чту ее и не молюсь, как изнеженные люди, пузатому кумиру огня.

Лучше немного пощелкать зубами, чем молиться кумирам!— так хочет склад мой. И особенно ненавижу я всех кумиров огня, пылких, дымящихся и удушливых.

Кого я люблю, того люблю я больше зимою, чем летом; лучше и смелее смеюсь я над моими врагами, с тех пор как зима сидит у меня в доме.

Поистине, смело даже тогда, когда я *заползаю* в постель: — тогда смеется и шалит мое спрятавшееся счастье, и мои обманчивые сны начинают смеяться.

Разве я — ползаю? Никогда в жизни не ползал я перед сильными; и если лгал я когда-нибудь, то лгал из любви. Поэтому весел я и на зимней постели.

Скромная постель греет меня больше, чем роскошная, ибо я ревнив к своей бедности. А зимою она больше всего верна мне.

Злобою начинаю я каждый день, я смеюсь над зимой холодною ванною: за это ворчит на меня моя строгая гостья.

Также люблю я ее щекотать маленькой восковой свечкой: чтобы она, наконец, выпустила небо из пепельно-серых сумерек.

Особенно злым бываю я утром: в ранний час, когда звенит ведро у колодца и раздается на серых улицах теплое ржание лошадей: —

С нетерпением жду я, чтобы взошло, наконец, ясное небо, зимнее небо со снежной бородой, старик с побелевшей головой,—

— молчаливое зимнее небо, часто умалчивающее даже о своем солнце!

Не у него ли научился я долгому, светлому молчанию? Или оно научилось ему у меня? Или каждый из нас сам изобрел его?

Многосложно происхождение всех хороших вещей,— все хорошие, веселые вещи прыгают от радости в бытие: как могли бы они это сделать — только один раз!

Хорошая, веселая вещь также долгое молчание, и хорошо также смотреть, подобно зимнему небу, с ясным открытым лицом:—

— скрывать, подобно ему, свое солнце и свою непреклонную волю — солнце: поистине, х о р о ш о изучил я это искусство и это зимнее веселье!

Моя самая любимая злоба и искусство в том, чтобы мое молчание научилось не выдавать себя молчанием.

Гремя словами и игральными костями, перехитряю я тех, кто торжественно ждет: от всех этих строгих надсмотрщиков должны ускользнуть мои воля и цель.

Чтобы никто не мог видеть основы и последней воли моей,— для этого изобрел я долгое, светлое молчание.

Многих умных встречал я: они закрывали покрывалом свое лицо и мутили свою воду, чтобы никто не мог насквозь видеть их.

Но именно к ним обращались более умные из среды недоверчивых и ищущих разгадок: именно у них вылавливали они самую припрятанную рыбу их!

А умы светлые, смелые и прозрачные — они, по-моему, самые хитрые из всех молчаливых: так глубоко дно их, что даже самая прозрачная вода — не дает видеть его.—

Ты, молчаливое зимнее небо со снежной бородой, ты, круглоглазая белая голова надо мною! О ты, небесный символ моей души и ее радости!

И разве не *должен* я прятаться, как проглотивший золото,— чтобы не распластали мою душу?

Разве не *должен* я пользоваться ходулями, чтобы не *заметили* моих длинных ног,— все эти мрачные завистники, окружающие меня?

Эти удушливые, тепличные, изношенные, отцветшие, истосковавшиеся души — как *могла бы* их зависть выносить мое счастье!

Поэтому я показываю им только зиму и лед на моих вершинах — и *не показываю*, что моя гора окружена также всеми солнечными поясами!

Они слышат только свист моих зимних бурь: и не слышат, что ношусь я также по теплым морям, как страстные, тяжелые, горячие южные ветры.

Они сожалеют также о моих несчастьях и случайностях: — но мое слово гласит: «Предоставьте случаю идти ко мне: невинен он, как малое дитя!»

Как *могли* бы они выносить мое счастье, если бы я не наложил несчастий, зимней стужи, шапок из белого медведя и покровов из снежного неба на мое счастье!

— если бы сам я не питал жалости к их *состраданию*: к состраданию этих мрачных завистников!

— если бы сам я не вздыхал и не дрожал перед ними от холода и не *одевался* терпеливо, как в шубу, в сострадание их!

В том мудрая радость и благосклонность моей души, что *не прячет* она своей зимы и своих морозных бурь; она не прячет также и своего озноба.

Для одного одиночество есть бегство больного: для другого одиночество есть бегство от больных.

Пусть *слышат* они, как дрожу и вздыхаю я от зимней стужи, все эти бедные, завистливые негодяи, окружающие меня! Несмотря на эти вздохи и дрожь, все-таки бежал я из их натопленных комнат.

Пусть они жалеют меня и вздыхают вместе со мною о моем ознобе: «От льда познания он *замерзнет* еще!» — так жалуются они.

А я тем временем бегаю всюду, с теплыми ногами, на моей священной горе: в освещенном солнцем уголке моей священной горы пою и смеюсь я над всяким состраданием.—

Так пел Заратустра.

О прохождении мимо

И так медленно проходя среди многих народов и через различные города, вернулся Заратустра окольным путем в свои горы и свою пещеру. И вот подошел он неожиданно к воротам *большого города*: но здесь бросился к нему с распростертыми руками беснующийся шут и преградил ему дорогу. Это был тот самый шут, которого народ называл «обезьяной Заратустры»: ибо он кое-что перенял из манеры его говорить и любил заимствовать из сокровищницы его мудрости. И шут так говорил к Заратустре:

«О Заратустра, здесь большой город: тебе здесь нечего искать, а потерять ты можешь все.

К чему захотел ты пойти в эту грязь? Пожалей свои ноги! Плюнь лучше на городские ворота и — вернись назад!

Здесь ад для мыслей отшельника: здесь великие мысли кипятятся живьем и развариваются на маленькие.

Здесь разлагаются все великие чувства: здесь могут шуметь только маленькие высохшие чувства!

Разве ты не слышишь запаха бойни и харчевни духа? Разве не стоит над этим городом смрад от умерщвленного духа?

Разве не видишь ты, что души висят здесь, точно мягкие, грязные тряпки? — И они делают еще газеты из этих тряпок!

Разве не слышишь ты, что дух превратился здесь в простую игру слов? Отвратительные слова-помои извергает он! — И они делают еще газеты из этих слов-помоев!

Они гонят друг друга и не знают, куда. Они распаляют друг друга и не знают, зачем. Они гремят своей жестью, они звенят своим золотом.

Они холодны и ищут себе тепла в вине; они разгорячены и ищут прохлады у застывших умов; все они хилы и больны общественным мнением.

Все похоти и пороки здесь у себя дома; но существуют здесь также и добродетельные, существует здесь много ловкой, пристроившейся к месту добродетели: —

Много ловкой добродетели с пальцами, чтобы писать, и с твердой частью тела, чтобы сидеть и ждать; она

осыпана мелкими звездами на груди и награждена дочерьми из соломы и без седалищ.

Существует здесь также много благочестия, много низкой лести и угодничества перед богом воинств.

Ибо «сверху» сыплются звезды и милостивые плевки; вверх тянется каждая грудь без звезды.

У месяца есть свой двор, и у двора — своя свита: но на все, что исходит от двора, молятся нищие и всякая ловкая нищенская добродетель.

«Я служу, ты служишь, мы служим» — так молится господину всякая ловкая добродетель: чтобы заслуженная звезда прицепилась, наконец, ко впалой груди!

Но месяц вращается еще вокруг всего земного: так вращается и господин вокруг самого что ни на есть земного: — а это есть золото торгашей.

Бог воинств не есть бог золотых слитков; король предполагает, а торгаш — располагает!

Во имя всего, что есть в тебе светлого, сильного и доброго, о Заратустра! плюнь на этот город торгашей и вернись назад!

Здесь течет кровь испорченная и бледная и пенится по всем венам: плюнь на большой город, на эту большую сорную яму, где накипает всякая пена!

Плюнь на город подавленных душ и впалых грудей, завистливых глаз и липких пальцев —

— на город нахалов, бесстыдников, писак, крикунов и распаленных честолюбцев: —

— где все испорченное, зловонное, порочное, мрачное, рыхлое, прыщавое, коварное собрано вместе: —

— плюнь на большой город и вернись назад!» —

Но здесь прервал Заратустра беснующегося шута и зажал ему рот.

«Перестань, наконец! — воскликнул Заратустра.— Мне давно уже противны твоя речь и твоя манера говорить!

Зачем же так долго жил ты в болоте, что сам должен был сделаться лягушкой и жабою?

Не течет ли теперь у тебя самого в жилах гнилая, пенистая, болотная кровь, что научился ты так квакать и поносить?

Почему не ушел ты в лес? Или не пахал землю? Разве море не полно зелеными островами?

Я презираю твое презреиие, н если ты предостерегал меия,— почему же не предостерег ты себя самого?

Из одной только любви должеи исходить полет презрення моего н предостерегающей птицы моей: но не нз болота! —

Тебя иазывают моей обезьяной, ты, беснующнйся шут: но я называю тебя своей хрюкающей свнньей,— хрюкаиьем портншь ты мне мою хвалу безумству.

Что же заставило тебя впервые захрюкать? То, что ннкто достаточно не *льстнл* тебе: — поэтому и сел ты вблизи этой грязи, чтобы нметь поводы хрюкать,—

— чтобы иметь многочислеиные поводы для *мести*! Ибо месть, ты, тщеславиый шут, и есть вся твоя пена, я хорошо разгадал тебя!

Но твое шутовское слово вредит мие даже там, где ты прав! И если бы слово Заратустры *было* сто раз право: ты все-такн *вреднл* бы мие — моим словом!»

Так говорил Заратустра; и ои посмотрел на большой город, вздохнул н долго молчал. Наконец он стал говорить так:

— Мне противен также этот большой город, а не только этот шут. И здесь и там иечего улучшать, нечего ухудшать!

Горе этому большому городу! — И мне хотелось бы уже видеть огнеиный столб, в котором сгорит он!

Ибо такие огиеииые столбы должны предшествовать великому полдию. Но всему свое время и своя собствеииая судьба.—

И такое поучеиие даю я тебе, шут, на прощаиие: где нельзя уже любить, там нужио — *пройти мимо*! —

Так говорил Заратустра и прошел мнмо шута и большого города.

Об отступнпках

1

Ах, уже поблекло и отцвело все, что еще иедавио зелеиело н пестрело на этом лугу! И сколько меда иадежды уноснл я отсюда в свой улей!

Все эти юиые сердца уже состарились — и даже не

состарились! — только устали, опошлились и успокоились: — они называют это «мы опять стали набожными».

Еще недавно видел я их на рассвете идущими на смелых ногах: но ноги их познания устали, и теперь бранят они даже свою утреннюю смелость!

Поистине, многие из них когда-то поднимали свои ноги, как танцоры, их манил смех в моей мудрости: — потом они одумались. Только что видел я их сгбенно ползущими ко кресту.

Вокруг света и свободы когда-то порхали они, как мотыльки и юные поэты! Немного старше, немного холоднее: и они уже сели на печку, как глупцы и ханжи.

Не потому ли поникло сердце их, что, как кит, поглотило меня одиночество? Быть может, долго, с тоскою, тщетно прислушивалось их ухо к призыву моих труб и моих герольдов?

— Ах! Всегда было мало таких, чье сердце надолго сохраняет смелость и пыл; у таких даже дух остается настойчивым. Остальные *малодушны*.

Остальные: это всегда большинство, вседневность, излишек, многое множество — все они малодушны.

Кто подобен мне, тому встретятся на пути переживания, подобные моим: так что его первыми товарищами будут трупы и паяцы.

Его вторыми товарищами — те, кто назовут себя *верующими* в него: живая толпа, много любви, много безумия, много безбородого почитания.

Но к этим верующим не должен привязывать свое сердце тот, кто подобен мне среди людей; в эту весну и пестрые луга не должен верить тот, кто знает род человеческий, непостоянный и малодушный!

Если бы могли они быть иными, они и *хотели* бы иначе. Все, что наполовину, портит целое. Когда листья блекнут,— на что тут жаловаться!

Оставь их лететь и падать, о Заратустра, и не жалуйся! Лучше подуй на них шумящими ветрами,—

— подуй на эти листья, о Заратустра, чтобы все *поблекшее* скорее улетело от тебя! —

2

«Мы опять стали набожными» — так признаются эти отступники; и многие из них еще слишком малодушны, чтобы признаться.

Им смотрю я в глаза,— им говорю я в лицо и в румяиец их щек: вы те, кто опять м о л я т с я!

Но это позор — молиться! Не для всех, а для тебя и для меня и для тех, у кого в голове есть совесть. Для т е б я это позор,— молиться!

Ты зиаешь хорошо: твой малодушный демон, сидящий в тебе, охотио складывающий руки и опускающий их иа колени и любящий удобства: — этот малодушный демон говорит тебе: «Е с т ь б о г!»

Но п о т о м у ты и прииадлежишь к боящимся света, к тем, кому свет ие дает покоя; теперь должен ты с каждым днем все глубже засовывать голову свою во тьму и смрад!

И поистиие, ты хорошо выбрал час: ибо теперь виовь иачииают вылетать ночиые птицы. Час иастал для всех боящихся света, час остаиовки, когда оии — ие «остаиавливаются».

Я слышу и чувствую: настал их час для охоты и торжествеиных шествий, не для дикой охоты, а для мягкой, вялой и выслеживающей охоты людей тихо ступающих и тихо молящихся,—

— для охоты на чувствительных ханжей: все мышеловки для сердец теперь опять расставлеиы! И где ни поднимаю я завесы, отовсюду вылетает ночиая бабочка.

Не сидела ли она, спрятавшись вместе с другой ночной бабочкой? Ибо всюду чувствую я присутствие малеиьких скрытых общии; а где существуют приюты, там существуют иовые богомольцы и смрад от богомольцев.

Оии сидят по целым вечерам друг у друга и говорят: «Будем опять как малые дети и станем взывать к милосердиому богу!» — устами и желудками, которые испорчеиы иабожными коидитерами.

Или они смотрят долгими вечерами иа хитрого, подстерегающего паука-крестовика, который сам проповедует мудрость паукам и так учит их: «Под крестами хорошо ткать паутину!»

Или оии сидят по целым диям с удочками у болота и потому считают себя г л у б о к и м и; ио кто удит там, где иет рыбы, того ие иазову я даже поверхиостиым!

Или оии с благочестивой радостью учатся играть на арфе у певца-поэта, который хотел бы своей игрою проиикнуть в сердца молодых бабеиок — ибо устал ои от старых баб и их похвал.

Или они поучаются страху у полусумасшедшего учеиого, ожидающего в темных комнатах появления духов,— тогда как нх дух совсем покиул их!

Илн они слушают старого бродягу-музыканта, который научнлся у печальных ветров рыданию звуков; теперь вторит ои ветру н в звуках печали проповедует скорбь.

А иные нз иих сделались даже ночными сторожамн: онн научились теперь трубить в рог, делать ночной обход и буднть прошлое, давио уже усиувшее.

Пять слов из прошлого слышал я вчера ночью у садовой стены: они исходнли от этих старых иочиых сторожей, печальиых и сухих.

«Для отца ои иедостаточно заботнтся о своих детях: человеческие отцы делают это лучше!» —

«Ои слишком стар! Он уже совсем перестал заботиться о своих детях»,— так отвечал другой иочиой сторож.

«Разве у него есть детн? Ннкто ие может этого доказать, если он сам не докажет! Мне давио хотелось, чтобы он однажды основательио доказал это».

«Доказал? Как будто он когда-лнбо что-иибудь доказывал! Доказательства ему трудно даются; он придает больше значеиия тому, чтобы ему в е р н л н.»

«Да! Да! Вера делает его блаженным, вера в него. Такова прнвычка старых людей! То же будет и с намн!» —

Так говорилн между собой два старых ночных сторожа н гоинтеля света н затем печально трубнлн в свой рог: это пронсходнло вчера ночью у садовой стены.

У меня же сердце надрывалось от смеха, оно хотело разбнться, н не знало, куда ему деться, н надорвало себе жнвот.

Поистнне, моей смертью будет — задохиуться от смеха, глядя на пьяных ослов н слушая иочиых сторожей, сомневающнхся в боге.

Разве не прошло д а в н ы м - д а в н о время для всех подобиых сомненнй? Кто стал бы еще буднть старое, давно усиувшее прошлое, враждебиое свету!

Уже давиым-давно пришел конец старым богам: — н поистиие, у иих был хороший, веселый божествеиный коиец!

Их «сумерки» не продолжалнсь до смертн — об этом, конечио, лгут! Напротнв: однажды онн сами убилн себя — с м е х о м!

Это случилось, когда самое нечестивое слово было произнесено одним богом — слово: «Бог един! У тебя не должно быть иного бога, кроме меня!» — старая борода, сердитый и ревнивый бог до такой степени забылся: —

И все боги смеялись тогда, качаясь на своих сиденьях, и восклицали: «Разве не в том божественность, что существуют боги, а не бог!»

Имеющий уши, да слышит.—

Так говорил Заратустра в городе, который любил он и который прозывался «Пестрая корова». Отсюда оставалось ему всего два дня пути, чтобы был он опять в своей пещере и у своих зверей; и душа его непрестанно радовалась ввиду близости возвращения.—

Возвращение

О уединение! Ты, уединение, *отчизна* моя! Слишком долго жил я диким на дикой чужбине, чтобы не возвратиться со слезами к тебе!

Теперь пригрози мне только пальцем, как грозит мать, теперь улыбнись мне, как улыбается мать, теперь скажи только: «А кто однажды, как вихрь, улетел от меня? —

— кто, расставаясь, кричал: слишком долго сидел я в одиночестве, я разучился молчанию! *Этому*, конечно, ты научился теперь?

О Заратустра, все знаю я: и то, что в толпе ты был *более покинутым*, чем когда-либо один у меня!

Одно дело — покинутость, другое — уединение: *этому* — научился ты теперь! И что среди людей будешь ты всегда диким и чужим:

— диким и чужим, даже когда они любят тебя: ибо прежде всего хотят они, чтобы *щадили* их!

Здесь же ты на родине и у себя дома; здесь можешь ты все высказывать и вытряхивать все основания, здесь нечего стыдиться чувств скрытых и скупых.

Сюда приходят все вещи, ласкаясь к твоей речи и заискивая у тебя: ибо они хотят скакать верхом на твоей спине. Верхом на всех символах скачешь ты здесь ко всем истинам.

Прямо и искренне можешь ты говорить здесь ко всем вещам: и поистине, как похвала, звучит в их ушах, что один со всеми вещами — говорит прямо!

Но ниое дело — покииутость. Ибо помнишь лн ты, о Заратустра? Когда твоя птнца крнчала иад тобой, когда ты стоял в лесу в нерешимости, не зная, куда ндтн, близкий к трупу: —

— когда ты говорил: «Пусть ведут меия мои звери!» Средн людей оказалось опаснее быть, чем среди зверей: — э т о была покииутость!

И помиишь ли ты еще, о Заратустра? Когда ты сндел на своем острове, среди пустых ведер нсточиик вииа, отдавая себя жаждущим и разливая себя без счета:

— пока, наконец, ты не сидел одии, жаждущнй, среди пьяных н не жаловался по иочам: «Брать не есть ли большее иаслаждеиие, чем давать? И красть не есть лн еще большее иаслаждение, чем брать?» — Э т о была покииутость!

И помиишь ли ты еще, о Заратустра? Когда приблнзнлась твоя тишииа и гиала тебя прочь от тебя самого, когда говорила оиа злым шепотом: «Скажн свое слово н умри!» —

— когда оиа заставнла тебя сожалеть о всяком твоем ожидании и молчаиии и приводнла в уныние твое кроткое мужество: э т о была покииутость!» —

О уедииеиие! Ты, уедииеиие, отчнзна моя! Как блаженио н нежно говорнт мне твой голос!

Мы не спрашнваем друг друга, мы ие жалуемся друг другу, мы открыто идем вместе в открытые дверн.

Ибо открыто у тебя и светло: и даже часы бегут здесь более легкнмн шагамн. В темноте время гиетет больше, чем прн свете.

Здесь раскрываются мне слова н хранилнща слов всякого бытия: здесь всякое бытие хочет стать словом, всякое становление хочет здесь научиться у меня говорнть.

Но там виизу — всякая речь напрасиа! Там забыть н пройти мимо — лучшая мудрость: э т о м у — научнлся я теперь!

Кто хотел бы все поиять у людей, должен был бы ко всему прикосиуться. Но для этого у меня слншком чнстые рукн.

Я не хочу уже вдыхать дыханне нх; ах, зачем я так долго жнл среди шума н зловоииого дыхаиия их!

О, блажеииая тишииа вокруг меня! О, чистый запах вокруг меня! О, как вдыхает эта тишииа полиою грудью

чистое дыхаиие! О, как оиа прислушивается, эта блажеииая тишина!

Но там виизу — все говорит, там все пропускается мимо ушей. Там хотя в колокола звоии про свою мудрость: торгаши иа базаре перезвоият ее звоиом своих грошей!

Все у них говорит, иикто ие умеет уже поиимать. Все падает в воду, ничто уже ие падает в глубокие родники.

Все у иих говорит, ио ничто ие удается и не приходит к коицу. Все кудахчет, ио кому же еще хочется сидеть в гиезде и высиживать яйца?

Все у иих говорит, все разбавляется водою. И что вчера еще было слишком твердо для самого времеии и зубов его: сегодия висит изо рта у людей иастоящего изгрызаниым и обглодаииым.

Все у иих говорит, все разглашается. И что некогда иазывалось тайиой и достояиием душ глубоких, сегодня принадлежит уличиым трубачам и другим бабочкам.

О ты, страииое человеческое существо! Ты — шум на темиых улицах! Теперь лежишь ты опять позади меия: — моя величайшая опасность лежит позади меия!

В пощаде и жалости лежала всегда моя величайшая опасиость; а всякое человеческое существо хочет, чтобы пощадили и пожалели его.

С иевысказанными истииами, с руками безумца и с растрачеииым сердцем, богатый маленькою ложью сострадаиия: так жил я всегда среди людей.

Переодетым сидел я среди иих, готовый не узнавать себя, чтобы только переиосить их, и стараясь уверить себя: «Глупец, ты не знаешь людей!»

Перестают зиать людей, когда живут среди иих: слишком миого напускиого во всех людях,— чего хотят там дальиозоркие, проницательиые глаза!

И когда они ие узнавали меия: я, безумец, щадил их за это больше, чем себя: привыкиув строго отиоситься к себе и часто еще мстя самому себе за эту пощаду.

Искусаииый ядовитыми мухами, изрытый, подобио камию, бесчисленными каплями злобы, так сидел я среди иих и еще старался уверить себя: «Невиновио все иичтожиое в своем иичтожестве!»

Особеиио тех, кто иазывали себя «добрыми», иаходил я самыми ядовитыми мухами: оии кусают в полиой невии-

ности, они лгут в полной невинности; как *могли* бы они быть ко мне — справедливыми!

Кто живет среди добрых, того сострадание учит лгать. Сострадание делает удушливым воздух для всех свободных душ. Ибо глупость добрых неизмерима.

Скрывать себя самого и свое богатство — *этому* научился я там внизу: ибо каждого считал я еще за нищего духом. В том была ложь моего сострадания, что в отношении каждого я знал,

— что в отношении каждого я видел и чувствовал, сколько было ему *достаточно* духа и сколько было уже *слишком много* для него!

Их надутые мудрецы: я называл их мудрыми, а не надутыми,— так научился я проглатывать слова. Их могильщики: я называл их исследователями и испытателями,— так научился я заменять слова.

Могильщики выкапывают болезни себе. Под старым мусором спят вредные испарения. Не надо тревожить болото. Надо жить на горах.

С блаженством вдыхаю я опять свободу гор! Наконец мой нос избавился от запаха всякого человеческого существа!

Возбужденная свежим воздухом, как от пенистых вин, *чихает* моя душа,— чихает и весело приговаривает: на здоровье! —

Так говорил Заратустра.

О трояком зле

1

Во сне, последнем утреннем сне, стоял я сегодня на высокой скале,— по ту сторону мира, держал весы и *взвешивал* мир.

О, слишком рано утренняя заря подошла ко мне: пылающая, она разбудила меня, ревнивая! Она всегда ревнует меня к моему утреннему знойному сну.

Измеримым для того, у кого есть время, весомым для хорошего весовщика, достижимым для сильных крыльев, возможным для разгадки теми, кто любят разгады-

вать божественные загадки: таким нашел мой сон мир:—

Мой сон, смелый плаватель, полукорабль, полуветер, молчаливый, как мотылек, нетерпеливый, как сокол: сколько у него сегодня терпения и времени, чтобы взвешивать мир!

Не внушила ли ему это тайно моя мудрость, смеющаяся, бодрствующая мудрость дня, которая насмехается над всеми «бесконечными мирами»? Ибо она говорит: «Где есть сила, там становится хозяином и число, ибо у него больше силы».

Как уверенно смотрел мой сон на этот конечный мир, без любопытства, без страха, без мольбы:—

— как будто наливное яблоко просилось в мою руку, спелое золотое яблоко, с холодной, мягкой, бархатистой кожицей: — таким представлялся мне мир:

— как будто дерево кивало мне, с широкими ветвями, крепкое волею, согнутое для опоры и подобное алтарю для усталого путника: таким стоял мир на моей высокой скале:—

— как будто красивые руки несли навстречу мне ящик,— ящик, открытый для восторга стыдливых, почтительных глаз: таким несся сегодня навстречу мне мир: —

— не настолько загадкой, чтобы спугнуть человеческую любовь, не настолько разгадкой, чтобы усыпить человеческую мудрость: человечески-добрым был для меня сегодня мир, на который так зло клевещут!

Как благодарю я свой утренний сон, что сегодня на заре взвесил я мир! Человечески-добрым пришел ко мне этот сон, утешитель сердец!

И пусть днем поступлю я подобно ему, и пусть его лучшее мне послужит примером: хочу я теперь положить на весы три худшие вещи и по-человечески взвесить их.—

Кто учил благословлять, тот учил и проклинать: какие же в мире три наиболее проклятых вещи? Их хочу я положить на весы.

Сладострастие, властолюбие, себялюбие: они были до сих пор наиболее проклинаемы и на них клеветали и лгали больше всего,— их хочу я по-человечески взвесить.

Ну что ж! Здесь моя скала, а там море: *оно* подка-

тывается ко мие, косматое, льстивое, вериый, старый, стоголовый чудовищный пес, любимый миою.

Ну что ж! Здесь хочу я держать весы иад бушующим морем: и свидетелем выбираю я, чтобы смотрел он,— тебя, ты, одинокое дерево, сильно благоухающее, с широко раскииутой листвой, любимое миою! —

По какому мосту идет к будущему иастоящее? Какое прннужденне прннуждает высокое склоняться к ннзкому? И что велит высшему — еще расти вверх? —

Теперь весы в равиовесии и иеподвижны: три тяжелых вопроса я бросил на них, три тяжелых ответа несет другая чашка весов.

2

Сладострастие: для всех иосящих власяинцу и презирающих тело — их жало и столп и «мир», проклятый у всех мечтающих о другом мире: ибо оио смеется и издевается иад всеми учителями лжи.

Сладострастие: для толпы — медлеиный огоиь, иа котором сгорает оиа; для всякого червивого дерева, для всех тряпок вонючих — готовая, пылающая и клокочущая печь.

Сладострастие: для свободиых сердец — нечто невиниое н свободиое, счастье рая иа земле, нзбыток благодарности всякого будущему настоящему.

Сладострастие: только для увядшего — сладкий яд, но для тех, у кого воля льва, великое сердечиое подкрепление и виио из вии, благоговейио сбережеииое.

Сладострастне: великий символ счастья для более высокого счастья н наивысшей иадежды. Ибо миогому обещан был брак и больше, чем брак,—

— миогому, что более чуждо друг другу, чем мужчина н жеищина: — н кто же вполне поинмал, *как чужды* друг другу мужчииа н жеищииа!

Сладострастие: — однако я хочу наложить узду иа свон мысли и даже иа свои слова: чтобы ие вторглись в мон сады свиньи н нступлеииые! —

Властолюбие: пылающий бич для самых твердых сердец, жестокая пытка, которую самый жестокий приготовляет для себя самого, мрачиое пламя живых костров.

Властолюбие: злая узда, иаложенная на самые тщеславиые иароды; оио иасмехается иад всякой сомиительной

добродетелью; оно ездит верхом на всяком коне и на всякой гордости.

Властолюбие: землетрясение, разрушающее и разламывающее все гнилое и пустое внутри; катящийся, грохочущий, наказующий разрушитель гробов повапленных; сверкающий вопросительный знак в ряду преждевременных ответов.

Властолюбие: перед взором его человек пресмыкается, гнется, раболепствует и становится ниже змеи и свиньи:— пока, наконец, великое презрение не возопит в нем.—

Властолюбие: грозный учитель великого презрения, которое городам и царствам проповедует прямо в лицо: «Убирайтесь прочь!»,— пока сами они возопят: «Пора *нам* убираться прочь!»

Властолюбие: оно заманчиво поднимается к чистым и одиноким и вверх к самодовлеющим вершинам, пылая, как любовь, заманчиво рисующая пурпурные блаженства на земных небесах.

Властолюбие: но кто назовет его *стремлением*, когда высокое стремится вниз к власти! Поистине, нет ничего болезненного в таком стремлении и нисхождении!

Чтобы одинокая вершина уединялась не навеки и не довольствовалась сама собоой; чтобы гора спустилась к долине, и ветры вершины к низинам: —

О, если бы кто нашел настоящее имя, чтобы назвать и почтить такое стремление! «Дарящая добродетель»— так назвал однажды Заратустра то, чему нет имени.

И тогда случилось — и поистине, случилось в первый раз! — что его слово возвеличило *себялюбие*, хорошее, здоровое себялюбие, которое бьет ключом из могучей души: —

— из могучей души, которой принадлежит высокое тело, красивое, победоносное и услаждающее, вокруг которого всякая вещь становится зеркалом:

— гибкое, убеждающее тело, танцор, которого символом и выражением служит душа, радующаяся себе самой. Саморадость таких тел и душ называет сама себя: «добродетелью».

Своими словами о добре и зле ограждает себя такая саморадость, как священной рощею; именами своего счастья гонит она от себя все презренное.

Прочь от себя гоиит оиа все трусливое: оиа говорит: дуриое — з и а ч и т трусливое! Достойиым презреиия кажется ей всякий, кто постояиио заботится, вздыхает и жалуется, а также кто собирает малейшие выгоды.

Оиа презирает также всякую уиылую мудрость: ибо, поистиие, существует также мудрость, цветущая во мраке, мудрость иочиых теией, постояиио вздыхающая: «Все — суета!»

Оиа не любит боязливой недоверчивостн н тех, кто требуют клятв вместо взоров и протяиутых рук: также всякой слишком недоверчивой мудрости,— ибо такова мудрость душ трусливых.

Еще ииже цеиит оиа слишком услужливого, кто тотчас, как собака, ложится иа спииу, смиреииого; и существует также мудрость смиреииая, по-собачьи уиижеииая, смиреииая и слишком услужливая.

Неиавистеи и противеи ей тот, кто иикогда не хочет защищаться, кто проглатывает ядовитые плевки и злобиые взгляды, кто слишком терпелив, кто все переиосит и всем доволеи: ибо таковы привычки раба.

Раболепствует ли кто пред богами и стопами их, пред людьми и глупыми миеииями их: на в с е рабское плюет оио, это блажеииое себялюбие!

Дурио: так иазывает оио все прииижениое и прииижеиио-рабское, глаза моргающие и покориые, сокрушеииые сердца и ту лживую податливую породу, которая целует широкими, трусливыми губами.

И мнимую мудрость: так иазывает оио все, иад чем мудрствуют рабы, старики и усталые: и особеиио дуриую мудрствующую глупость жрецов!

Миимые мудрецы, одиако,— это все жрецы, все, уставшие от мира н те, чья душа похожа иа душу женщииы и раба,— о, как игра их всегда преследовала себялюбие!

И это должио было быть добродетелью и называться добродетелью — преследовать себялюбие! Быть «без себялюбия» — этого хотели бы с полным осиоваиием сами себе все эти трусы и пауки-крестовнкн, уставшие от мира!

Но для всех для иих приближается теперь деиь, перемеиа, меч судии, в е л и к и й п о л д е н ь: тогда откроется миогое!

И кто иазывает «я» здоровым и священиым, а себялюбие блажеииым, тот, поистиие, говорит, что зиает ои, как

прорицатель: «*Вот, он приближается, он близок, великий полдень!*» —

Так говорил Заратустра.

О духе тяжести

1

Уста мои — уста народа: слишком грубо и сердечно говорю я для изящных людей. И еще более странным звучит мое слово для всех писак и чернильных душ!

Моя рука — рука безумца: горе всем столам и стенам и тому, что может дать место для украшений и для маранья безумца!

Моя нога — нога лошади; с ее помощью мчусь я через пни и камни, вдоль и поперек поля и, как дьявол, радуюсь всякому быстрому бегу.

Мой желудок — должно быть, желудок орла? Ибо он любит больше всего мясо ягненка. Но во всяком случае он — желудок птицы.

Вскормленный скудной, невинною пищей, готовый и страстно желающий летать и улететь — таков я: разве я не птица, хотя бы немного!

И особенно потому, что враждебен я духу тяжести, в этом также природа птицы: и поистине, я враг смертельный, враг заклятый, враг от рождения! О, куда только не летала и где только не блуждала моя вражда!

Об этом я мог бы спеть песню — и *хочу* ее спеть: хотя я один в пустом доме и должен петь ее для своих собственных ушей.

Есть, конечно, другие певцы, у которых только полный дом делает голос их гибким, руку красноречивой, взор выразительным, сердце бодрым: — на них не похож я.—

2

Кто научит однажды людей летать, сдвинет с места все пограничные камни; все пограничные камни сами взлетят у него на воздух, землю вновь окрестит он — именем «легкая».

Птица страус бежит быстрее, чем самая быстрая ло-

шадь, но и она еще тяжело прячет голову в тяжелую землю: так и человек, не умеющий еще летать.

Тяжелой кажется ему земля и жизнь; так *хочет* дух тяжести! Но кто хочет быть легким, быть птицей, тот должен любить себя самого:— так учу я.

Конечно, не любовью больных и лихорадочных: ибо у них и собственная любовь дурно пахнет!

Надо научиться любить себя самого — так учу я — любовью здоровой и неиспорченной: чтобы сносить себя самого и не скитаться всюду.

Такое скитание называется «любовью к ближнему»: с помощью этого слова до сих пор лгали и лицемерили больше всего, и особенно те, кого весь мир переносил с трудом.

И поистине, это вовсе не заповедь на сегодня и на завтра — *научиться* любить себя. Скорее, из всех искусств это самое тонкое, самое хитрое, последнее и самое терпеливое.

Ибо для собственника все собственное бывает всегда глубоко зарытым; и из всех сокровищ собственный клад выкапывается последним,— так устраивает дух тяжести.

Почти с колыбели дают уже нам в наследство тяжелые слова и тяжелые ценности: «добро» и «зло»— так называется это наследие. И ради них прощают нам то, что живем мы.

И кроме того, позволяют малым детям приходить к себе, чтобы вовремя запретить им любить самих себя: так устраивает дух тяжести.

А мы — мы доверчиво тащим, что дают нам в наследство, на сильных плечах по бесплодным горам! И если мы обливаемся потом, нам говорят: «Да, жизнь тяжело нести!»

Но только человеку тяжело нести себя! Это потому, что тащит он слишком много постороннего на своих плечах. Как верблюд, становится он на колени и позволяет хорошенько навьючить себя.

Особенно человек сильный и выносливый, способный к глубокому почитанию: слишком много *посторонних* тяжелых слов и ценностей навьючивает он на себя,— и жизнь кажется ему пустыней!

И поистине! Даже многое свое *собственное* тяжело нести! Многое внутри человека похоже на устрицу,

отвратительиую и скользкую, которую трудно схватить,—

— так что благородная скорлупа с благородными украшеииями должна заступиться за иее. Но и этому искусству надо иаучиться: *иметь* скорлупою прекрасиый призрак и мудрое ослеплеиие!

И опять во миогом можио ошибиться в человеке, ибо иная скорлупа бывает ничтожной и печальной и слишком уж скорлупой. Миого скрытой доброты и силы иикогда ие угадывается: самые драгоцеиные лакомства ие иаходят любителей!

Женщины знают это, самые драгоцеиные: немного потолще, иемного потоньше — о, как часто судьба содержится в столь немногом!

Трудио открыть человека, а себя самого всего трудиее; часто лжет дух о душе. Так устраивает дух тяжести.

Но тот открыл себя самого, кто говорит: это *мое* добро и *мое* зло: этим заставил он замолчать полукрота, полукарлика, который говорит: «Добро для всех, зло для всех».

Поистине, ие люблю я тех, у кого всякая вещь называется хорошей, а этот мир — даже наилучшим из миров. Их называю я вседовольными.

Вседовольство, умеющее иаходить все вкусиым: это ие лучший вкус! Я уважаю упрямые, разборчивые языки и желудки, которые научились говорить «я», «да» и «иет».

Но все жевать и переваривать — это настоящее свойство свиньи! Постоянно говорить И-А — этому иаучился только осел и те, кто соответствуют ему по духу!

Густая желтая и яркая алая краски: их требует мой вкус,— примешивающий кровь во все цвета. Но кто окрашивает дом свой белой краской, обнаруживает выбелеииую душу.

Одии влюблены в мумии, другие в призраки; и те и другие одииаково враждебны всякой плоти и крови — о, как противны оии моему вкусу! Ибо я люблю кровь.

И там не хочу я жить, где каждый плюет: таков мой вкус,— лучше стал бы я жить среди воров и клятвопреступников. Никто не носит золота во рту.

Но еще противиее мие все прихлебатели; и самое противиое животное, какое встречал я среди людей, назвал я паразитом: оио ие хотело любить и, однако, хотело жить от любви.

Несчастными называю я всех, у кого один только выбор: сделаться лютым зверем или лютым укротителем зверей: у них не построил бы я шатра своего.

Несчастными называю я также и тех, кто всегда должен быть на страже,— противны они моему вкусу: все эти мытари и торгаши, короли и прочие охранители страны и лавок.

Поистине, я также основательно научился быть на страже,— но только на страже самого себя. И прежде всего научился я стоять, и ходить, и бегать, и прыгать, и лазать, и танцевать.

Ибо в том мое учение: кто хочет научиться летать, должен сперва научиться стоять, и ходить, и бегать, и лазать, и танцевать:— нельзя сразу научиться летать!

По веревочной лестнице научился я влезать во многие окна, проворно влезал я на высокие мачты: сидеть на высоких мачтах познания казалось мне немалым блаженством,—

— гореть малым огнем на высоких мачтах: хотя малым огнем, но большим утешением для севших на мель корабельщиков и для потерпевших кораблекрушение! —

Многими путями и способами дошел я до моей истины: не по одной лестнице поднимался я на высоту, откуда мой взор устремлялся в мою даль.

И всегда неохотно спрашивал я о дорогах,— это всегда было противно моему вкусу! Я лучше сам вопрошал и испытывал дороги.

Испытывать и вопрошать было всем моим хождением: — и поистине, даже отвечать надо научиться на этот вопрос! Но таков — мой вкус:

— ни хороший, ни дурной, но мой вкус, которого я не стыжусь и не прячу.

«Это — теперь мой путь,— а где же ваш?» — так отвечал я тем, кто спрашивали меня о «пути». Именно одного пути — и не существует! —

Так говорил Заратустра.

О старых и новых скрижалях

1

Здесь сижу я и жду; все старые разбитые скрижали вокруг меня, а также новые, наполовину исписанные. Когда же настанет мой час?

— час моего нисхождения, час моего заката: ибо еще раз хочу я пойти к людям.

Его жду я теперь: ибо сперва должны мне предшествовать знамения, что *мой* час настал,— именно, смеющийся лев со стаей голубей.

А пока говорю я сам с собою, как тот, у кого есть время. Никто не рассказывает мне ничего нового: поэтому я рассказываю себе о самом себе.—

2

Когда я пришел к людям, я нашел их сидящими на старом предубеждении: все они верили, что давно уже знают, что́ для человека добро и что́ для него зло.

Старой, утомительной вещью казалась им всякая речь о добродетели, и кто хотел спокойно спать, тот перед отходом ко сну говорил еще о «добре» и «зле».

Эту сонливость встряхнул я, когда стал учить: *никто не знает еще*, что́ добро и что́ зло: — если сам он не есть созидающий!

— Но созидающий — это тот, кто создает цель для человека и дает земле ее смысл и ее будущее: он впервые *создает* добро и зло для всех вещей.

И я велел им опрокинуть старые кафедры и все, на чем только сидело это старое предубеждение; я велел им смеяться над их великими учителями добродетели, над их святыми и поэтами, над их избавителями мира.

Над их мрачными мудрецами велел я смеяться им, и над теми, кто когда-либо, как черное пугало, предостерегая, сидел на дереве жизни.

На краю их большой улицы гробниц сидел я вместе с падалью и ястребами — и я смеялся над всем прошлым их и гнилым развалившимся блеском его.

Поистине, подобно проповедникам покаяния и безумцам, изрек я свой гнев на все их великое и малое,—

что все лучшее их так ничтожно, что все худшее их так ничтожно! — так смеялся я.

Мое стремление к мудрости так кричало и смеялось во мне: поистине, она рождена на горах, моя дикая мудрость! — мое великое, шумящее крыльями стремление.

И часто уносило оно меня вдаль, в высоту, среди смеха: тогда летел я, содрогаясь, как стрела, через опьяненный солнцем восторг:

— туда, в далекое будущее, которого не видела еще ни одна мечта, на юг, более жаркий, чем когда-либо мечтали художники: туда, где боги, танцуя, стыдятся всяких одежд: —

— так говорю я в символах и, подобно поэтам, запинаюсь и бормочу: и поистине, я стыжусь, что еще должен быть поэтом! —

Туда, где всякое становление казалось мне божественной пляской и шалостью, а мир выпущенным на свободу, невзнузданным, убегающим обратно к самому себе: —

— как вечное бегство многих богов от себя самих и опять новое искание себя, как блаженное противоречие себе, повторение и возвращение к себе многих богов: —

Где всякое время казалось мне блаженной насмешкой над мгновениями, где необходимостью была сама свобода, блаженно игравшая с жалом свободы: —

Где снова нашел я своего старого демона и заклятого врага, духа тяжести, и все, что создал он: насилие, закон, необходимость, следствие, цель, волю, добро и зло: —

Разве не должны существовать вещи, на которых можно было бы танцевать? Разве из-за того, что есть легкое и самое легкое,— не должны существовать кроты и тяжелые карлики?

3

Там же поднял я на дороге слово «сверхчеловек» и что человек есть нечто, что дóлжно преодолеть,—

— что человек есть мост, а не цель: что он радуется своему полдню и вечеру как пути, ведущему к новым утренним зорям:

— слово Заратустры о великом полдне, и то, что еще навесил я на человека, как на вторую пурпурную вечернюю зарю.

Поистине, я дал ему увидеть даже новые звезды и

новые ночи; и над тучами и днем, и ночью раскинул я смех, как пестрый шатер.

Я научил его всем *моим* мыслям и всем стремлениям *моим*: собрать воедино н вместе нести все, что́ есть в человеке отрывочного, загадочного н ужасно случайного,—

— как поэт, отгадчик и избавитель от случая, я научил его быть созидателем будущего и все, что *было*,— спасти, созидая.

Спасти прошлое в человеке и преобразовать все, что «было», пока воля не скажет: «Но так хотела я! Так захочу я».—

Это назвал я ему нзбавлением, одно лишь это учил я его называть избавлением.—

Теперь я жду *своего* избавлення,— чтобы пойти к людям в последний раз.

Ибо еще один раз пойду я к ним: *среди* них хочу я умереть и, умирая, хочу я дать им свой богатейший дар!

У солнца научился я этому, когда закатывается оно, богатейшее светило: золото сыплет оно в море из неистощимых сокровищниц своих,—

— так что даже беднейший рыбак гребет *золотым* веслом! Ибо это видел я однажды, и пока я смотрел, слезы не переставая текли из моих глаз.—

Подобно солнцу, хочет закатиться и Заратустра: теперь сидит он здесь и ждет; вокруг него старые, разбитые скрижали, а также новые,— наполовину нсписанные.

4

Смотри, вот новая скрижаль: но где же братья мон, которые вместе со мной понесут ее в долину н мясистые сердца? —

Так гласнт моя великая любовь к самым дальннм: *не щадн своего блнжнего*. Человек есть нечто, что до́лжно преодолеть.

Существует много путей и способов преодоления: ищи их *сам*! Но только шут думает: «Через человека можно *перепрыгнуть*».

Преодолей самого себя даже в своем ближнем: н право, которое ты можешь завоевать себе, ты не должен позволять дать тебе!

Что ты делаешь, этого ннкто не может опять сделать тебе. Зиай, ие существует возмездня.

Кто ие может повелевать себе, должен повиноваться. И многие *могут* повелевать себе, но им иедостает еще многого, чтобы уметь повнноваться себе!

5

Так хочет характер душ благородных: оин ннчего не хотят нметь *даром*, всего менее жизнь.

Кто из толпы, тот хочет жнть даром; мы же, другие, кому даиа жнзнь,— мы постояино размышляем, *что* могли бы мы дать лучшего в *обмен* за иее!

И понстнне, благородна та речь, которая гласит: «Что обещает *нам* жнзиь, *мы* хотнм — нсполиить для жнзнн!»

Не надо желать наслаждаться там, где нет места для иаслаждения. И — ие иадо *желать* наслаждаться!

Ибо наслаждение н иевнииость — самые стыдливые вещи: оии ие хотят, чтобы искали их. Их надо *нметь*, — ио *искать* надо скорее вину н страдание!

6

О мон братья, кто первенец, тот прииоснтся всегда в жертву. А мы теперь первенцы.

Мы все нстекаем кровью иа тайиых жертвеннниках, мы все горим и жаримся в честь старых ндолов.

Наше лучшее еще молодо: оио раздражает старое небо. Наше мясо нежио, наша кожа только кожа ягиенка: — как ие раздражать нам старых ндольских жрецов!

В иас самих жнвет еще ои, старый идольский жрец, ои жарнт наше лучшее себе на пир. Ах, мои братья, как первеицам ие быть жертвою!

Но так хочет иаш род; н я люблю тех, кто не хочет беречь себя. Погибающих люблю я всею своей любовью: нбо переходят они иа ту стороиу.

7

Быть правдивыми — могут иемиогне! И кто может, ие хочет еще! Но меньше всего могут быть ими добрые.

О, этн добрые! — *добрые людн иикогда не*

говорят правду; для духа быть таким добрым — болезнь.

Они уступают, эти добрые, они покоряются, их сердце вторит, их разум повинуется: но кто слушается, *тот не слушает самого себя!*

Все, что у добрых зовется злым, должно соединиться, чтобы родилась единая истина: о мои братья, достаточно ли вы злы для *этой* истины?

Отчаянное дерзновение, долгое недоверие, жестокое отрицание, пресыщение, надрезывание жизни — как редко бывает *это* вместе. Но из такого семени — рождается истина!

Рядом с нечистой совестью росло до сих пор все *знание!* Разбейте, разбейте, вы, познающие, старые скрижали!

8

Когда бревна в воде, когда мосты и перила перекинуты над рекою: поистине, не поверят, если кто скажет тогда: «Все плывет».

Даже глупые будут противоречить ему. «Как? — скажут глупые.— Все плывет? Ведь балки и перила перекинуты над рекой!»

«Над рекою все крепко, все ценности вещей, мосты, понятия, все «добро» и «зло»: все это *крепко!*» —

А когда приходит суровая зима, укротительница рек: тогда и насмешники начинают сомневаться; и поистине, не одни только глупые говорят тогда: «Не все ли — *спокойно?*»

«В основе все спокойно» — это истинное учение зимы, удобное для бесплодного времени, хорошее утешение для засыпающих на зиму и сидящих за печкою.

«В основе все спокойно»:— но *против* этого говорит ветер в оттепель!

Ветер в оттепель — это бык, но не пашущий, а бешеный бык, разрушитель, гневными рогами ломающий лед! Лед же — *ломает перила!*

О мои братья, не все ли *плывет теперь?* Не все ли перила и мосты попадали в воду? Кто же станет *держаться* еще за «добро» и «зло»?

«Горе нам! Благо нам! Теплый ветер подул!» — Так проповедуйте, мои братья, по всем улицам!

9

Есть старое безумие, оно называется «добро» и «зло». Вокруг прорицателей и звездочетов вращалось до сих пор колесо этого безумия.

Некогда *верили* в прорицателей и звездочетов: и *потому* верили: «Все судьба: ты должен, ибо так надо!»

Затем опять перестали доверять всем прорицателям и звездочетам: и *потому* верили: «Все свобода: ты можешь, ибо ты хочешь!»

О мои братья, о звездах и о будущем до сих пор только мечтали, но не знали их; и *потому* о добре и зле до сих пор только мечтали, но не знали их!

10

«Ты не должен грабить! Ты не должен убивать!» — Такие слова назывались некогда священными; перед ними преклоняли колена и головы, и к ним подходили разувшись.

Но я спрашиваю вас: когда на свете было больше разбойников и убийц, как не тогда, когда эти слова были особенно священны?

Разве в самой жизни нет — грабежа и убийства? И считать эти слова священными, разве не значит — убивать саму *истину*?

Или это не было проповедью смерти — считать священным то, что противоречило всякой жизни и убеждало не жить? — О мои братья, разбейте, разбейте старые скрижали!

11

Мне жаль всего прошлого, ибо я вижу, что оно отдано на произвол,—

— отдано на произвол милости, духу и безумию каждого из поколений, которое идет и все, что было, превращает в мост для себя!

Может придти великий тиран, злой демон, который своей милостью и своим гневом будет насиловать все прошлое: пока оно не станет для него мостом, знамением, герольдом и криком петуха.

Но вот другая опасность и мое другое сожаление:—

память тех, кто нз толпы, не ндет дальше деда,— и с дедом кончается время.

И так все прошлое отдано на произвол: ибо может когда-ннбудь случнться, что толпа станет господнном, н всякое время утонет в мелкой воде.

Поэтому, о мон братья, нужна *новая аристократня*, протнвница всего, что есть всякая толпа н всякий деспотизм, которая на новых скрнжалях снова напишет слово: «благородный».

Ибо нужно много благородных н разнородных благородных, *чтобы составнлась арнстократня!* Илн, как говорнл я однажды в снмволе, «в том божественность, что существуют богн, а не бог!»

12

О мон братья, я жалую вас в новую арнстократию тем, что показываю вам: вы должны стать созидателямн н воспнтателями,— сеятелямн будущего,—

— понстнне, не в арнстократню, которую моглн бы купить вы, как торгашн, золотом торгашей: ибо мало ценностн во всем том, что нмеет свою цену.

Не то, откуда вы ндете, пусть составнт отныне вашу честь, а то, куда вы ндете! Ваша воля н вашн шагн, ндущие дальше вас самнх,— пусть будут отныне вашей новой честью!

Понстнне, не то, что служнлн вы князю,— что значат теперь князья! — нлн что былн вы оплотом тому, что стоит, чтобы крепче стояло оно!

Не то, что ваш род прн дворах сделался придворным и вы научились, пестрые, как фламнчго, часамн стоять в мелководных прудах.

— Ибо *уменне* стоять есть заслуга у прндворных; н все прндворные верят, что к блаженству после смертн прннадлежнт — *позволенне сесть!* —

Также н не то, что дух, называемый нмн святым, вел вашнх предков в землн обетованные, которых я не хвалю: нбо где выросло худшее нз всех деревьев — крест,— в такой земле хвалить нечего! —

— И понстнне, куда бы нн вел этот «святой дух» своих рыцарей, всегда бежалн *впереди* такнх шествнй — козлы н гуси, безумцы н помешанные! —

О мон братья, не назад должен смотреть ваш арнсток-

ратнзм, а в п е р е д! Изгнанннками должиы вы быть из страны вашнх отцов!

С т р а н у в а ш и х д е т е й должиы вы любить: эта любовь да будет вашим новым арнстократизмом,— страну, еще не открытую, лежащую в самых далеких морях! И пусть ищут и нщут ее ваши корабли!

Свонмн детьми должны вы н с к у п и т ь то, что вы дети свонх отцов: все прошлое должиы вы спасти этнм путем! Эту иовую скрижаль ставлю я иад вами!

13

«К чему жить? Все — суета! Жнть — это молотить солому; жить — это сжигать себя и все-таки не согреться.» —

Эта старая болтовия все еще слывет за «мудрость»; за то, что стара оиа и пахиет затхлым, еще более уважают ее. Даже плесень облагораживает.—

Дети могли так говорить: оии б о я т с я огня, ибо он обжег их! Много ребяческого в старых киигах мудростн.

И кто всегда «молотит солому» — какое право имеет он хулить молотьбу! Таким глупцам следовало бы завязывать рот!

Оии садятся за стол и ничего не прниосят с собой, даже здорового голода; — и вот хулят оии: «Все — суета!»

Но хорошо есть и хорошо пнть, о мои братья; это, поистине, ие суетиое искусство! Разбейте, разбейте скрижали тех, кто иикогда ие радуется!

14

«Для чнстого все чнсто» — так говорит иарод. Но я говорю вам: для свиней все превращается в свнныо!

Поэтому нсступлениые и святоши, у которых даже сердце поникло, проповедуют: «Сам мир есть грязиое чудовище».

Ибо все оин не чисты духом; особенно те, кто не находят ни покоя, нн отдыха оттого, что ие видели онн мира с з а д н,— этн мечтающне о другом мире!

И м говорю я в лицо, хотя это и звучит непристойно: мир тем похож на человека, что и у него есть задняя часть,— н лншь и а с т о л ь к о это верио!

Существует в мире много грязн: — и это верно! Но поэтому сам мир не есть еще грязное чудовище!

Есть мудрость в том, что многое в мире дурио пах-

иет: ио само отвращение создает крылья н силы, угадывающне источинкн!

Даже в лучшем есть и нечто отвратительное; и даже лучшнй человек есть иечто, что дóлжио преодолеть! —

О мои братья, миого мудрости в том, что миого грязи есть в мире! —

15

Я слышал, как благочестивые мечтатели о другом мире говорили к своей совестн, и понстине, без злобы и лжи,— хотя и иет в мире иичего более лживого и злобного.

«Предоставь мнру быть миром! Не поднимай против него даже мизинца!»

«Пусть, кто хочет, душит и колет людей и сдирает с их кожу: ие подннмай против иего даже мизннца!» — Так учатся оии отрекаться от мнра.

«А свой собственный разум — ты должен сам задушнть его; ибо это разум мнра сего» — так учишься ты сам отрекаться от мнра.—

— Разбейте, разбейте, о мои братья, этн старые скрижалн благочестивых! Рассейте слова клеветинков на мнр!

16

«Кто миого учнтся, отучается от всякого сильиого желаиня» — так шепчут сегодня на всех темных улнцах.

«Мудрость утомляет, инчто — ие возиаграждается; ты ие должеи желать!» — эту иовую скрнжаль нашел я вывешенной даже иа открытых площадях.

Разбейте, о мои братья, разбейте и эту *иовую* скрнжаль! Утомлениые миром повеснлн ее н проповединки смерти н тюремщики: смотрите, это также есть проповедь, призывающая к рабству! —

Ибо они дурио училнсь, и далеко ие лучшему, и всему слишком рано, и всему слишком скоро: ибо оии плохо *ели* и потому получили этот испорчеииый желудок,—

— ведь нспорчеииый желудок есть их дух: *он* советует смерть! Ибо, поистиие, мои братья, дух *есть* желудок!

Жизнь есть нсточиик радости: ио в ком говорит испорчеииый желудок, отец скорби, для того все источиики отравлены.

Позиавать — это *радость* для того, в ком воля льва!

Но кто утомился, тот сам делается лншь «предметом воли», с иим играют все волиы.

И так бывает всегда с людьми слабыми: оии теряются на своих путях. И, иакоиец, усталость нх еще спрашивает: «К чему ходилн мы когда-то по дорогам? Везде все равно!»

Им приятио слышать, когда проповедуют: «Ничто не возиаграждается! Вы ие должиы желать!» Но ведь это проповедь, призывающая к рабству.

О мои братья, как дуновеиие свежего ветра, приходит Заратустра ко всем уставшим от нх пути; миогие иосы заставит ои еще чихать!

Даже сквозь стеиы проиикает мое свободное дыхаиие, входит в тюрьмы н плеиеииые умы!

«Хотеть» освобождает: ибо хотеть зиачнт созидать: так учу я. И т о л ь к о для сознданиия должиы вы учиться!

И даже учиться должиы вы сперва у меия у ч и т ь с я, хорошо учиться! — Имеющий уши да слышит!

17

Челн готов,— иа той стороне ты попадешь, быть может, в великое иичто.— Но кто хочет вступить в это «быть может»?

Никто из вас ие хочет вступить в чели смерти! Как же хотнте вы тогда быть у т о м л е и и ы м и м и р о м!

Утомлеииые миром! Вы даже еще ие отрешились от земли! Похотливыми иаходил я вас всегда в отиошении землн, еще влюблеииыми в собственное утомленне землею!

Недаром отвисла у вас губа: — малеииькое земное желанне еще сидит иа ией! А в глазу — разве ие плавает облачко незабытой земиой радости?

На земле есть много хороших изобретеиий, из иих одии полезиы, другне приятны: радн ннх стоит любнть землю.

И многие изобретеиия иастолько хороши, что являются, как грудь жеищииы: одиовремеиио полезиыми и приятиыми.

А вы, уставшие от мира и лениивые! Вас надо посечь розгами! Ударами розги иадо вернуть вам резвые иоги.

Ибо: если вы ие больиые н ие отжившие твари, от

которых устала земля, то вы хитрые лентяи или любители наслаждеиий, прожорливые и угрюмые. И если вы не хотите сиова весело б е ж а т ь, вы должиы — исчезиуть!

Не надо желать быть врачом неизлечимых: так учит Заратустра: — поэтому вы должны исчезиуть!

Но надо больше м у ж е с т в а для того, чтобы окончить, чем чтобы продолжать стихи: это зиают все врачи и поэты.—

18

О мои братья, есть скрижали, создаиные утомлением, и скрижали, созданные гнилой леностью: хотя говорят оии одинаково, но хотят, чтобы слушали их неодииаково.—

Посмотрите иа этого томящегося жаждой! Только одна пядь еще отделяет его от его цели, но от усталости лег ои здесь упрямо в пыли: этот храбрый!

От усталости зевает ои на путь, на землю, иа цель и на себя самого: ии одиого шагу не хочет сделать он дальше,— этот храбрый!

И вот солице палит его, и собаки лижут его пот: но он лежит здесь в своем упрямстве и предпочитает томиться жаждой: —

— иа расстоянии пяди от своей цели томиться жаждой! И поистиие, вам придется еще тащить его за волосы на его небо,— этого героя!

Но еще лучше — оставьте его лежать там, где ои лег, чтобы пришел к нему сон, утешитель, с шумом освежающего дождя.

Оставьте его лежать, пока ои сам ие просиется,— пока он сам ие откажется от всякой усталости и от всего, чему учила усталость в ием!

Только, мои братья, отгоиите от иего собак, ленивых проныр и весь шумящий сброд: —

— весь шумящий сброд людей «культуриых», который лакомится — по́том героев!—

19

Я замыкаю круги вокруг себя и священиые граиицы; все меньше подиимающихся со миою иа все более высокие горы: я строю хребет из все более священных гор.—

Но куда бы ни захотели вы подияться вместе со мной, о

мои братья: смотрите, чтобы не подиялся вместе с вами какой-нибудь п а р а з и т!

Паразит: это червь, пресмыкающийся и гибкий, желающий разжиреть в больных, израненных уголках вашего сердца.

И в том его искусство, что в подиимающихся душах он угадывает, где оии утомлены: в вашем горе и иедовольстве, в вашей нежной стыдливости строит он свое отвратительное гнездо.

Где снльиый бывает слаб, а благородиый слишком кроток,— там строит он свое отвратительное гнездо: паразит живет там, где у большого человека есть израненные уголки в сердце.

Какой род всего сущего самый высший и какой самый низший? Паразит самый низший род; но кто высшего рода, тот кормит наибольшее число паразитов.

Ибо душа, имеющая очень длинную лестницу и могущая опуститься очень низко: как не сидеть на ней наибольшему числу паразитов? —

— душа самая обшириая, которая далеко может бегать, блуждать н метаться в себе самой; самая необходимая, которая ради удовольствия бросается в случайность: —

— душа сущая, которая погружается в становление; имущая, которая х о ч е т войти в волю и в желанне: —

— убегающая от себя самой н широкими кругами себя догоняющая; душа самая мудрая, которую тихоиько приглашает к себе безумие: —

— наиболее себя любящая, в которой все вещи находят свой подъем и свое нисхождение, свой прилив и отлив: — о, как не быть в с а м о й в ы с о к о й д у ш е самым худшим нз паразитов?

20

О мон братья, разве я жесток? Но я говорю: что падает, то нужно еще толкиуть!

Все, что от сегодия — падает и разлагается: кто захотел бы удержать его! Но я — я х о ч у еще толкиуть его!

Знакомо ли вам наслаждение скатывать камни в отвесную глубиину?— Эти люди от сегодия: смотрите же на них, как они скатываются в мои глубины!

Я только прелюдия для лучших игроков, о мои братья! Пример! *Делайте* по моему примеру!

И кого вы не научите летать, того научите — *быстрее падать*! —

21

Я люблю храбрых: но недостаточно быть рубакой,— надо также знать, *кого* рубить!

И часто бывает больше храбрости в том, чтобы удержаться и пройти мимо: *чтобы* сохранить себя для более достойного врага!

Враги у вас должны быть только такие, которых вы ненавидели бы, а не такие, чтобы их презирать. Надо, чтобы вы гордились своим врагом: так учил я уже однажды.

Для более достойного врага должны вы беречь себя, о мои друзья: поэтому должны вы проходить мимо многого,—

— особенно мимо многочисленной черни, кричащей вам в уши о народе и народах.

Берегите свои глаза чистыми от их «за» и «против»! Там много справедливого, много несправедливого: кто заглянет туда, негодует.

Заглянуть и рубить — это дело одной минуты: поэтому уходите в леса и вложите свой меч в ножны!

Идите *своими* дорогами! И предоставьте народу и народам идти своими!— поистине, темными дорогами, не освещаемыми ни единой надеждой!

Пусть царствует торгаш там, где все, что еще блестит,— есть золото торгаша! Время королей прошло: что сегодня называется народом, не заслуживает королей.

Смотрите же, как эти народы теперь сами подражают торгашам: они подбирают малейшие выгоды из всякого мусора!

Они подстерегают друг друга, они высматривают что-нибудь друг у друга,— это называют они «добрым соседством». О блаженное далекое время, когда народ говорил себе: «Я хочу над народами — быть *господином*!»

Ибо, мои братья, лучшее должно господствовать, лучшее и *хочет* господствовать! И где учение гласит иначе, там — *нет* лучшего.

22

Если бы *эти* — имели хлеб даром, увы! о чем кричали бы *они*! Их пропитание — вот настоящая пища для их разговоров; и пусть оно трудно достается им!

Они хищные звери: в их слове «работать» — слышится еще и грабить, в их слове «заработать» — слышится еще и перехитрить! Поэтому пусть оно трудно достается им!

Так должны они стать лучшими хищными зверями, более хитрыми, более умными, более *похожими на человека*: ибо человек есть самый лучший хищный зверь.

У всех зверей человек уже ограбил добродетели их: поэтому из всех зверей человеку наиболее трудно достается пропитание его.

Только еще птицы выше его. И если бы человек научился еще и летать, увы! *куда* бы не залетела хищность его!

23

Я хочу видеть мужчину и женщину: одного способным к войне, другую способной к деторождению, но обоих способными к пляске головой и ногами.

И пусть будет потерян для нас тот день, когда ни разу не плясали мы! И пусть ложной назовется у нас всякая истина, у которой не было смеха!

24

Заключение ваших браков: смотрите, чтобы не вышло оно плохим *заключением*! Вы заключили слишком быстро: отсюда *следует* — нарушение брака!

И лучше еще нарушить брак, чем гнуться и лгать! — Так говорила мне одна женщина: «Да, я нарушила брак, но сперва брак сокрушил — меня!»

Плохих супругов находил я всегда самыми мстительными: они мстят целому миру за то, что уже не могут идти каждый отдельно.

Поэтому я хочу, чтобы честные говорили друг другу: «Мы любим друг друга: *посмотрим*, можем ли мы продолжать любить друг друга! Или союз наш будет ошибкою?»

«Дайте нам срок и недолгий союз, чтобы видели мы,

годимся ли мы для долгого союза! Великое дело — всегда быть вдвоем!»

Так советую я всем честным; и чем была бы любовь моя к сверхчеловеку и ко всему, что должно наступить, если бы я советовал и говорил иначе!

Не только множиться, но и расти *вверх* — о братья мои, да поможет вам сад супружества!

25

Кто умудрен в старых источниках, смотри, тот будет в конце концов искать родники будущего и новые источники.—

О мои братья, еще недолго, и возникнут *новые народы*, и новые родники зашумят, ниспадая в новые глубины.

Ибо землетрясение — засыпает много колодцев и создает многих томящихся жаждою: но оно же вызывает на свет внутренние силы и тайны.

Землетрясение открывает новые родники. При сотрясении старых народов вырываются новые родники.

И кто тогда восклицает: «Смотри, здесь единый родник для многих жаждущих, единое сердце для многих томящихся, единая воля для многих орудий»: — вокруг того собирается *народ*, то есть много испытующих.

Кто умеет повелевать, кто должен повиноваться — *это испытуется там*! Ах, каким долгим исканием, удачей и неудачею, изучением и новыми попытками!

Человеческое общество: это попытка, так учу я,— долгое искание: но оно ищет повелевающего! —

— попытка, о братья мои! Но не «договор»! Разбейте, разбейте это слово сердец мягких и нерешительных и людей половинчатых!

26

О братья мои! В ком же лежит наибольшая опасность для всего человеческого будущего? Не в добрых ли и праведных? —

— не в тех ли, кто говорят и в сердце чувствуют: «Мы знаем уже, что хорошо и что праведно, мы достигли этого; горе тем, кто здесь еще ищет!»

И какой бы вред ни нанесли злые: вред добрых самый вредный вред!

И какой бы вред ии иаиесли клеветиики иа мир: вред добрых самый вредиый вред.

О братья мои, в сердце добрых и праведиых воззрел иекогда Тот, кто тогда говорил: «Это — фарисеи». Но Его ие поияли.

Сами добрые и праведиые ие должиы были поиять Его; их дух в плеиу у их спокойиой совести. Глупость добрых иеизмеримо умиа.

Но вот истииа: добрые д о л ж и ы быть фарисеями — им иет другого выбора!

Добрые д о л ж и ы распииать того, кто иаходит себе свою собствеииую добродетель! Э т о — истииа!

Вторым же, кто открыл страиу их, страиу, сердце и землю добрых и праведиых: был тот, кто тогда вопрошал: «Кого иеиавидят оии больше всего?»

С о з и д а ю щ е г о иеиавидят оии больше всего: того, кто разбивает скрижали и старые цеииости, разрушителя,— кого иазывают оии преступииком.

Ибо добрые — и е м о г у т созидать: оии всегда начало коица: —

— оии распииают того, кто пишет иовые цеииости иа иовых скрижалях, оии прииосят с е б е в жертву будущее,— оии распииают все человеческое будущее!

Добрые — были всегда иачалом коица.—

27

О братья мои, поияли ли вы также и это слово? И что сказал я одиажды о «последием человеке»? —

В ком же лежит иаибольшая опасиость для всего человеческого будущего? Не в добрых ли и праведиых?

Р а з б е й т е, р а з б е й т е д о б р ы х и п р а в е д и ы х! — О братья мои, поияли ли вы также и это слово?

28

Вы бежите от меия? Вы испугаиы? Вы дрожите при этом слове?

О братья мои, когда я велел вам разбить добрых и скрижали добрых: тогда впервые пустил я человека плыть по его открытому морю.

И теперь только иаступают для иего великий страх, великая осмотрительиость, великая болезиь, великое отвращеиие, великая морская болезиь.

Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые; во лжи добрых были вы рождены и окутаны ею. Добрые все извратили и исказили до самого основания.

Но кто открыл землю «человек», открыл также и землю «человеческое будущее». Теперь должны вы быть мореплавателями, отважными и терпеливыми!

Ходите прямо вовремя, о братья мои, учитесь ходить прямо! Море бушует: многие нуждаются в вас, чтобы снова подняться.

Море бушует: все в море. Ну что ж! вперед! старые сердца моряков!

Что вам до родины! *Туда* стремится корабль наш, где *страна детей* наших! Там, на просторе, более неистово, чем море, бушует наше великое желание!—

29

«Почему ты такой твердый! — сказал однажды простой уголь алмазу.— Разве мы не близкие родственники?» —

Почему вы такие мягкие? О братья мои, так спрашиваю я вас: разве вы — не братья мои?

Почему же вы такие мягкие, такие уступчивые, такие податливые? Почему так много отрицания, отречения в сердце вашем? Так мало рокового во взоре вашем?

И если вы не хотите быть роковыми и неумолимыми: как могли бы вы вместе со мною — побеждать?

И если ваша твердость не хочет сверкать, резать и разбивать: как могли бы вы некогда вместе со мною — созидать?

Ибо созидающие тверды. И блаженством должно казаться вам налагать руку на тысячелетия, как на воск,—

— блаженством писать на воле тысячелетий, как на меди,— тверже, благороднее, чем на меди. Совсем твердым бывает только самое благородное.

Эту новую скрижаль, о братья мои, ставлю я над вами: *будьте тверды!*—

30

О воля моя! Ты, отдых от всякой нищеты, ты, необходимость *моя!* Предохрани меня от всяких маленьких побед!

Ты, случайность души моей, которую называю я судь-

бою! Ты во мие! Надо миою! Предохраин н сбереги меня для едниной велнкой судьбы!

И последнее велнчне свое, о воля моя, сохранн для конца,— чтобы была ты неумолнма в победе своей! Ах, кто не покорялся победе своей!

Ах, чей глаз не темнел в этнх опьяняющнх сумерках! Ах, чья нога не спотыкалась и ие разучалась в победе — стоять! —

Да буду я готов н зрел в велнкнй полдеиь: готов и зрел, как раскаленная добела медь, как туча, чреватая молнннямн, н как вымя, вздутое от молока: —

— готов для себя самого и для самой сокровенной воли своей: как лук, пламенеющнй к стреле своей, как стрела, пламенеющая к звезде своей:

— как звезда, готовая н зрелая в полдне своем, пылающая, проиезенная, блаженная перед уничтожающнми стреламн солнца: —

— как само солнце н неумолнмая воля его, готовая к уиичтоженню в победе!

О воля, отдых от всякой инщеты, ты, необходнмость м о я! Сохранн меня для едниной велнкой победы! —

Так говорнл Заратустра.

Выздоравливающий

1

Одиажды утром, вскоре после возвращення своего в пещеру, вскочнл Заратустра с ложа своего, как сумасшедшнй, стал крнчать ужасным голосом, махая рукамн, как будто кто лежал на ложе н ие хотел вставать; н так гремел голос Заратустры, что зверн его, испуганные, прибежали к нему, н нз всех иор и щелей, соседних с пещерой Заратустры, все животиые разбежались, улетая, уползая и прыгая, смотря по тому, к чему даны былн нм иоги и крылья нх. Заратустра же так говорнл:

— Вставай, бездоиная мысль, выходи нз глубнны моей! Я петух твой и утреииие сумерки твои, заспавшнйся червь: вставай! голос мой разбудит тебя!

Расторгин узы слуха твоего: слушай! Ибо я хочу слы-

шать тебя! Вставай! Вставай! Здесь достаточио грома, чтобы заставить и могилы прислушиваться!

Сотри сои, а также всякую близорукость, всякое ослеплеиие с глаз своих! Слушай меия даже глазами своими: голос мой — лекарство даже для слепорождеииых.

И когда ты просиешься, ты иавеки останешься бодрствующей. Не т а к о в я, чтобы, разбудив прабабушек ото сна, сказать им — чтобы продолжали они спать!

Ты шевелишься, потягиваешься и хрипишь? Вставай! Вставай! Не хрипеть — говорить должиа ты! Нечестивец Заратустра зовет тебя!

Я, Заратустра, защитиик жизни, защитиик страдаиия, защитиик круга — тебя зову я, самую глубокую из мыслей моих!

Благо мие! Ты идешь,— я слышу тебя! Бездиа моя г о в о р и т, свою последнюю глубииу извлек я иа свет!

Благо мне! Иди! Дай руку — ха! Пусти! Ха, ха,— отвращеиие! отвращеиие! отвращение — — горе мие!

2

Но едва Заратустра сказал слова эти, как упал замертво и долго оставался как мертвый. Придя же в себя, он был бледен, дрожал, продолжал лежать и долго ие хотел ни есть, ии пить. Такое состояние продолжалось в ием семь дией; звери его не покидали его ии дием, ии иочью, и только орел улетел, чтобы прииести пищи. И все, что ои находил и что случалось ему отиять силою, складывал ои на ложе Заратустры: так что Заратустра лежал, накоиец, среди желтых и красиых ягод, среди виограда, розовых яблок, благовоиных трав и кедровых шишек. У иог же его были простерты два ягиеика, которых орел с трудом отнял у пастухов их.

Наконец, после семи дней, подиялся Заратустра на своем ложе, взял в руку розовое яблоко, поиюхал его и нашел запах его приятиым. Тогда подумали звери его, что иастало время заговорить с иим.

«О Заратустра,— сказали оии,— вот уже семь дней, как лежишь ты с закрытыми глазами: не хочешь ли ты, иакоиец, опять подияться иа иоги?

Выйди из пещеры своей: мир ожидает тебя, как сад. Ветер играет тяжелым благоуханием, которое просится к

тебе; и все ручьи хотели бы бежать вслед за тобой.

Все вещи тоскуют по тебе, оттого что ты семь дней оставался один,— выйди из своей пещеры! Все вещи хотят быть твоими врачами!

Разве новое познание низошло к тебе, горькое, тяжелое? Подобно закисшему тесту, лежал ты, твоя душа поднялась и раздулась за свои пределы.» —

— О звери мои,— отвечал Заратустра,— продолжайте болтать и позвольте мне слушать вас! Меня освежает ваша болтовня: где болтают, там мир уже простирается предо мною, как сад.

Как приятно, что есть слова и звуки: не есть ли слова и звуки радуги и призрачные мосты, перекинутые через все, что разъединено навеки?

У каждой души особый мир; для каждой души всякая другая душа потусторонний мир.

Только между самым сходным призрак бывает всего обманчивее; ибо через наименьшую пропасть труднее всего перекинуть мост.

Для меня — как существовало бы что-нибудь вне меня? Нет ничего вне нас! Но это забываем мы при всяком звуке; и как отрадно, что мы забываем!

Имена и звуки не затем ли даны вещам, чтобы человек освежался вещами? Говорить — это прекрасное безумие: говоря, танцует человек на всех вещах.

Как приятна всякая речь и всякая ложь звуков! Благодаря звукам танцует наша любовь на пестрых радугах.—

«О Заратустра,— сказали на это звери,— для тех, кто думают, как мы, все вещи танцуют сами: все приходит, подает друг другу руку, смеется и убегает — и опять возвращается.

Все идет, все возвращается; вечно вращается колесо бытия. Все умирает, все вновь расцветает; вечно бежит год бытия.

Все погибает, все вновь устрояется; вечно строится тот же дом бытия. Все разлучается, все снова друг друга приветствует; вечно остается верным себе кольцо бытия.

В каждый миг начинается бытие; вокруг каждого «здесь» катится «там». Центр всюду. Кривая — путь вечности.» —

— О вы, проказники и шарманки! — ответил Зара-

тустра и снова улыбнулся.— Как хорошо знаете вы, что́ должно было исполниться в семь дней: —

— и как то чудовище заползло мне в глотку и душило меня! Но я откусил ему голову и отплюнул ее далеко от себя.

А вы,— вы уже сделали из этого уличную песнь? А я лежу здесь еще, утомленный этим откусыванием и отплевыванием, еще больной от собственного избавления.

И вы смотрели на все это? О звери мои, разве и вы жестоки? Неужели вы хотели смотреть на мое великое страдание, как делают люди? Ибо человек самое жестокое из всех животных.

Во время трагедий, боя быков и распятий он до сих пор лучше всего чувствовал себя на земле; и когда он нашел себе ад, ад сделался его небом на земле.

Когда большой человек кричит: — мигом подбегает к нему маленький; и язык висит у него изо рта от удовольствия. Но он называет это своим «состраданием».

Маленький человек, особенно поэт,— с каким жаром обвиняет он жизнь на словах! Слушайте его, но не прослушайте радости во всех жалобах его!

Это обвинители жизни: их побеждает жизнь в одно мгновение. «Ты любишь меня? — говорит дерзновенная.— Подожди же немного, у меня нет еще для тебя времени.»

Человек для себя самого самое жестокое животное; и во всем, что зовется «грешник», «несущий крест» и «кающийся», не прослушайте радости, примешанной к этим жалобам и обвинениям!

А я сам — не хочу ли я быть обвинителем человека? Ах, звери мои, только одному научился я до си́х пор, что человеку нужно его самое злое для его же лучшего,—

— что все самое злое есть его наилучшая *сила* и самый твердый камень для наивысшего созидателя; и что человек должен становиться лучше и злее: —

Не за то был я пригвожден к древу мучений, что я знаю, что человек зол,— но за то, что я кричал, как никто еще не кричал:

«Ах, его самое злое так ничтожно! Ах, его самое лучшее так ничтожно!»

Великое отвращение к человеку — *оно* душило меня и заползло мне в глотку: и то, что прорицатель предска-

зывал: «Все равно, ничто не вознаграждается, знание душит».

Долгие сумерки тянулись предо мною, смертельно усталая, пьяная до смерти печаль, которая говорила, зевая во весь рот.

«Вечно возвращается человек, от которого устал ты, маленький человек» — так зевала печаль моя, потягивалась и не могла заснуть.

В пещеру превратилась для меня человеческая земля, ее грудь ввалилась, все живущее стало для меня человеческой гнилью, костями и развалинами прошлого.

Мои вздохи сидели на всех человеческих могилах и не могли встать; мои вздохи и вопросы кричали, давились, грызли и жаловались день и ночь:

«Ах, человек вечно возвращается! Маленький человек вечно возвращается!»

Нагими видел я некогда обоих, самого большого и самого маленького человека: слишком похожи они друг на друга — еще слишком человек даже самый большой человек!

Слишком мал самый большой! — Это было отвращение мое к человеку! А вечное возвращение даже самого маленького человека! — Это было отвращение мое ко всякому существованию!

Ах, отвращение! отвращение! отвращение! — Так говорил Заратустра, вздыхая и дрожа, ибо он вспомнил о своей болезни. Но тут звери его не дали ему продолжать.

«Перестань говорить, о выздоравливающий! — так отвечали ему звери его.— Уходи отсюда и иди туда, где мир ожидает тебя, подобный саду.

Иди к розам, к пчелам и стаям голубей! В особенности же к певчим птицам: чтобы научиться у них п е т ь!

Ибо пение свойственно выздоравливающим; здоровый же пусть говорит. И если даже здоровый хочет песен, он хочет других песен, чем выздоравливающий.»

— О вы, проказники и шарманки, замолчите же!— отвечал Заратустра и смеялся над речью своих зверей.— Как хорошо знаете вы, какое утешение нашел я себе в эти семь дней!

Надо, чтобы снова я пел,— э т о утешение и э т о выз-

доровление иашел я себе: ие хотите ли вы и из этого тотчас сделать уличиую песиь?

«Перестаиь говорить,— отвечали ему во второй раз звери его.— Лучше, о выздоравливающий, сделай лиру себе, иовую лиру!

Ибо видишь, о Заратустра! Для твоих иовых песеи иужиа иовая лира.

Пой и шуми, о Заратустра, врачуй иовыми песиями свою душу: чтобы ты мог иести свою великую судьбу, которая ие была еще судьбою ии одного человека!

Ибо твои звери хорошо зиают, о Заратустра, кто ты и кем должеи ты стать: смотри, ты учитель вечиого возвращеиия,— в этом теперь твое иазиачеиие!

Ты должеи первым возвестить это учеиие,— и как же этой великой судьбе ие быть также и твоей величайшей опасиостью и болезиью!

Смотри, мы знаем, чему ты учишь: что все вещи вечио возвращаются и мы сами вместе с иими, и что мы уже существовали бескоиечиое число раз и все вещи вместе с иами.

Ты учишь, что существует великий год стаиовлеиия, чудовищио великий год: ои должеи, подобио песочиым часам, вечио сызиова поворачиваться, чтобы течь сызиова и опять стаиовиться пустым: —

— так что все эти годы похожи сами иа себя, в большом и малом,— так что и мы сами, в каждый великий год, похожи сами иа себя, в большом и малом.

И если бы ты захотел умереть теперь, о Заратустра: смотри, мы зиаем также, что стал бы ты тогда говорить к самому себе: — ио звери твои просят тебя ие умирать еще.

Ты стал бы говорить бестрепетио, вздохиув иесколько раз от блаженства: ибо великая тяжесть и уиыиие были бы сияты с тебя, о самый терпеливый! —

«Теперь я умираю и исчезаю,— сказал бы ты,— и через мгиовеиие я буду иичем. Души так же смертиы, как и тела.

Но связь причииности, в которую вплетеи я, опять возвратится,— оиа опять создаст меия! Я сам приiадлежу к причииам вечиого возвращеиия.

Я сиова возвращаюсь с этим солицем, с этой землею, с

этим орлом, с этой змеею — *не* к новой жизни, *не* к лучшей жизни, *не* к жизни, похожей на прежнюю:

— я буду вечно возвращаться к той же самой жизни, в большом и малом, чтобы снова учить о вечном возвращении всех вещей,—

— чтобы повторить слово о великом полдне земли и человека, чтобы опять возвестить людям о сверхчеловеке.

Я сказал свое слово, я разбиваюсь о свое слово: так хочет моя вечная судьба,— как провозвестник, погибаю я!

Час настал, когда умирающий благословляет самого себя. Так — *кончается* закат Заратустры.» —

Сказав это, звери умолкли и ждали, чтобы Заратустра что-нибудь сказал им: но Заратустра не слышал, что они умолкли. Он лежал тихо, с закрытыми глазами, как спящий, хотя и не спал он: ибо он разговаривал в это время со своею душой. Змея же и орел, видя его таким молчаливым, почтили великую тишину вокруг него и удалились осторожно.

О великом томлении

О душа моя, я научил тебя говорить «сегодня» так же, как «некогда» и «прежде», и водить свои хороводы над всеми «здесь», «там» и «туда».

О душа моя, я избавил тебя от всех закоулков, я отвратил от тебя пыль, пауков и сумерки.

О душа моя, я смыл с тебя маленький стыд и добродетель закоулков и убедил тебя стоять обнаженной пред очами солнца.

Бурею, называемой «духом», подул я на твое волнующееся море; все тучи прогнал я оттуда, я задушил даже душителя, называемого «грехом».

О душа моя, я дал тебе право говорить «нет», как буря, и говорить «да», как говорит «да» отверстое небо: теперь ты тиха, как свет, и спокойно проходишь через бури отрицания.

О душа моя, я возвратил тебе свободу над созданным и несозданным: и кто знает, как ты ее знаешь,— радость будущего?

О душа моя, я учнл тебя презренню, но не тому, что приходит, как червоточина, а великому, любящему презрению, которое больше всего любит там, где оно больше всего презирает.

О душа моя, я учил тебя так убеждать, чтобы ты самые основы притягивала к себе: подобно солнцу, убеждающему даже море подняться на его высоту.

О душа моя, я снял с тебя всякое послушание, коленопреклонение и раболепство; я сам дал тебе имена «отдых от нищеты» и «судьба».

О душа моя, я дал тебе новые имена н разноцветные нгрушки, я назвал тебя «судьбою», «пространством пространств», «пуповиной времени» н «лазоревым колоколом».

О душа моя, твоей почве дал я испить всю мудрость, все новые вина н даже все незапамятно старые, крепкне вина мудростн.

О душа моя, всякое солнце изливал я на тебя н всякую тьму, и всякое молчание, и всякое томление: — ты вырастала предо мной, как виноградный куст.

О душа моя, обнльной н тяжелой стоишь ты теперь, как виноградный куст со вздутыми сосцами и плотнымн темно-золотнстымн гроздьями: —

— стесненная н прндавленная своим счастьем, в ожндании избытка н стыдясь еще своего ожидання.

О душа моя, не существует теперь нигде другой души, более любящей, более объемлющей и более обширной! Где же будущее и прошедшее былн бы ближе друг к другу, как не у тебя?

О душа моя, я дал тебе все, и руки мон опустели нз-за тебя:— а теперь! Теперь говоришь ты мне, улыбаясь, полная тоскн: «Кто же из нас должен благодарнть? —

— должен лн благодарнть дающий, что берущий брал у него? Дарить — не есть лн потребность? Брать — не есть ли сострадание?» —

О душа моя, я понимаю улыбку твоей тоски: твое чрезмерное богатство само простирает теперь тоскующие руки!

Твой избыток бросает взоры на шумящее море, н нщет, и ждет; тоска от чрезмерного избытка смотрит из смеющегося неба твоих очей!

И поистине, о душа моя! Кто бы мог смотреть на твою улыбку н не обливаться слезамн? Сами ангелы

обливаются слезами от чрезмерной доброты твоей улыбки.

Твоя доброта, чрезмерная доброта, не хочет жаловаться и плакать: и все-таки, о душа моя, твоя улыбка хочет слез, и твои дрожащие уста — рыданий.

«Разве всякий плач не есть жалоба? И всякая жалоба не есть обвинение?» Так говоришь ты сама себе и потому хочешь ты, о душа моя, лучше улыбаться, чем изливать в слезах свое страдание —

— в потоках слез изливать все свое страдание об избытке своем и о потребности виноградника в виноградаре и ноже его!

Но если не хочешь ты плакать и выплакать свою пурпурную тоску, то ты должна *петь*, о душа моя! — Смотри, я сам улыбаюсь, предложивший тебе петь:

— петь громким голосом, пока не стихнут все моря, чтобы прислушаться к твоему томлению,—

— пока по тихим, тоскующим морям не поплывет челнок, золотое чудо, вокруг золота которого кружатся все хорошие, дурные, удивительные вещи: —

— и много животных, больших и малых, и все, что имеет легкие удивительные ноги, чтобы бежать по голубым тропам,—

— туда, к золотому чуду, к вольному челноку и хозяину его; но это — виноградарь, ожидающий с алмазным ножом,—

— твой великий избавитель, о душа моя, не имеющий имени,— которому лишь будущие песни найдут впервые имя! И поистине, уже благоухает твое дыхание будущими песнями,—

— уже пылаешь ты и грезишь, уже пьешь ты жадно из всех глубоких, звонких колодцев-утешителей, уже отдыхает твоя тоска в блаженстве будущих песен! —

О душа моя, теперь я дал тебе все и даже последнее свое, и мои руки опустели из-за тебя: — *в том, что я приказал тебе петь*, был последний мой дар!

За то, что я приказал тебе петь, скажи же, скажи: кто из нас должен теперь — благодарить?— Но еще лучше: пой мне, пой, о душа моя! И предоставь мне благодарить! —

Так говорил Заратустра.

Другая песнь-пляска

1

«В твои глаза заглянул я недавно, о жизнь: золото блистало в твоих темных, как ночь, глазах,— мое сердце остановилось перед этой негою:

— золотой челнок блистал на ночных водах, ныряющий, всплывающий, манящий золотой челнок-качалка!

На мою ногу, страстно желающую пляски, бросала ты взор смеющийся, вопрошающий, расплавляющий. взор-качалку:

Только дважды тронула ты свою погремушку маленькими ручками — и уже закачалась моя нога в страстном желании пляски.—

Мои пятки поднимались, пальцы моих ног прислушивались, чтобы понять тебя: ведь у танцора уши — в пальцах ног его!

К тебе прыгнул я: ты попятилась от прыжка моего; и навстречу мне засвистели змейки развивающихся волос твоих!

От тебя и от змей твоих отпрыгнул я: и вот ты стояла уже полуобернувшись, с глазами, полными желаний.

Косыми взглядами — учишь ты меня кривым путям; на кривых путях научается нога моя — коварству!

Я боюсь тебя вблизи, я люблю тебя вдали; твое бегство манит меня, твое искание останавливает меня:— я страдаю, но чего бы охотно не вынес я из-за тебя!

Чей холод воспламеняет, чья ненависть соблазняет, чье бегство связывает, чья насмешка — волнует:

— кто мог бы ненавидеть тебя, великая, связывающая, опутывающая, искушающая, ищущая и находящая! Кто мог бы не любить тебя, невинная, нетерпеливая, стремительная грешница с глазами ребенка!

Куда влечешь ты меня теперь, чудо мое и неукротимая моя? И вот убегаешь ты опять от меня, милая, дикая, неблагодарная шалунья!

Я танцую, следую по пятам за тобой. Где ты? Дай мне руку! Или хотя бы палец!

Здесь пещеры и заросли: мы заблудимся! — Стой! Подожди! Разве ты не видишь, как мелькают совы и летучие мыши?

Ты сова! Ты летучая мышь! Ты хочешь дразнить меня? Где мы? У собак научилась ты так выть и лаять.

Ты мило скалишь на меня белые зубки, твои злые глаза сверкают на меня из-под кудрей твоих!

Какая пляска по пням и камням! Я охотник,— хочешь ли ты быть собакой или серной моей?

Теперь ко мне! И живее, злая прыгунья! Вверх! И на ту сторону! — Горе! Прыгнув, я сам упал!

— О, смотри, как растянулся я! смотри, дерзкая, как молю я тебя о пощаде! Охотно пошел бы я с тобою — более приятными тропами!

— тропами любви мимо молчаливых пестрых кустарников! Или там, берегом озера: там плавают и танцуют золотые рыбки!

Ты устала теперь? Смотри: на той стороне овцы и вечерние зори: разве не чудо заснуть под звуки пастушьей свирели?

Ты очень устала? Я понесу тебя туда, опусти только руки! И если ты чувствуешь жажду,— я бы нашел, чем напоить тебя, но ты не хочешь этого пить! —

— О, эта проклятая змея, эта быстрая, проворная чародейка! Куда девалась ты? Но на своем лице чувствую я от твоей руки два красных пятна!

Поистине, я устал быть постоянно твоим овечьим пастухом! Для тебя, чародейка, пел я до сих пор, теперь *ты* должна для меня — кричать!

Под такт моей плетки должна ты плясать и кричать! Я не забыл ведь о плетке? — Нет!» —

2

Так отвечала мне жизнь и при этом заткнула изящные уши свои:

«О Заратустра! Не щелкай так страшно своей плеткой! Ты ведь знаешь: шум убивает мысли,— а сейчас пришли ко мне такие нежные мысли.

Мы оба не годимся ни для добра, ни для зла. По ту сторону добра и зла обрели мы остров свой и зеленый луг свой — мы одни, вдвоем! Уже поэтому мы должны любить друг друга!

А если мы и не любим друг друга от всей души,— то разве следует сердиться, что не любишь от всей души?

А что я люблю тебя и часто даже слишком люблю,—

это знаешь ты: и есть основание у меня ревновать тебя к твоей мудрости. Ах, эта старая безумная мудрость!

Если твоя мудрость когда-нибудь убежит от тебя, ах! тогда и любовь моя также быстро убежит от тебя».—

Тут жизнь задумчиво оглянулась кругом и тихо сказала: «О Заратустра, ты недостаточно верен мне!

Ты любишь меня далеко не так сильно, как говоришь; я знаю, ты думаешь о том, чтобы скоро покинуть меня.

Существует старый, тяжелый, очень тяжелый колокол-ревун: он ревет по ночам вплоть до самой пещеры твоей:—

— когда ты слышишь, как этот колокол в полночь бьет часы, ты думаешь между часом и двенадцатью о том —

— ты думаешь о том, о Заратустра, я знаю это, чтобы скоро покинуть меня!» —

«Да,— отвечал я нерешительно,— но ты знаешь также — —» И я сказал ей нечто на ухо, прямо в ее спутанные, желтые, безумные пряди волос.

«Ты *знаешь* это, о Заратустра? Этого никто не знает» —

И мы смотрели друг на друга и бросали свои взоры на зеленый луг, по которому только что пробежала вечерняя прохлада, и оба мы плакали.— И в тот раз жизнь была мне милее, чем когда-либо вся мудрость моя.—

Так говорил Заратустра.

3

Раз!
О друг, вникай!
Два!
Что полночь говорит? внимай!
Три!
«Был долог сон,—
Четыре!
Глубокий сон, развеян он: —
Пять!
Мир — глубина,

Ш е с т ь!
Глубь эта дню едва видна.
С е м ь!
Скорбь мира эта глубина,—
В о с е м ь!
Но радость глубже, чем она:
Д е в я т ь!
Жизнь гонит скорби тень!
Д е с я т ь!
А радость рвется в вечный день,—
О д и н н а д ц а т ь!
В желанный вековечный день!
Д в е н а д ц а т ь!

Семь печатей
(Или: песнь о «да» и «аминь»)

1

Если я прорицатель н полон того пророческого духа, что носнтся над высокой скалой между двух морей —

— носнтся между прошедшим и будущим, как тяжелая туча,— враждебиый удушливым низменостям и всему, что устало и ие может нн умереть, ии жнть:

готовый к молиии в темиой груди и к лучу избавляющего света, чреватый молиямн, которые говорят «да» н смеются, готовый к пророческим молинеиосным лучам: —

— но блажен, кто так чреват! И понстиие, кто должен некогда зажечь свет будущего, должен долго висеть, как тяжелая туча, иа вершиие скалы! —

О, как же ие стремиться мие страстио к вечиостн н к брачиому кольцу колец,— к кольцу возвращеиия!

Никогда еще не встречал я жеищииы, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той жеищииы, что люблю я: нбо я люблю тебя, о вечиость!

И б о я л ю б л ю т е б я, о в е ч н о с т ь!

2

Если гнев мой некогда разрушал могилы, двигал пограннчные столбы и скатывал старые разбнтые скрижали в отвесную пропасть:

Еслн насмешка моя некогда сметала, как сор, истлевшне слова и я приходнл, как метла для пауков-кресто-

виков, и как очистительный ветер для старых, удушливых склепов:

Если некогда сидел я, ликуя, на месте, где погребеиы были старые боги, благословляя мир, любя мир, возле памятников старым клеветникам иа мир:—

— ибо даже церкви и могилы бога люблю я, когда иебо смотрит ясным оком сквозь разрушенные своды их; я люблю сидеть на разрушенных церквах, как трава и красный мак,—

О, как же ие стремиться мне страстио к вечиости и к брачному кольцу колец,— к кольцу возвращеиия!

Никогда еще ие встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о вечность!

Ибо я люблю тебя, о вечность!

3

Если некогда дыхание нисходило на меня от дыхания творческого и от той небесной иеобходимости, что принуждает даже случаи водить звездные хороводы:

Если некогда смеялся я смехом созидающей молнии, за которой, гремя, но с покорностью, следует долгий гром действия:

Если некогда за божественным столом земли играл я в кости с богами, так что земля дрожала и трескалась, изрыгая огнеиные реки: —

— ибо земля есть божественный стол, дрожащий от иовых творческих слов и от шума игральиых костей: —

О, как же ие стремиться мне страстно к вечности и к брачиому кольцу колец,— к кольцу возвращения!

Никогда еще ие встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той жеищииы, что люблю я: ибо я люблю тебя, о вечиость!

Ибо я люблю тебя, о вечность!

4

Если иекогда одиим глотком выпивал я пеиящийся кубок с пряною смесью, где все вещи хорошо перемешаиы:

Если иекогда рука моя подливала самое дальнее к самому близкому и огонь — к духу, радость — к страдаиию и самое худшее — к самому лучшему:

Если сам я — крупиика той избавляющей соли, что

заставляет все вещи хорошо перемешиваться в кубке для смеси: —

— ибо бывает соль, связующая добро со злом; и даже самое злое достойно быть приправой и пениться в кубке: —

О, как же не стремиться мне страстио к вечности и к брачному кольцу колец,— к кольцу возвращения!

Никогда еще не встречал я женщнны, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщнны, что люблю я: ибо я люблю тебя, о вечность!

Ибо я люблю тебя, о вечность!

5

Если я люблю море и все, что похоже иа море, и больше всего, когда оно гиевио противоречит мие:

Если есть во мне та радость нскателя, что гоинт корабль к еще ие открытому, если есть в моей радости радость мореплавателя:

Если некогда ликование мое восклицало: «Берег нсчез — теперь пали с меня последиие цепи: —

— беспредельиость шумнт вокруг меня, вдали от меня блестит простраиство и время, иу что ж! вперед! старое сердце!» —

О, как же ие стремиться мие страстио к вечности и к брачному кольцу колец,— к кольцу возвращеиия!

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о вечность!

Ибо я люблю тебя, о вечиость!

6

Если добродетель моя — добродетель танцора, и часто прыгал я обеимн иогамн в золотисто-изумрудный восторг:

Еслн моя злоба — злоба смеющаяся, живущая под кустамн роз и под изгородью из лилнй:

— ибо в смехе все злое собрано вместе, но призиаио священиым и оправдано своим собственным блажеиством: —

И если в том альфа и омега моя, чтобы все тяжелое стало легким, всякое тело — танцором, всякнй дух — птицею: а поистине, в этом альфа и омега моя! —

О, как же не стремиться мне страстно к вечности и к брачному кольцу колец,— к кольцу возвращения!

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о вечность!

Ибо я люблю тебя, о вечность!

7

Если некогда простирал я тихие небеса над собою и летал на собственных крыльях в собственные небеса свои:

Если я плавал, играя, в глубокой светлой дали, и прилетала птица-мудрость свободы моей: —

— ибо так говорит птица-мудрость: «Знай, нет ни верха, ни низа! Бросайся всюду вверх и вниз, ты, свободный от тяжести! Пой! перестань говорить!

— разве все слова сделаны не для тех, кто под действием тяжести? Не лгут ли все слова тому, кто свободен от тяжести? Пой! перестань говорить!» —

О, как же не стремиться мне страстно к вечности и к брачному кольцу колец,— к кольцу возвращения!

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о вечность!

Ибо я люблю тебя, о вечность!

Часть четвертая и последняя

Ах, где в мире совершалось больше безумия, как не среди сострадательных? И что в мире причиняло больше страдания, как не безумие сострадательных?

Горе всем любящим, у которых нет более высокой вершины, чем жалость их!

Так говорил мне однажды демон: «Даже у бога есть свой ад: это любовь его к людям».

И недавно я слышал, как говорил он такие слова: «Бог умер; от сострадания своего к людям умер бог».

«Заратустра». Часть вторая

Жертва медовая

И снова бежали месяцы и годы над душой Заратустры, и он не замечал их; но волосы его побелели. Однажды, когда он сидел на камне перед пещерой своей и молча смотрел вдаль — ибо отсюда взгляд скользил по морю и далеко прочь, поверх вздымавшихся пучин,— звери его задумчиво ходили вокруг него и, наконец, остановились перед ним.

«О Заратустра,— сказали они,— не высматриваешь ли ты счастья своего?» — «Что мне до счастья! — отвечал он.— Я давно уже не стремлюсь к счастью, я стремлюсь к своему делу.» — «О Заратустра,— снова заговорили звери,— это говоришь ты, как тот, кто пресыщен добром. Разве не лежишь ты в лазоревом озере счастья?» — «Хитрецы,— отвечал Заратустра с улыбкой,— как удачно выбрали вы сравнение! Но вы знаете также, что счастье мое тяжело и не похоже на подвижную волну: оно гнетет меня и не отстает от меня, прилипнув, как растопленная смола».

Тогда звери продолжали задумчиво ходить вокруг него и затем снова остановились перед ним. «О Заратустра,— сказали они,— так в о т п о ч е м у ты сам становишься все желтее и темнее, хотя волосы твои хотят казаться белыми, похожими на лен? Смотри же, ты сидишь в своей смоле!» — «Что говорите вы, звери мои,— сказал Заратустра, смеясь,— поистине, я клеветал, говоря

о смоле. Что происходит со мною, бывает со всеми плодами, которые созревают. Это *мед* в моих жилах делает мою кровь более густой и мою душу более молчаливой.» — «Должно быть, так, о Заратустра,— отвечали звери, приближаясь к нему.— Но не хочешь ли ты сегодня подняться на высокую гору? Воздух чист, и сегодня можно видеть из мира больше, чем когда-либо.»— «Да, звери мои,— отвечал Заратустра,— вы даете прекрасный совет, и он мне по сердцу: я хочу сегодня подняться на высокую гору! Но позаботьтесь, чтобы там мед был у меня под руками, золотой сотовый мед, желтый и белый, хороший и свежий, как лед. Ибо знайте, я хочу там наверху принести жертву медовую.» —

Но когда Заратустра был на вершине, отослал он домой зверей, провожавших его, и нашел, что теперь он один: — тогда засмеялся он от всего сердца, огляну лся кругом и так говорил:

— Я говорил о жертвах и о медовых жертвах; но это было только уловкою речи моей и, поистине, полезным безумием! Здесь наверху я могу говорить уже свободнее, чем перед пещерами отшельников и домашними животными их.

Что говорил я о жертвах! Я расточаю, что дарится мне, я расточитель с тысячью рук: как бы мог я называть это — жертвоприношением! —

И когда я хотел меда, хотел я лишь приманки и сладкого густого сока, которым лакомятся ворчуны-медведи и странные, угрюмые, злые птицы:

— лучшей приманки, в какой нуждаются охотники и рыболовы. Ибо если мир похож на темный лес, населенный зверями, на сад для услады всех диких охотников, то, по-моему, он еще больше и скорее похож на бездонное богатое море,

— на море, полное разноцветных рыб и раков, из-за которого сами боги пожелали бы стать рыболовами и закинуть сети свои: так богат мир странностями, большими и малыми!

Особенно человеческий мир, человеческое море:— в *него* закидываю я теперь свою золотую удочку и говорю: разверзнись, человеческая бездна!

Разверзнись и выброси мне твоих рыб и сверкающих

раков! Своей лучшей притравою приманиваю я сегодня самых удивительных человеческих рыб!

— само счастье свое закидываю я во все страны, на восток, на юг и на запад, чтобы видеть, много ли человеческих рыб будет учиться дергаться и биться на кончике счастья моего.

Пока они, закусив острые, скрытые крючки мои, не будут вынуждены подняться на высоту мою, самые пестрые пескари глубин — к злейшему ловцу человеческих рыб.

Ибо *таков* я от начала и до глубины, притягивающий, привлекающий, поднимающий и возвышающий, воспитатель и наставник, который некогда не напрасно говорил себе: «Стань таким, каков ты есть!»

Пусть же люди поднимаются *вверх* ко мне: ибо жду я еще знамения, что час нисхождения моего настал, еще сам я не умираю, как я должен, среди людей.

Поэтому жду я здесь, хитрый и насмешливый, на высоких горах, не будучи ни нетерпеливым, ни терпеливым, скорее, как тот, кто разучился даже терпению,— ибо он не «терпит» больше.

Ибо судьба моя дает мне время: не забыла ли она меня? Или сидит она за большим камнем в тени и ловит мух?

И поистине, я благодарен вечной судьбе моей, что она не гонит, не давит меня и дает мне время для шуток и злобы: так что сегодня для рыбной ловли поднялся я на эту высокую гору.

Ловил ли когда-нибудь человек рыб на высоких горах? И пусть даже будет безумием то, чего я хочу здесь наверху и что делаю: все-таки это лучше, чем если бы стал я там внизу торжественным, зеленым и желтым от ожидания —

— гневно надутым от ожидания, как завывание священной бури, несущейся с гор, как нетерпеливец, который кричит в долины: «Слушайте, или я ударю вас бичом божьим!»

Не потому, чтобы я сердился на этих негодующих: они хороши лишь для того, чтобы мне посмеяться над ними! Я понимаю, что нетерпеливы они, эти большие шумящие барабаны, которым слово принадлежит сегодня или уже никогда!

Но я и судьба моя — мы не говорим к «сегодня», мы

не говорим также к «нникогда»: у нас есть терпенье, чтобы говорнть, н время, и даже слишком много времени. Ибо некогда он должен же придти и не может не придтн.

Кто же должен некогда прндтн н не может не прндти? Наш велнкнй случай, наше великое, далекое Царство Человека, царство Заратустры, которое продолжнтся тысячу лет.—

Далека лн еще эта даль? что мне до этого! Она оттого не менее твердо стонт для меня,— обенми ногами крепко стою я на этой почве,

— на вечной основе, на твердом вековом камне, на этой самой высокой, самой твердой первобытной горе, где сходятся все ветры, как у грани бурь, вопрошая «где? откуда? куда?».

Здесь смейся, смейся, моя светлая, здоровая злоба! С высоких гор бросай вниз свой сверкающий, презрительный смех! Примани мне своим сверканнем самых прекрасных человеческих рыб!

И что во всех морях прннадлежнт м н е, что мое и для меня во всех вещах,— э т о выуди мне, э т о приведи на высоту мою: этого жду я, злейший нз всех ловцов рыб.

Дальше, дальше, удочка моя! Опускайся глубже, приманка счастья моего! Источай по каплям сладчайшую росу свою, мед сердца моего! Впивайся, моя удочка, в нутро всякой черной скорбн!

Смотри вдаль, глаз мой! О, как много морей вокруг меня, сколько зажнгающнхся человеческих жнзней! А надо мной — какая розовая тишина! Какое безоблачное молчанне!

Крик о помощи

На следующий день Заратустра опять сидел на камне своем перед пещерою, в то время как звери его блуждали по свету, чтобы принестн домой новую пищу,— а также и новый мед: ибо Заратустра истратил старый мед до последней капли. Но пока он так сидел, с посохом в руке, н рнсовал свою тень на земле, погруженный в размышление, и поистине! не о себе и не о тени своей,— он внезапно испугался и вздрогнул: ибо он увидел рядом со своею тенью еще другую тень. И едва он успел огля-

нуться и быстро встать, как увидел вблизи себя прорицателя, того самого, которого он однажды кормил и поил за столом своим, провозвестника великой усталости, учившего: «Все одинаково, не стоит ничего делать, в мире нет смысла, знание душит». Но тем временем изменилось лицо его; и когда Заратустра взглянул ему в глаза, вторично испугалось сердце его: так много дурных предсказаний и пепельно-серых молний пробежало по этому лицу.

Прорицатель, почувствовавший, что́ произошло в душе Заратустры, провел рукою по лицу своему, как бы желая стереть его; то же сделал и Заратустра. И когда они оба молча так привели себя в порядок и подкрепили себя, они подали друг другу руки, чтобы показать, что желают узнать один другого.

«Милости просим, предсказатель великой усталости,— сказал Заратустра,— ты не напрасно однажды был гостем за моим столом. Также и сегодня ешь и пей у меня, и прости, если веселый старик сядет за стол вместе с тобою!» — «Веселый старик? — отвечал прорицатель, качая головою.— Но кем бы ты ни был или кем бы ни хотел быть, о Заратустра, тебе недолго оставаться здесь наверху,— твой челн скоро не будет лежать на суше!» — «Разве я лежу на суше?» — спросил Заратустра, смеясь. «Волны вокруг горы твоей,— отвечал прорицатель,— все поднимаются и поднимаются, волны великой нищеты и печали: скоро они поднимут челн твой и унесут тебя отсюда.»— Заратустра молчал и удивлялся. «Разве ты еще ничего не слышишь?— продолжал прорицатель.— Не доносятся ли шум и клокотанье из глубины?» — Заратустра снова молчал и прислушивался: тогда он услыхал долгий, протяжный крик, который пучины перебрасывали одна другой, ибо ни одна из них не хотела оставить его у себя: так гибельно звучал он.

«Роковой провозвестник,— сказал наконец Заратустра,— это крик о помощи, крик человека, он очевидно, исходит из черного моря. Но что мне за дело до человеческой беды! Последний грех, оставленный мне,— знаешь ли ты, как называется он?»

«С о с т р а д а н и е! — отвечал прорицатель от полноты сердца и поднял обе руки.— О Заратустра, я иду, чтобы ввести тебя в твой последний грех!»

И едва произнесены были эти слова, как вторично

раздался крнк, более протяжиый и тоскливый, чем прежде, и уже гораздо блнже. «Слышишь? слышншь, о Заратустра? — крнчал прорнцатель.— К тебе обращеи этот крнк, тебя зовет он: приходн, прнходн, прнходи, время иастало, нельзя терять ин миіуты!» —

Но Заратустра молчал, смущеииый и потрясенный; наконец он спроснл, как тот, кто колеблется в себе самом: «А кто тот, который там зовет меня?»

«Но ты ведь знаешь его,— с раздраженнем отвечал прорнцатель,— зачем же ты притворяешься? Это высшнй человек взывает к тебе!»

«Высшнй человек? — восклнкиул Заратустра, объятый ужасом.— Чего хочет ои? Чего хочет он? Высшнй человек! Чего хочет он здесь?» — и тело его покрылось пóтом.

Но прорнцатель ие отвечал иа испуг Заратустры, а продолжал прислушнваться к пучнне. Когда же там надолго водворнлась тншина, ои огляиулся и увидел, что Заратустра стонт по-прежиему и дрожит.

«О Заратустра,— начал он печальным голосом,— ты стоншь не так, как тот, кого счастье заставляет кружнться: ты должеи будешь плясать, чтобы ие упасть иавзннчь.

И еслн бы даже ты н захотел плясать предо мною и проделывать прыжкн свон во все стороны: все-такн ннкто не мог бы сказать мие: «Смотрн, вот пляшет последннй веселый человек!»

Напрасно подннмался бы иа эту вершнну тот, кто нскал бы его здесь: он иашел бы пещеры н тайннкн для скрывшнхся, но не нашел бы нн шахт н сокровнщннц счастья, ни новых золотых жил его.

Счастье — разве можио иайти счастье у этих, зажнво погребенных и отшельииков! Неужели должеи я искать последнего счастья иа блажеииых островах и далеко среди забытых морей?

Но все одннаково, ие стóит инчего делать, тщетны все понски, не существует больше н блаженных островов!» —

Так вздыхал прорнцатель; ио при последием вздохе его сделался Заратустра опять светел н уверен, как тот, кто из глубокой пропасти выходит иа свет. «Нет! Нет! Трижды иет! — воскликиул он твердым голосом и погладнл себе

бороду.— *Это* знаю я лучше! Существуют еще блаженные острова! Не говори об *этом*, ты, вздыхающий мешок печали!

Перестань журчать об *этом*, ты, дождевое облако перед полуднем! Разве я еще не промок от печали твоей, как облитая водою собака?

Теперь я встряхнусь и убегу от тебя, чтобы просохнуть: этому ты не должен удивляться! Не кажусь ли я тебе невежливым? Но здесь *мои* владения.

Что же касается твоего высшего человека: ну что ж! я мигом поищу его в этих лесах: *оттуда* раздавался крик его. Быть может, его преследует какой-нибудь лютый зверь.

Он в *моих* владениях: здесь не должно случиться с ним несчастья! И поистине, есть много лютых зверей у меня.»—

С этими словами Заратустра хотел уйти. Тогда сказал прорицатель: «О Заратустра, ты — плут!

Я знаю: ты хочешь отделаться от меня! С бо́льшим удовольствием побежишь ты в леса и будешь охотиться на диких зверей!

Но поможет ли это тебе? Вечером все-таки я буду у тебя; в твоей собственной пещере буду я сидеть, терпеливый и тяжелый, как колода,— и поджидать тебя!»

«Пусть будет так! — крикнул Заратустра уходя.— И что мое в пещере моей, принадлежит и тебе, дорогому гостю моему!

Если же ты найдешь в ней еще мед, ну что ж! полижи его, ты, ворчливый медведь, и услади душу свою! Ибо к вечеру оба мы будем веселы.

— веселы и довольны, что день этот кончился! И ты сам должен будешь плясать под песни мои, как ученый медведь мой.

Ты не веришь этому? Ты качаешь головой? Ну что ж! Ступай! Старый медведь! Но *и я* — прорицатель.» —

Так говорил Заратустра.

Беседа с королямн

1

Заратустра ие ходнл еще н часу в горах и лесах своих, как вдруг увидел ои страииое шествне. Как раз по дороге, с которой ои думал спуститься, шли два короля, украшеииые короиами н красными поясами и пестрые, как птица фламииго: оин гналн перед собой нагружеииого осла. «Чего хотят эти королн в царстве моем?» — с удивлеиием проговорил Заратустра в сердце своем и быстро спрятался за куст. Но когда короли подошли близко к нему, он сказал вполголоса, как тот, кто говорнт сам с собой: «Странно! Страиио! Как согласовать это? Я вижу двух королей — и только одного осла!»

Тогда оба короля остаиовилнсь, улыбнулись, посмотрели в ту сторону, откуда исходил голос, и затем взглянули друг другу в лнцо. «Так думают миогне и у нас,— сказал король направо,— ио ие высказывают это.»

Король иалево пожал плечамн н ответнл: «Это, должио быть, козий пастух. Или отшельиик, слишком долго жнвшнй средн скал и деревьев. Ибо отсутствие всякого общества тоже портит добрые иравы».

«Добрые иравы? — с негодоваиием н горечью возразил другой король.— От кого же стороиимся мы? Не от «добрых ли иравов»? Не от нашего ли «хорошего общества»?

Поистине, уж лучше жить средн отшельников и козьих пастухов, чем средн иашей раззолочеииой, лживой, нарумяиеииой черии,— хотя бы оиа н называла себя «хорошнм обществом»,

— хотя бы она называла себя «аристократней». Но в ней все лживо н гнило иачииая от крови — благодаря застарелым дуриым болезиям н еще более дурным исцелителям.

Я предпочитаю ей и считаю лучше ее здорового крестьяниииа, грубого, хнтрого, упрямого н выиосливого: сегодия это самый благородиый тип.

Крестьяиии сегодия лучше всех других; и крестьянский тип должеи бы быть господииом! И, одиако, теперь царство толпы,— я не позволяю себе более обольщаться. Но толпа зиачит: всякая всячииа.

Толпа — это всякая всячина: в ней все перемешано, и святой и негодяй, и дворянин и еврей, и все животные из Ноева ковчега.

Добрые нравы! Все у нас лживо и гнило. Никто уже не умеет благоговеть: э т о г о именно мы все избегаем. Это заискивающие, назойливые собаки, они золотят пальмовые листья.

Отвращение душит меня, оттого что мы, короли, сами стали поддельными, что мы обвешаны и переодеты в старый, пожелтевший прадедовский блеск, что мы лишь показные медали для глупцов и пройдох и для всех тех, кто ведет сегодня торговлю с властью!

Мы не первые — и, однако, надо, чтобы мы к а з а л и с ь первыми: мы устали и пресытились, наконец, этим обманом.

От толпы отстранились мы, от всех этих крикунов и пишущих мух, от запаха торгашей, от борьбы честолюбий и от зловонного дыхания: — тьфу, жить среди толпы, — тьфу, среди толпы казаться первыми! Ах, отвращение! отвращение! отвращение! Какое значение имеем еще мы, короли!» —

«Твоя старая болезнь возвращается к тебе,— сказал тут король налево,— отвращение возвращается к тебе, мой бедный брат. Но ты ведь знаешь, кто-то подслушивает нас.»

И тотчас же вышел Заратустра из убежища своего, откуда он с напряженным вниманием слушал эти речи, подошел к королям и начал так:

«Кто вас слушает, вас слушает охотно, вы, короли, и зовется Заратустрой.

Я — Заратустра, который однажды сказал: «Какое значение имеют еще короли!» Простите, я обрадовался, когда вы сказали друг другу: «Что нам до королей!»

Но здесь м о е царство и мое господство: чего могли бы вы искать в моем царстве? Но, быть может, дорогою нашли вы то, чего я ищу: высшего человека».

Когда короли услыхали это, они ударили себя в грудь и сказали в один голос: «Мы узнаны!

Мечом этого слова рассекаешь ты густейший мрак нашего сердца. Ты открыл нашу скорбь, ибо, видишь ли! мы пустились в путь, чтобы найти высшего человека —

— человека, который выше нас: хотя мы и короли. Ему

ведем мы этого осла. Ибо высший человек должен быть на земле и высшим повелителем.

Нет более тяжкого несчастья во всех человеческих судьбах, чем если сильные земли не суть также и первые люди. Тогда все становится лживым, кривым и чудовищным.

И когда они бывают даже последними и более скотами, чем людьми: тогда поднимается и поднимается толпа в цене и, наконец, говорит даже добродетель толпы: «Смотри, лишь я добродетель!» —

«Что слышал я только что? — отвечал Заратустра.— Какая мудрость у королей! Я восхищен, и поистине, мне очень хочется облечь это в рифмы: —

— это будут, быть может, рифмы, которые не годятся для ушей каждого. Я разучился давно уже обращать внимание на длинные уши. Ну что ж! Вперед!

(Но тут случилось, что и осел также заговорил — он сказал отчетливо и со злым умыслом: И-А.)

Однажды — в первый год по Рождестве Христа —
Сивилла пьяная (не от вина) сказала:
«Горе, горе, как все ныне низко пало!
Какая всюду нищета!
Стал Рим большим публичным домом,
Пал цезарь до скота, еврей стал — богом!»

2

Короли наслаждались этими рифмами Заратустры; но король направо сказал: «О Заратустра, как хорошо сделали мы, что отправились повидать тебя!

Ибо враги твои показывали нам образ твой в своем зеркале: там являлся ты в образе демона с язвительной улыбкой его; так что мы боялись тебя.

Но разве это помогло! Ты продолжал проникать в уши и сердца наши своими изречениями. Тогда сказали мы наконец: «Что нам до того, как он выглядит!»

Мы должны его с л ы ш а т ь, его, который учит: «Любите мир как средство к новым войнам, и короткий мир больше, чем долгий!»

Никто не произносил еще таких воинственных слов: «Что хорошо? Хорошо быть храбрым. Благо войны освящает всякую цель».

О Заратустра, кровь наших отцов заволновалась при этих словах в нашем теле: это была как бы речь весны к старым бочкам вина.

Когда мечи скрещивались с мечами, подобно змеям с красными пятнами, тогда жили отцы наши полною жизнью: всякое солнце мира казалось им бледным и холодным, а долгий мир — приносящим позор.

Как они вздыхали, отцы наши, когда они видели на стене совсем светлые, притупленные мечи! Подобно им, жаждали они войны. Ибо меч хочет упиваться кровью и сверкает от желания.» —

Пока короли говорили с жаром, мечтая о счастье отцов своих, напало на Заратустру сильное желание посмеяться над пылом их: ибо было очевидно, что короли, которых он видел перед собой, были очень миролюбивые короли, со старыми, тонкими лицами. Но он превозмог себя. «Ну что ж! — сказал он.— Вот дорога, ведущая к пещере Заратустры; и пусть у сегодняшнего дня будет долгий вечер! А теперь меня поспешно отзывает от вас крик о помощи.

Пещере моей будет оказана честь, если короли будут сидеть в ней и ждать: но, конечно, долго придется вам ждать!

Так что же! Где же учатся ждать сегодня лучше, как не при дворах? И вся добродетель королей, какая у них еще осталась,— не называется ли она сегодня *уменьем* ждать?» —

Так говорил Заратустра.

Пиявка

И Заратустра в раздумье продолжал свой путь, спускаясь все ниже, проходя по лесам и мимо болот; и как случается с каждым, кто обдумывает трудные вещи, наступил он нечаянно на человека. И вот посыпались ему разом в лицо крик от боли, два проклятья и двадцать скверных ругательств: так что он в испуге замахнулся палкой и еще ударил того, на кого наступил. Но тотчас же он опомнился; сердце его смеялось над глупостью, только что совершенной им.

«Прости,— сказал он человеку, на которого наступил и

который с яростью приподнялся и сел,— прости и выслушай прежде сравнение.

Как путник, мечтающий о далеких вещах, нечаяиио на пустыииой улице иаталкивается иа спящую собаку, лежащую на солнце:

— как оба они вскакивают и бросаются друг иа друга, подобио смертельным врагам, оба смертельио испуганные: так случилось и с нами.

И одиако! И однако — немногого недоставало, чтобы они приласкали друг друга, эта собака и этот одинокий! Ведь оба они — одииокие!»

«Кто бы ты ни был,— ответил, все еще в гневе, человек, на которого иаступил Заратустра,— ты слишком больно затрагиваешь меия и своим сравиеиием, а ие только своей ногою!

Смотри, разве я собака?» — и при этих словах тот, кто сидел, поднялся и вытащил свою голую руку из болота. Ибо сперва он лежал, вытяиувшись на земле, скрытый и неузиаваемый, как те, кто выслеживают болотную дичь.

«Но что с тобой,— воскликнул испугаииый Заратустра, ибо он увидел кровь, обильно струившуюся по обиаженной руке,— что случилось с тобой? Не укусило ли тебя, несчастный, какое-иибудь вредиое животное?»

Обливавшийся кровью улыбиулся, все еще продолжая сердиться. «Что тебе за дело! — сказал он и хотел идти дальше.— Здесь я дома и в своем царстве. Пусть спрашивает меня кто хочет: но всякому болваиу вряд ли стану я отвечать.»

«Ты заблуждаешься,— сказал Заратустра с состраданием и удержал его,— ты ошибаешься: здесь ты не у себя, а в моем царстве, и здесь ни с кем не должно быть несчастья.

Называй меня, впрочем, как хочешь,— я тот, кем я должен быть. Сам же себя называю я Заратустрой.

Ну что ж! Там вверху идет дорога к пещере Заратустры, она недолгая,— не хочешь ли ты у меня полечить свои раны?

Пришлось тебе плохо, иесчастный, в этой жизни: сперва укусило тебя животиое, потом — наступил иа тебя человек!» —

Но, услыхав имя Заратустры, окровавлеииый преобра-

зился. «Что со мной! — воскликнул он.— *Кто* же интересует меня еще в этой жизни, как не этот единственный человек — Заратустра и не это единственное животное, живущее кровью,— пиявка?

Ради пиявки лежал я здесь на краю этого болота, как рыболов, и уже была моя вытянутая рука укушена десять раз, как вдруг начинает питаться моей кровью еще более прекрасное животное, сам Заратустра!

О счастье! О чудо! Да будет благословен этот день, привлекший меня в это болото! Да будет благословенна лучшая, самая действительная из кровососных банок, ныне живущих, да будет благословенна великая пиявка совести, Заратустра!» —

Так говорил тот, на кого наступил Заратустра; и Заратустра радовался словам его и их тонкой почтительности. «Кто ты? — спросил он и протянул ему руку.— Между нами остается еще многое, что надо выяснить и осветить: но уже, кажется мне, настает чистый, ясный день.»

«Я *совестливый духом*, — отвечал вопрошаемый,— и в вопросах духа трудно найти кого-либо более строгого, более узкого и более твердого, чем я, исключая того, у кого я учился,— самого Заратустры.

Лучше ничего не знать, чем знать многое наполовину! Лучше быть глупцом на свой риск, чем мудрецом на основании чужих мнений! Я — доискиваюсь основы:

— что до того, велика ли она или мала? Называется ли она болотом или небом? Пяди основы достаточно для меня: если только она действительно есть основа!

— пяди основы: на ней можно стоять. В истинной совестливости знания нет ничего ни большого, ни малого.»

«Так ты, быть может, познающий пиявку? — спросил Заратустра.— И ты исследуешь пиявку до последнего основания, ты, совестливый духом?»

«О Заратустра,— отвечал тот, на кого наступил Заратустра,— было бы чудовищно, если бы дерзнул я на это!

Но если что знаю я прекрасно и досконально, так это *мозг* пиявки: — это *мой* мир!

И это также мир!— Но прости, если здесь говорит моя гордость, ибо здесь нет мне равного. Поэтому и сказал я «здесь я дома».

Сколько уже времени исследую я эту единственную вещь, мозг пиявки, чтобы скользкая истина не ускользнула от меня! Здесь м о е царство!

— ради этого отбросил я все остальное, ради этого стал я равнодушен ко всему остальному; и рядом со знанием моим простирается черное невежество мое.

Совестливость духа моего требует от меня, чтобы знал я что-нибудь о д н о, а остальное не знал: мне противны все половинчатые духом, все туманные, порхающие и мечтательные.

Где кончается честность моя, я слеп и хочу быть слепым. Но где я хочу знать, хочу я также быть честным, а именно суровым, строгим, узким, жестким и неумолимым.

Когда сказал ты однажды, о Заратустра: «Дух есть жизнь, которая убивает самое жизнь», это соблазнило и привело меня к учению твоему. И поистине, собственною кровью умножил я себе собственное знание!»

«Как доказывает очевидность»,— перебил Заратустра; потому что кровь все еще текла по обнаженной руке совестливого духом. Ибо десять пиявок впились в нее.

«О странный товарищ, сколь многому научает меня эта очевидность, т. е. ты сам! И, быть может, не все следовало бы мне влить в твои строгие уши!

Ну что ж! Расстанемся здесь! Но мне очень хотелось бы опять встретиться с тобой. Там вверху идет дорога к пещере моей: сегодня ночью будешь ты там желанным гостем моим!

Мне хотелось бы также полечить тело твое, на которое наступил ногой Заратустра: об этом я подумаю. А теперь меня поспешно отзывает от тебя крик о помощи.» —

Так говорил Заратустра.

Чародей

1

Но когда Заратустра обогнул скалу, он увидел внизу, недалеко от себя, на ровной дороге человека, который трясся, как беснующийся, и, наконец, бросился животом на землю. «Стой! — сказал тогда Заратустра в сердце

своем.— Должно быть, это высший человек, от него исходил этот мучительный крик о помощи,— я посмотрю, нельзя ли помочь ему.» Подбежав к месту, где лежал на земле человек, нашел он дрожащего старика с неподвижными глазами; и как ни старался Заратустра поднять его и поставить на ноги, все усилия его были тщетны. Даже казалось, что несчастный не замечает, что возле него есть кто-то; напротив, он трогательно осматривался, как человек, покинутый целым миром и одинокий. Наконец, после продолжительного дрожанья, судорог и подергиваний начал он так горько жаловаться:

Кто в силах отогреть меня, кто еще любит?
Горячие мне руки протяните
И пламя рдеющих углей для сердца дайте.
Лежу бессильно я, от страха цепенея,
Как перед смертию, когда уж ноги стынут,
Дрожа в припадках злой, неведомой болезни
И трепеща под острыми концами
Твоих холодных, леденящих стрел.
За мной охотишься ты, мысли дух,
Окутанный, ужасный, безымянный —
Охотник из-за туч! —
Как молнией, поражен я глазом,
Насмешливо из темноты смотрящим!
И так лежу я, извиваясь,
Согнувшись, мучаясь, постигнутый всеми
Мученьями, что на меня наслал ты,
Безжалостный охотник,
Неведомый мне бог! —

Рази же глубже,
Еще раз попади в меня и сердце
Разбей и проколи!
Но для чего ж теперь
Тупыми стрелами меня терзать?
Зачем опять ты смотришь на меня,
Ненасытимый муками людскими,
Молниеносным и злорадным бога взглядом?
Да, убивать не хочешь ты,
А только мучить, мучить хочешь!
Зачем тебе, зачем мое мученье,

Злорадный, незнакомый бог?
Я вижу, да!
В полночный час подкрался ты ко мне.
Скажи ж, чего ты хочешь?
Меня теснишь и давишь ты,
И, право, чересчур уж близко!
Ты слушаешь дыхание мое,
Подслушиваешь сердца ты биенье,—
Да ты ревнуешь! Но к кому ж ревнуешь?
Прочь, прочь! Куда —
Пробраться затеваешь ты?
Ты в сердце самое проникнуть хочешь,
В заветнейшие помыслы проникнуть!
Бесстыдный, ты чужой мне, вор!
Что хочешь выкрасть ты себе на долю
И что подслушать хочется тебе?
Что хочешь выпытать ты от меня, мучитель?
Божественный палач!
Не должен ли уж, как собака, я
Валяться пред тобой, хвостом виляя
И отдаваясь, вне себя от страсти,
Тебе в любви виляньем признаваться?

Напрасно трудишься,
Рази снльней!
Какой укол ужасный!
Нет, не ищейка я тебе — твоя добыча,
Безжалостный охотник,
Я пленник гордый твой,
За облаками скрывшийся разбойник!
Скажи же, наконец, чего,
Чего, грабитель, от меня ты хочешь?

Как? Выкупа?
Какого же и сколько?
Потребуй много,— так твердит мне гордость,—
И кратко говори,— другой ее совет.

Так вот как? Да? Меня?
Меня ты хочешь?
Меня всецело, и всего?

А! — так зачем же
Ты мучаешь меня, глупец, при этом?
Зачем терзаешь душу унижением?..
— Дай мне л ю б в и, кому меня согреть?
Горячую мне руку протяни
И пламя рдеющих углей для сердца дай мне.
Мне, одинокому в своем уединеньи,—
Что ко врагам и семикратный лед,
К врагам стремиться научает.
Ты сам отдайся мне.
Необоримый враг,—
С а м — мне!

Прочь! улетел! —
Умчался прочь —
Единственный товарищ мой и враг,
Великий враг
И чуждый мне опять
Божественный палач.

Нет!
Возвратись ко мне
И с пытками твоими,
Мои все слезы льются за тобой,
И для тебя вдруг загорелся снова
Огонь последний на сердце моем.
Вернись, вернись ко мне, мой бог,— мое страданье
И счастие последнее мое!..

2

Но тут Заратустра не мог долее сдерживать себя, схватил свою палку и ударил изо всех сил того, кто так горько жаловался. «Перестань,— кричал он ему со злобным смехом,— перестань, комедиант! фальшивомонетчик! закоренелый лжец! Я узнаю тебя!

Я отогрею тебе ноги, злой чародей, я хорошо умею поджаривать таких, как ты!»

«Оставь,— сказал старик и вскочил с земли,— не бей больше, о Заратустра! Все это была только комедия!

В этом искусство мое; тебя самого хотел я испытать, подвергая тебя этому искусу! И поистине, ты разгадал меня!

Но и ты также — дал мне о себе немалое свидетельство: ты *суров*, ты, мудрый Заратустра! Суровые удары наносишь ты своими «истинами», сучковатая палка твоя вынуждает у меня — *эту* истину!»

«Не льсти,— отвечал Заратустра, все еще возбужденный и мрачно глядя на него,— ты, закоренелый фигляр! Ты лжив: что толкуешь ты — об истине!

Ты, павлин из павлинов, ты, море тщеславия, *что* разыгрывал ты предо мною, ты, злой чародей, в *кого* должен был я верить, когда ты так горько жаловался?»

«*Кающегося духом*,— сказал старик,— его — представлял я: ты сам изобрел некогда это слово —

— поэта и чародея, обратившего наконец дух свой против себя самого, преображенного, который замерзает от своего плохого знания и от своей дурной совести.

И сознайся: нужно было много времени, о Заратустра, прежде чем ты заметил искусство мое и ложь мою! Ты *поверил* в мое горе, когда ты держал мне голову обеими руками,—

— я слышал, как ты горько жаловался: «Его слишком мало любили, слишком мало любили!» Что я так далеко тебя обманул, этому радовалась внутри меня злоба моя.»

«Ты, пожалуй, обманывал и более хитрых, чем я,— сказал Заратустра сурово.— Я не стерегусь обманщиков, ибо неосторожным *должен* я быть: так хочет судьба моя.

Но ты — *должен* обманывать: настолько я знаю тебя! Слова твои всегда должны иметь два, три, четыре смысла! Даже то, в чем сознавался ты сейчас, не было для меня ни достаточной правдой, ни достаточной ложью!

Злой фальшивомонетчик, разве мог бы ты поступать иначе! Даже болезнь свою нарумянил бы ты, если бы нагим показался врачу своему.

Точно так же румянил ты предо мною ложь свою, когда говорил: «Все это была только комедия!» Было в этом и нечто *серьезное*, ибо и сам ты отчасти такой же кающийся духом!

Я хорошо угадываю тебя: ты стал чародеем для всех, но для себя не осталось у тебя больше ни лжи, ни лукавства,— ты сам перестал быть для себя чародеем!

Ты пожинал отвращение как единственную истину

свою. Нет ни одного правдивого слова в тебе, но еще правдивы уста твои: правдиво отвращение, прилипшее к устам твоим.» —

«Но кто же ты? — воскликнул тут старый чародей надменным голосом.— Кто смеет так говорить со *мною*, самым великим среди живущих ныне?» — и зеленая молния сверкнула из его глаз на Заратустру. Но тотчас же он изменился и сказал с грустью:

«О Заратустра, я устал, противны мне искусства мои, я не *велик*, для чего притворяюсь я! Но — ты знаешь это хорошо — я искал величия!

Великого человека хотел я представлять и убедил в этом многих: но эта ложь была свыше сил моих. Об нее разбиваюсь я.

О Заратустра, все ложь во мне: но что я разбиваюсь — это *правда* во мне!» —

«Это делает тебе честь,— сказал Заратустра мрачно и глядя в сторону,— делает тебе честь, что искал ты величия, но это же и выдает тебя. Ты не велик.

Злой, старый чародей, *это* твое лучшее и самое честное, и я чту в тебе то, что устал ты от себя и сказал: «Я не велик».

За *это* чту я тебя как кающегося духом: даже если только на один миг, но в этот миг был ты — правдив.

Но скажи, чего ищешь ты здесь в лесах и на скалах *моих*? И если для *меня* лежал ты на дороге, чего хотел ты от меня? —

— в чем искушал ты *меня*?» —

Так говорил Заратустра, и глаза его сверкали. Старый чародей помолчал немного, потом сказал он: «Разве я искушал тебя? Я — только ищу.

О Заратустра, я ищу кого-нибудь правдивого, простого, справедливого, недвусмысленного, человека честного во всех отношениях, сосуд мудрости, праведника знания, великого человека!

Разве ты не знаешь этого, о Заратустра? Я *ищу* *Заратустру*».

Тут воцарилось долгое молчание между ними; Заратустра погрузился в глубокое раздумье, так что даже закрыл глаза. Но затем, возвратясь к своему собеседнику, он схватил чародея за руку и сказал ему вежливо и хитро:

«Ну что ж! Туда вверх идет дорога, там находится пещера Заратустры. В ней можешь ты искать, кого хотел бы ты найти.

И спроси совета у зверей моих, у орла моего и у змеи моей: пусть помогут они тебе искать. Но пещера моя велика.

Правда, я сам — я не видел еще великого человека. Для великого груб еще сегодня глаз даже самых тонких людей. Теперь царство толпы.

Многих встречал я уже, которые тянулись и надувались, а народ кричал: «Вот великий человек!» Но что могут значить все раздувательные мехи! В конце концов воздух выйдет из них.

В конце концов лопается лягушка, которая слишком долго надувалась: и воздух выйдет из нее. Ткнуть в живот надувшемуся, это называю я славной шуткою. Слушайте, дети!

Это сегодня принадлежит толпе: кто там з н а е т еще, что велико и что мало! Кто искал там успешно величия! Только глупец: и глупцы имеют успех.

Ты ищешь великих людей, ты, странный глупец? К т о н а у ч и л тебя искать их? Разве теперь время для этого? О злой искатель, в чем — искушаешь ты меня?»—

Так говорил Заратустра, утешенный в сердце своем, и пошел, смеясь, своей дорогою.

В отставке

Немного спустя после того как Заратустра освободился от чародея, увидел он опять, что кто-то сидит на дороге, по которой он шел; это был черный, высокий человек с тощим, бледным лицом: о н сильно раздосадовал его. «Горе,— сказал он в сердце своем,— вот сидит закутанная печаль, мне кажется, она из рода священников: чего хотят о н и в моем царстве?

Как! Едва избег я одного чародея: как другой чернокнижник опять становится мне поперек дороги,—

— какой-нибудь колдун со сложенными руками, какой-нибудь мрачный чудотворец божьей милостью, какой-нибудь помазанный клеветник на мир, чтоб черт его побрал!

Но черт никогда не бывает там, где он был бы на месте: всегда приходит он слишком поздно, этот проклятый карлик и кривоножка!» —

Так сетовал Заратустра с нетерпением в сердце своем и думал, как бы, не глядя на черного человека, проскользнуть мимо него: но случилось иначе. Ибо в этот самый миг его уже увидел сидевший; и подобно тому, кто наталкивается на неожиданное счастье, вскочил он и пошел навстречу Заратустре.

«Кто бы ты ни был, ты, странник,— сказал он,— помоги заблудившемуся, ищущему, старому человеку, с которым здесь легко может случиться несчастье!

Этот мир здесь мне чужд и далек, даже слыхал я рычанье диких зверей; а того, кто мог бы служить мне защитой, уже нет.

Я искал последнего благочестивого человека, одного святого и отшельника, который один в лесу своем еще ничего не слыхал о том, о чем весь мир знает сегодня.»

«О ч е м же знает сегодня весь мир? — спросил Заратустра.— Не о том ли, что старый бог не жив более, в которого весь мир некогда верил?»

«Ты сказал это,— отвечал опечаленный старик.— А я служил этому старому богу до последнего часа его.

Теперь же я вне служения, без господина, и все-таки я не свободен, нет у меня ни одного веселого часа, разве только в воспоминаниях.

Для того и поднялся я на эти горы, чтобы наконец опять устроить себе праздник, как подобает старому папе и отцу церкви: ибо знай, я последний папа! — праздник благочестивых воспоминаний и богослужений.

Но теперь он сам умер, самый благочестивый человек, тот святой в лесу, который постоянно славил своего бога пением и бормотаньем.

Его самого не нашел я уже, когда я нашел его хижину,— и двух волков в ней, которые выли о его смерти — ибо все звери любили его. И я убежал оттуда.

Неужели я пришел напрасно в эти леса и горы? Тогда решилось сердце мое искать другого, самого благочестивого из всех тех, кто не верят в бога,— искать Заратустру!»

Так говорил старик и окинул острым взглядом того, кто стоял перед ним; Заратустра же взял руку старого папы и рассматривал ее долго с удивлением.

«Посмотри, досточтимый,— сказал он потом,— какая прекрасная и длинная рука! Это рука того, кто постоянно раздавал благословение. Но теперь держит она того, кого ты ищешь, меня, Заратустру.

Это — я, нечестивый Заратустра, который говорит: кто нечестивее меня, чтобы мог я радоваться наставлению его?» —

Так говорил Заратустра и пронизывал своим взором мысли и задние мысли старого папы. Наконец тот начал:

«Кто его любил и им владел больше всего, тот теперь и утратил его больше всего: —

— посмотри, не сам ли я из нас двоих теперь более нечестивый? Но кто бы мог этому радоваться?» —

«Ты служил ему до конца,— спросил Заратустра задумчиво, после глубокого молчания,— ты знаешь, *как* он умер? Правда ли, как говорят, что его задушила жалость,

— что он видел, как *человек* висел на кресте, и не вынес этого, так что любовь к человеку сделалась его адом и наконец его смертью?» —

Но старый папа ничего не ответил, а посмотрел робко в сторону страдальческим, мрачным взглядом.

«Оставь его,— сказал Заратустра после долгого размышления, продолжая смотреть старику прямо в глаза.—

Оставь его, он умер. И хотя тебе делает честь то, что ты о мертвом говоришь только хорошее, но ты так же хорошо знаешь, как и я, *кто* он был; и что он ходил странными путями.»

«Говоря меж трех глаз,— сказал, повеселев, старый папа (ибо он был слеп на один глаз),— в вопросах бога я просвещеннее самого Заратустры — и имею право на это.

Моя любовь служила ему долгие годы, моя воля следовала во всем его воле. Но хороший слуга знает все и даже многое, что его господин скрывает от себя самого.

Это был скрытный бог, полный таинственности. Поистине, даже к сыну своему шел он не иначе как потаенным путем. У дверей его веры стоит прелюбодеяние.

Кто его прославляет как бога любви, тот недостаточно высокого мнения о самой любви. Разве этот бог не хотел быть также судьею? Но любящий любит по ту сторону награды и возмездия.

Когда он был молод, этот бог с востока, тогда был он

жесток и мстителен и выстроил себе ад, чтобы забавлять своих любимцев.

Но наконец он состарился, стал мягким и сострадательным, более похожим на деда, чем на отца, и всего больше похожим на трясущуюся старую бабушку.

Так сидел он, поблекший, в своем углу на печке и сокрушался о своих слабых ногах, усталый от мира, усталый от воли, пока наконец не задохнулся от своего слишком большого сострадания.» —

«Ты, старый папа,— прервал тут Заратустра,— видел ли ты *это* своими глазами? Могло быть и так, могло быть и иначе. Когда боги умирают, умирают они всегда разного рода смертями.

Ну что ж! Так или иначе — он умер! Он был не по вкусу моим ушам и глазам, худшего не хотел бы я о нем говорить.

Я люблю все, что ясно смотрит и правдиво говорит. Но он — ты ведь знаешь это, ты, старый папа,— он был немного из твоего рода, из рода священнического — его можно было разно понимать.

Его часто и совсем нельзя было понять. Как же сердился он на нас, этот дышащий гневом, что мы его плохо понимали! Но почему же не говорил он яснее?

И если вина была в наших ушах, почему дал он нам уши, которые его плохо слышали? Если была грязь в наших ушах, кто же вложил ее туда?

Слишком многое не удавалось ему, этому горшечнику, не доучившемуся до конца! Но если он еще мстил своим горшкам и творениям за то, что они ему плохо удавались,— это было уже грехом против *хорошего вкуса*.

Существует и в благочестии хороший вкус: *он* говорит наконец: «Прочь *с таким* богом! Лучше совсем без бога, лучше на собственный страх устраивать судьбу, лучше быть безумцем, лучше самому быть богом!» —

«Что слышу я! — сказал тут старый папа, навострив уши.— О Заратустра, ты благочестивее, чем ты думаешь, при таком безверии! Какой-нибудь бог в тебе обратил тебя к твоему нечестию.

Разве не само твое благочестие больше не дозволяет тебе верить в бога? И твоя чрезмерная правдивость поведет тебя еще дальше, по ту сторону добра и зла!

Посмотри, что осталось тебе? У тебя есть глаза, руки

и уста, которые от вечности предиазначеиы для благословеиия. Благословляют ие только руками.

Вблизи тебя, хотя ты и хочешь быть самым иечестивым, я чувствую тайиое благоухаиие долгих благословеиий; мне стаиовится при этом хорошо и мучительио.

Позволь мие быть твоим гостем, о Заратустра, иа одиу только иочь! Нигде иа земле мие ие будет теперь лучше, чем у тебя!» —

«Амииь! Да будет так! — сказал Заратустра с великим удивлеиием.— Туда вверх ведет дорога, там иаходится пещера Заратустры.

Поистиие, я сам охотио проводил бы тебя туда, досточтимый, ибо я люблю всех благочестивых людей. Но теперь меия поспешио отзывает от тебя крик о помощи.

В моем царстве ии с кем ие должио быть иесчастья; пещера моя хорошая пристаиь. И больше всего хотел бы я всякого, кто печалится, опять поставить иа твердую землю и иа твердые иоги.

Но кто сиимет с плеч т в о ю печаль? Для этого я слишком слаб. Поистиие, долго придется иам ждать, пока ктоиибудь опять воскресит тебе твоего бога.

Ибо этот старый бог ие жив более: ои осиовательио умер.» —

Так говорил Заратустра.

Самый безобразиый человек

И опять бежали иоги Заратустры по горам и лесам, и глаза его иепрестаиио искали, ио иигде ие видио было того, кого искали оии, кто кричал о помощи и страдал великою скорбью. Всю дорогу, одиако, радовался ои в сердце своем и был полои призиательиости. «Какие хорошие вещи,— говорил ои,— подарил мие, однако, этот деиь в иаграду за то, что так скверио иачался ои! Каких редких собеседиикoв иашел я!

Долго придется пережевывать мие слова их, как хорошие хлебиые зериа: и зубам моим придется беспрерывио молоть их, пока ие потекут оии в душу мою, как молоко!» —

Но когда дорога опять обогиула скалу, сразу измеиился вид местиости, и Заратустра вступил в царство смерти. Здесь торчали чериые и красные выступы скал: ие было ии травы, ии деревьев, ни пения птиц. Ибо это была долииа, которой

избегалн все жнвотные, даже хищиые зверн; н только змен одной породы — безобразиые, толстые, зелеиые — состарнвшнсь, приползалн сюда умирать. Поэтому называлн пастухи эту долииу Смертью змей.

Но Заратустра погрузился в мрачиые воспомииаиия, ибо ему казалось, что однажды он уже стоял в этой долние. И много тяжелого вспомниалось ему: так что шел он все тише н тнше н наконец остановнлся совсем. Здесь, открыв глаза, увидел он перед собою что-то сндевшее на краю дороги, по виду напомннавшее человека нлн почтн что человека, нечто невыразнмое. И мгновенно охватнл Заратустру велнкнй стыд, что прншлось ему свонмн глазамн увидеть нечто подобиое: покраснев до седых волос своих, отвернулся ои н хотел уже бежать из этого несчастного места. Вдруг мертвая пустыня огласнлась шипящими н хрнпящими звуками, подиимавшимнся из самой земли, подобно тому как иочью шипнт н хрипит вода в засорившейся водопроводиой трубе; иакоиец эти звуки сложились в человеческий голос н человеческую речь:— и оиа так гласила:

«Заратустра! Заратустра! Разгадай загадку мою! Говорн, говори! Что такое месть свндетелю?

Я предостерегаю тебя, здесь скользкнй лед! Смотри, смотрн, как бы гордость твоя ие сломила здесь ногу себе!

Ты считаешь себя мудрым, ты, гордый Заратустра! Так разгадай же загадку, ты, искусный разгадчик,— загадку, которую представляю собою я! Скажи: кто я!» —

Но когда Заратустра услыхал слова эти, как думаете вы, что случилось с душою его? Сострадание овладело им, н вдруг он упал ннц, как дуб, долго сопротивлявшнйся миогим дровосекам, тяжело, внезапно, пугая даже тех, кто хотели срубить его. Но вот ои сиова поднялся с земли, и лицо его сделалось суровым.

«Я отлично узнаю тебя,— сказал ои голосом, звучавшнм как медь,— ты убийца бога! Пусти меия.

Ты не вынес того, кто вндел тебя,— кто всегда и иасквозь видел тебя,— самого безобразного человека! Ты отомстнл этому свидетелю!»

Так говорил Заратустра и хотел ндти, ио иевыразнмый схватил его за край одежды и сиова стал клокотать н подыскнвать слова. «Останься! — сказал он наконец,—

— останься! Не проходи мнмо! Я угадал, какая секнра сразила тебя: хвала тебе, о Заратустра, что ты снова встал!

Ты угадал, я знаю это, каково тому, кто его убил,— убийце бога. Останься! Присядь ко мне, это не будет напрасно.

К кому же стремился я, как не к тебе? Останься, сядь! Но не смотри на меня. Почти этим — безобразие мое!

Они преследуют меня: теперь ты — последнее убежище мое. Не ненавистью своей, не погоней своей: — о, над таким преследованием смеялся бы я, гордился бы им и радовался ему!

Разве успех не был доселе на стороне хорошо преследуемых? И кто хорошо преследует, легко научится с л е д о в а т ь — по привычке ходить по пятам! Но от их с о с т р а д а н и я — от их сострадания бегу я и прибегаю к тебе. О Заратустра, защити меня, ты — последнее убежище мое, ты единственный, разгадавший меня:

— ты угадал, каково тому, кто убил е г о. Останься! И если ты хочешь идти, ты, нетерпеливый: не ходи дорогою, какою я шел. Э т а дорога плохая.

Ты сердишься, что я так долго болтаю? Что я даю уже советы тебе? Но знай, что это я, самый безобразный человек,

— у которого самые большие и тяжелые ноги. Где я шел, там дорога плохая. Я обращаю все дороги в смерть и позор.

Но по тому, как ты прошел молча мимо меня, как ты покраснел, я это видел: я узнал в тебе Заратустру.

Всякий другой бросил бы мне милостыню свою, сострадание свое, взором и речью. Но для этого — я недостаточно нищий, это угадал ты,—

— для этого я слишком б о г а т, богат великим, ужасным, самым безобразным и невыразимым! Твой стыд, о Заратустра, п о ч т и л меня!

С трудом ушел я из толпы сострадательных,— чтобы найти единственного, который сегодня учит «сострадание навязчиво»,— тебя, о Заратустра!

— будь оно божеским, будь оно человеческим состраданием: оно противоречит стыду. И нежелание помочь может быть благороднее, чем эта услужливая добродетель.

Но сострадание называется сегодня у всех маленьких людей самóй добродетелью:— они не умеют чтить великое несчастье, великое безобразие, великую неудачу.

Через головы всех их смотрю я, как смотрит собака через спины овец, копошащихся в стадах своих. Это ма-

ленькие, доброшерстные, доброжелательные, серые люди.

Как цапля, закинув голову, с презрением смотрит поверх мелководных прудов: так смотрю я поверх кипения серых маленьких волн, маленьких желаний и маленьких душ.

Давно уже дано им право, этим маленьким людям: так что дана им наконец и власть — теперь учат они: «Хорошо только то, что маленькие люди называют хорошим».

И «истиной» называется сегодня то, о чем говорил проповедник, сам вышедший из них, этот странный святой и защитник маленьких людей, который свидетельствовал о себе: «Я — истина».

Этот нескромный давно уже сделал маленьких людей горделивыми — он, учивший огромному заблуждению, когда он учил: «Я — истина».

Ответили ли нескромному когда-нибудь вежливо? — Но ты, о Заратустра, прошел мимо него и говорил: «Нет! Нет! Трижды нет!»

Ты предостерегал от его заблуждения, ты первый предостерегал от сострадания — не всех и не каждого, но себя и подобных тебе.

Ты стыдишься стыда великих страданий; и поистине, когда ты говоришь: «От сострадания приближается тяжелая туча, берегитесь, люди!» —

— Когда ты учишь: «Все созидающие тверды, всякая великая любовь выше их сострадания»: о Заратустра, как хорошо кажешься ты мне изучившим знамения времени!

Но и ты сам — остерегайся ты сам своего сострадания! Ибо многие находятся на пути к тебе, многие страждущие, сомневающиеся, отчаивающиеся, утопающие, замерзающие.—

Я предостерегаю тебя и против себя. Ты разгадал мою лучшую, мою худшую загадку — меня самого и то, что свершил я. Я знаю секиру, тебя поразившую.

Но он — должен был умереть: он видел глазами, которые все видели,— он видел глубины и бездны человека, весь его скрытый позор и безобразие.

Его сострадание не знало стыда: он проникал в мои самые грязные закоулки. Самый любопытный, сверхназойливый, сверхсострадательный должен был умереть.

Ои вндел всегда м е и я: этому свндетелю хотел я отомстнть — илн самому не жить.

Бог, который все вндел, не исключая и ч е л о в е к а: этот бог должеи был умереть! Человек и е в ы и о с и т, чтобы такой свидетель жил.»

Так говорил самый безобразиый человек. Заратустра же встал и собрался уходить: ибо его зиобило до самых внутреиностей.

«Ты, иевыразимый,— сказал ои,— ты предостерег меня от своего пути. В благодарность за это хвалю я тебе мой путь. Смотри, там вверху пещера Заратустры.

Моя пещера велика и глубока, н много закоулков в иеи; там иаходит самый скрытный сокровенное место свое.

И поблнзости есть сотни расщелии и сотни убежищ для жнвотиых пресмыкающихся, порхающих и прыгающих.

Ты, изгнанный, сам себя изгнавшнй, ты ие хочешь жнть среди людей и человеческого сострадания? Ну что ж, делай, как я!

Так научишься ты у меня; только тот, кто действует, учнтся.

И прежде всего разговаривай с моими животиыми! Самое гордое животиое и самое умное животиое — пусть будут для нас обоих вериыми советчнками!» —

Так сказал Заратустра и пошел своей дорогою, еще задумчивее и еще медлеииее, чем прежде: нбо он вопрошал себя о многом и нелегко находнл ответы.

«Как беден, однако, человек! — думал он в сердце своем.— Как безобразеи, как ои хрипит, как полои скрытого позора!

Мие говорят, что человек любит себя самого: ах, как велико должно быть это себялюбие! Как миого презреиня противостоит ему!

И этот столько же любил себя, сколько презнрал себя,— по-моему, ои великнй любящнй и великнй презирающий.

Никого еще не встречал я, кто бы глубже презирал себя: а э т о и есть высота. Горе! быть может, э т о был высшнй человек, чей крнк я слышал?

Я люблю великих презнрающнх. Но человек есть иечто, что дóлжио превзойти.» ——

Добровольный нищий

Когда Заратустра покннул самого безобразного человека, ему стало холодно, н он почувствовал себя одннокнм; нбо много холодного н одннокого пронеслось по чувствам его, так что члены его холоделн. Но поднимаясь все дальше н дальше, по горам и долннам, мнновав зеленые пастбнща н пустое, каменнстое русло, где прежде нетерпеливый ручей прокладывал себе ложе, он согрелся, н сердце его укрепнлось.

«Что со мной? — спроснл он себя.— Что-то теплое н жнвое подкрепляет меня, оно, должно быть, вблнзн от меня.

Уже я не так однноk, неведомые спутннкн н братья бродят вокруг меня, нх теплое дыханне волнует мне душу.»

Осматрнваясь кругом н ища утешнтелей в одиночестве своем, он увндел коров, столпнвшнхся на возвышеннн; нх блнзость и запах согрелн сердце его. По-виднмому, эти коровы вннмательно слушалн человека, говорнвшего к ннм, н не обращалн вннмания на вновь прнбывшего.

Когда же Заратустра подошел совсем блнзко к ннм, услыхал он отчетлнво человеческнй голос нз среды коров; н видно было, что все онн повернулн свон головы к говорнвшему.

Тогда Заратустра стремнтельно броснлся на возвышенне н разогнал коров, нбо он боялся, чтобы здесь не случнлось с кем-ннбудь несчастья, которому едва лн помогло бы состраданне коров. Но в этом он ошнбся; нбо перед ннм снدел человек на земле н, казалось, убеждал жнвотных, чтобы онн не боялнсь его,— мнролюбнвый человек н нагорный проповедннк, нз глаз которого проповедовала сама доброта. «Чего нщешь ты здесь?» — воскликнул Заратустра с удивленнем.

«Чего я здесь нщу? — отвечал он.— Того же самого, чего нщешь н ты, нарушнтель мнра! нщу счастья на земле.

Ему хотел я научнться у этнх коров. Ибо, знаешь лн, половнну утра говорю я к ннм, н онн только что собнралнсь отвечать мне. Зачем помешал ты нм?

Еслн мы не вернемся назад н не будем, как коровы,

мы не войдем в царство небесное. Ибо одному должны мы научиться у них: пережевыванию.

И поистине, если бы человек приобрел целый мир и не научился одному — пережевыванию: какая польза была бы ему! Он не избавился бы от скорби своей.

— от великой скорби своей: но она называется сегодня о т в р а щ е н и е м. А у кого же сегодня сердце, уста и глаза не полны отвращения? И у тебя! И у тебя! Но взгляни на этих коров!» —

Так говорил нагорный проповедник и поднял взор свой на Заратустру,— ибо до сей поры глядел он с любовью на коров: и вдруг преобразился он. «Кто это, с кем говорю я? — воскликнул он в испуге и вскочил с земли.—

Это человек свободный от отвращения, это сам Заратустра, победитель великого отвращения, это глаза, это уста, это сердце самого Заратустры.»

И, говоря это, он, с глазами, полными слез, поцеловал руку тому, кому он говорил, и вел себя совсем как тот, кому неожиданно падает с неба драгоценный дар или сокровище. А коровы смотрели на все это и удивлялись.

«Не говори обо мне, ты, странный, дорогой мечтатель! — сказал Заратустра, защищаясь от его нежности.— Говори сперва о себе! Не тот ли ты добровольный нищий, который некогда отказался от большого богатства,—

— который устыдился богатства своего и богатых и бежал к самым бедным, чтобы отдать им избыток свой и сердце свое? Но они не приняли его.»

«Но они не приняли меня,— сказал добровольный нищий,— ты хорошо знаешь это. Так что пошел я наконец к зверям и коровам этим».

«Там научился ты,— прервал Заратустра говорившего,— тому, насколько труднее уметь дарить, чем уметь брать, и что хорошо дарить есть и с к у с с т в о, и притом высшее, самое мудреное искусство доброты.»

«Особенно в наши дни,— отвечал добровольный нищий.— Особенно теперь, когда все низкое возмутилось, стало недоверчивым и гордым по-своему: на манер толпы.

Ибо, ты знаешь, настал час великого восстания толпы и рабов, восстания гибельного, долгого и медлительного: оно все растет и растет!

Теперь возмущает низших всякое благодеяние и пре-

небрежительная милостыня; и те, кто слишком богаты, пусть будут настороже!

Кто сегодня, подобно пузатой бутылке, сочится сквозь слишком узкое горлышко: — у таких бутылей любят теперь отбивать горлышко.

Похотливая алчность, желчная зависть, подавленная мстительность, гордость толпы: все это бросилось мне в глаза. Уже неверно, что нищие блаженны. Но царство небесное у коров.»

«А почему же оно не у богатых?» — спросил испытующе Заратустра, отгоняя коров, которые дружески обнюхивали миролюбивого проповедника.

«К чему испытуешь ты меня? — Ты сам знаешь это лучше меня. Что же гнало меня к самым бедным, о Заратустра? разве не отвращение к нашим богачам?

— к каторжникам богатства, извлекающим выгоды свои из всякого мусора, с холодными глазами и похотливыми мыслями, к этой черни, от которой поднимается к небу зловоние.

— к этой раззолоченной, лживой черни, предки которой были ворами, или стервятниками, или тряпичниками, падкими до женщин, похотливыми и забывчивыми: — ибо все они недалеко ушли от блудницы.—

Чернь сверху, чернь снизу! Что значит сегодня «бедный» и «богатый»! Эту разницу забыл я,— и бежал я все дальше и дальше, пока я не пришел к этим коровам.»

Так говорил миролюбивый проповедник, а сам тяжело дышал и потел при своих словах: так что коровы снова удивлялись. Но Заратустра, пока он так жестко говорил, смотрел ему с улыбкою в лицо и молча качал при этом головою.

«Ты делаешь над собою насилие, ты, нагорный проповедник, употребляя такие жесткие слова. Для такой жесткости не годятся ни твои уста, ни твои глаза.

И, как мне кажется, даже желудок твой: ему противны всякий гнев и всякая ненависть с пеною у рта. Твой желудок требует более мягкой пищи: ты не любитель мяса.

Скорее, кажешься ты мне любителем растительной пищи и собирателем трав и корней. Быть может, жуешь ты зерна. Во всяком случае, ты не находишь удовольствия в мясе и любишь мед.»

«Ты угадал,— отвечал добровольный нищий с облег-

чениым сердцем.— Я люблю мед и жую зерна, нбо я нщу то, что вкусио и делает дыхаиие чистым:

— а также что требует много времени и иад чем трудятся целые дни рты кротких лентяев н тунеядцев.

Но дальше всех ушли в этом эти коровы: онн выдумали пережевываиье н лежание на солнце. И онн воздержнваются от всяких тяжелых мыслей, от которых пучит сердце.»

«Ну что ж! — сказал Заратустра.— Тебе бы следовало посмотреть также на м о и х зверей, орла моего и змею мою,— равных им ие существует теперь на земле.

Смотри, там дорога ведет к пещере моей: будь гостем ее в эту ночь. И поговорн со зверями монми о счастье зверей,—

— пока я сам ие вернусь. А теперь меия поспешио отзывает от тебя крик о помощн. Также найдешь ты новый мед у меня, в свежих янтарных сотах: ешь его!

А теперь простнсь поскорее со свонми коровамн, странный, дорогой мечтатель! как бы тебе тяжело это ни было. Ибо это лучшне учнтеля твон н друзья!» —

«За исключением одного, которого я люблю еще больше,— отвечал добровольный нищнй.— Ты сам добрый н лучше еще, чем всякая корова, о Заратустра!»

«Прочь уходи от меия! ты, ннзкнй льстец! — закрнчал Заратустра со злобою,— зачем портишь ты меня такой похвалой н медом лестн?»

«Прочь, прочь от меня!» — закричал он еще раз н замахнулся своей палкой на иежного нищего; но тот поспешно бежал от него.

Теиь

Но едва убежал добровольиый нищий н Заратустра остался опять один с собою, как услыхал он позадн себя иовый голос, взывавший: «Стой! Заратустра! Подождн же меия! Ведь это я, о Заратустра, я, тень твоя!» Одиако Заратустра не остановился, нбо внезапиая досада овладела им, что такое скопление в горах у него. «Куда же девалось уединение мое? — говорил он.—

Поистине, это стаиовнтся слишком много для меня; эти горы кишат людьми, царство мое уже не от мира с е г о, мие иужиы иовые горы.

Моя тень зовет меня? Что мне до тени моей! Пусть бежит за мною! я — убегу от нее.»

Так говорил Заратустра в сердце своем и бежал дальше. Но тот, кто был позади него, следовал за ним: так что образовалось трое бегущих один за другим,— впереди бежал добровольный нищий, потом Заратустра и позади всех тень его. Но недолго бежали они так, ибо Заратустра скоро осознал безумие свое и сразу стряхнул с себя всякую досаду и всякое отвращение.

«Как! — говорил он.— Разве самые смешные вещи с давних пор не случались с нами, старыми отшельниками и святыми?

Поистине, безумие мое сильно выросло в горах! И вот теперь слышу я, как шесть старых ног, принадлежащих безумцам, бегут одна за другой!

Но разве Заратустра имеет право бояться какой-нибудь тени? И наконец, мне кажется, что ноги ее длиннее моих.»

Так говорил Заратустра, смеясь глазами и всем нутром своим: он остановился и быстро обернулся назад, так что чуть не опрокинул на землю тень, которая преследовала его: так близко следовала она по пятам его и так слаба была она. Ибо когда он измерил ее глазами, испугался он, как перед внезапным призраком: так худ, черен, истощен и стар был этот преследователь.

«Кто ты? — спросил Заратустра грубо.— Что делаешь ты здесь? И почему называешь ты себя моей тенью? Ты не нравишься мне.»

«Прости меня,— отвечала тень,— что это я; и если я тебе не нравлюсь, ну что ж! о Заратустра, я хвалю тебя и твой хороший вкус.

Я — странник, который уже много ходил по пятам твоим: вечно в дороге, но без цели и даже без родины: так что мне, поистине, немногого недостает для вечного жида, только что не вечен я и не жид.

Как? Неужели должен я всегда быть в пути? Увлекаемый и гонимый каждым ветром? О земля, ты стала для меня слишком круглой!

На всякой поверхности побывал я уже; как усталая пыль, спал я на зеркалах и оконных стеклах: все берет от меня, но ничто не дает, я становлюсь тощим,— почти похожу я на тень.

Но за тобой, о Заратустра, я следовал и преследовал тебя дольше всего, и если я и прятался от тебя, все-таки я был твоей верной тенью: где ты только садился, садился и я.

С тобой обошел я самые далекие, самые холодные миры, как призрак, которому нравится бегать зимою по крышам и по снегу.

Вместе с тобою стремился я ко всему запретному, самому дурному и дальнему: и если что-нибудь во мне может быть названо добродетелью, так это то, что не боялся я никакого запрета.

Вместе с тобою разбил я все, что когда-либо чтило сердце мое, все пограничные столбы и всех идолов опрокинул я, за самыми опасными желаниями гонялся я,— поистине, по всем преступлениям однажды прошелся я.

Вместе с тобою разучился я вере в слова, ценности и великие имена. Когда черт меняет кожу, не отпадает ли тогда также и имя его? Ибо имя есть только кожа. И сам черт, быть может,— только кожа.

«Нет истины, все дозволено»: так убеждал я себя. В самые холодные воды погружался я с сердцем и с головою. Ах, как часто стоял я поэтому голый и красный, как рак!

Ах, куда девалось все доброе, и весь стыд, и вся вера в добрых! Ах, куда девалась та лживая невинность, которой некогда обладал я, невинность добрых и их благородной лжи!

Слишком часто, поистине, следовал я по пятам за истиной: и она грубо отвергала меня. Много раз думал я, что лгу, и только тогда прикасался я — к истине.

Слишком многое прояснилось для меня: теперь оно уже не касается меня. Уже ничто не живо, что я люблю,— как мог бы я еще любить самого себя?

«Жить, как мне нравится, или вовсе не жить»: так хочу я, так хочет даже святой. Но, увы! есть ли еще для м е н я — радость?

Есть ли еще у меня — цель? Пристань, куда бежит корабль м о й?

Попутный ветер? Ах, только тот, кто знает, к у д а он едет, знает также, какой ветер — попутный ему.

Что еще осталось мне? Усталое, дерзкое сердце;

беспокойиая воля; крылья, негодиые, чтобы летать; разбнтый позвоиочный столб.

А это нсканне своего дома: о Заратустра, ты ведь знаешь, это нсканне было наказаинем моим, оно пожирает меия.

«Где — дом мой?» Я спрашиваю о нем, ищу и искал его и нигде не нашел. О вечное везде, о вечиое нигде, о вечиое — иапрасно!»

Так говорила тень, н лицо Заратустры вытягнвалось при словах ее. «Да, ты — моя тень,— сказал он иакоиец с грустью.—

И немалая опасность грознт тебе, ты, свободный дух и странинк! Плохой день был у тебя: смотри, как бы ие наступнл еще худшнй вечер!

Таким беспокойиым, как ты, может иаконец даже тюрьма показаться блаженством. Вндел лн ты когда-ннбудь, как спят заключениые преступиикн? Оии спят спокойио, они иаслаждаются впервые своей безопасностью.

Берегись, чтобы тебя наконец ие уловнла в сетн какая-ннбудь узкая вера, какое-ибудь жестокое, суровое заблуждение! Ибо теперь соблазияет н искушает тебя все узкое н твердое.

Ты утратнл цель: увы, как утешиться тебе в этой утрате? Вместе с тем ты — потерял и дорогу!

Бедный, блуждающнй мечтатель, уставшнй мотылек! не хочешь лн ты на этот вечер нметь прнстаннще н отдых? Так ндн вверх в пещеру мою!

Эта дорога ведет к пещере моей. А теперь я скорее убегу от тебя. Уже ложнтся как бы тень на меия.

Я побегу одии, чтобы опять стало светло вокруг меня. К тому же я еще долго должен быть весел н на ногах. Вечером же будут у меия — танцы!» —

Так говорил Заратустра.

В полдеиь

И Заратустра все бежал, н не иаходил никого больше. Он был однн н продолжал встречать только себя, он иаслаждался и упивался своим одниочеством и думал о хороших

вещах,— в течение целых часов. В полуденный час, когда солнце стояло прямо над головой Заратустры, проходил он мимо старого дерева, кривого и суковатого, которое кругом было охвачено богатой любовью виноградной лозы и скрыто от себя самого: с него свешивались путнику в изобилии желтые гроздья. Тогда захотелось ему утолить маленькую жажду и сорвать одну кисть; но едва протянул он к ней руку, как овладело им другое желание, более сильное: лечь под деревом в самый полдень и уснуть.

Так и сделал Заратустра; и только он лег на землю среди таинственной тиши пестрого луга, как забыл уже о своей маленькой жажде и заснул. Ибо, как гласит поговорка Заратустры: одно бывает необходимее другого. Только глаза его оставались открытыми:— потому что они не могли досыта насмотреться и насладиться деревом и любовью к нему виноградной лозы. Но, засыпая, так говорил Заратустра в сердце своем:

«Тише! Тише! Не стал ли мир совершенен? Что же, однако, происходит со мной?

Как легкий ветерок невидимо танцует по гладкому морю, легкий, как перышко: так — сон танцует на мне.

Глаза не смыкает он мне, душу оставляет он бодрствовать. Легок он, поистине! легок, как перышко.

Он убеждает меня — я не знаю, как? — он касается внутри меня ласкающей рукою, он принуждает меня. Да, он принуждает мою душу потягиваться: —

— какой она становится длинной и усталой, моя странная душа! Неужели вечер седьмого дня пришелся для нее как раз в полдень? Уж не блуждала ли она слишком долго, блаженная, среди добрых и зрелых вещей?

Долго потягивается она,— все больше и больше! она лежит тихо, странная душа моя. Слишком уж много доброго вкусила она; эта золотая печаль гнетет ее, она сковывает уста.

— Как корабль, зашедший в самую тихую пристань свою: — теперь опирается он на землю, усталый от долгих странствий и неведомых морей. Разве земля не надежнее?

Когда такой корабль пристает к берегу, жмется к нему: — тогда достаточно, чтобы паук протянул от земли к нему паутину свою. В более крепкой веревке нет надобности.

Как такой усталый корабль в тихой пристани: так отдыхаю и я теперь близ земли, преданный, доверчивый, ожидающий, привязанный к ней тончайшими нитями.

О счастье! О счастье! Не хочешь ли ты запеть, о душа моя? Ты лежишь в траве. Но теперь таинственный, торжественный час, когда ни один пастух не играет на свирели своей.

Берегись! Жаркий полдень спит на нивах. Не пой! Тише! Мир совершенен.

Не пой, ты, птица лугов, о душа моя! Не говори даже шепотом! Смотри — кругом тишина! старый полдень спит, он шевелит губами: не пьет ли он сейчас каплю счастья —

— старую, потемневшую каплю золотого счастья, золотого вина? Счастье пробегает по нему, его счастье смеется. Так — смеется бог. Тише! —

«Для счастья, как мало надо для счастья!» — Так говорил я когда-то и считал себя мудрым. Но это была хула, *этому* научился я теперь. Мудрые безумцы говорят лучше.

Ибо все самое малое, самое тихое, самое легкое, шорох ящерицы, дуновение, мгновенье, миг — *малое* количество составляет качество *лучшего* счастья. Тише!

— Что случилось со мною: слушай! Не улетело ли время? Не падаю ли я? Не упал ли я — в колодезь вечности?

— Что происходит со мною? Тише! Меня кольнуло — о горе! — в сердце? В самое сердце! О, разбейся, разбейся, сердце, после такого счастья, после такого укола!

— Как? Не стал ли мир сейчас совершенен? Круглым и зрелым? О, золотой круглый диск — куда летит он? Разве я бегу за ним? Тише!

Тише» — (тут Заратустра потянулся и почувствовал, что спит).

«Вставай, ты, сонливец! — говорил он самому себе.— Ты, спящий в полдень! Ну, вставайте, вы, старые ноги! Уже пора, давно пора, еще добрый конец пути остался вам.—

Теперь вы выспались, долго ли спали вы? Половину вечности! Ну, вставай теперь, мое старое сердце! Много ли нужно тебе времени после такого сна — чтобы проснуться?»

(Но тут он снова заснул, а душа его противилась, за-

щищалась и опять легла.) — «Оставь же меня! Тише! Не стал ли мир сейчас совершенен? О золотой круглый диск!» —

«Вставай,— говорил Заратустра,— ты, маленькая воровка, лентяйка! Как? Все еще потягиваться, зевать, вздыхать и падать в глубокие колодцы?

Кто же ты, о душа моя!» (и тут испугался он, ибо солнечный луч упал с неба на лицо ему).

«О небо надо мной,— сказал он, вздыхая, и сел,— ты глядишь на меня? Ты слушаешь странную душу мою?

Когда выпьешь ты эту каплю росы, упавшую на все земное,— когда выпьешь ты эту странную душу —

— когда, колодезь вечности! ты, радостная, ужасающая полуденная бездна! когда обратно втянешь ты в себя мою душу?» —

Так говорил Заратустра и поднялся с ложа своего у дерева, как будто после странного опьянения; а солнце все еще стояло прямо над головою его. Из этого можно заключить справедливо, что Заратустра в тот раз спал недолго.

Приветствие

Лишь поздно вечером, после долгих, напрасных исканий, Заратустра опять вернулся к пещере своей. Но когда он остановился перед нею не более как в двадцати шагах, случилось то, чего он теперь ожидал всего менее: снова услыхал он великий к р и к о п о м о щ и. И странно! На этот раз крик исходил из его собственной пещеры. Но это был долгий, сложный, странный крик, и Заратустра ясно различал, что он состоит из многих голосов: только издали можно было принять его за крик из одних только уст.

Тогда Заратустра бросился к пещере своей, и вот какое зрелище ожидало его тотчас после этого хора! Там сидели в сборе все, с кем провел он день: король направо и король налево, старый чародей, папа, добровольный нищий, тень, совестливый духом, мрачный прорицатель и осел; а самый безобразный человек надел на себя корону и опоясался двумя красными поясами — ибо он любил, как все безобразные, красиво одеваться. Посреди же этого печального

общества стоял орел Заратустры, взъерошенный и тревожный, ибо он должен был на многое отвечать, на что у гордости его не было ответа; а мудрая змея висела вокруг шеи его.

На все это смотрел Заратустра с великим удивлением; затем разглядел он отдельно каждого из гостей своих со снисходительным любопытством, читал в душах их и удивлялся снова. Тем временем собравшиеся поднялись с мест своих и почтительно ожидали, чтобы Заратустра заговорил. Заратустра же говорил так:

«Вы, отчаявшиеся! Вы, странные люди! Это в а ш крик о помощи слышал я? И теперь знаю я, где надо искать т о г о, кого тщетно искал я сегодня: высшего человека: —

— в моей собственной пещере сидит он, высший человек! Но чему удивляюсь я! Не сам ли я привлек его к себе медовыми жертвами и хитрыми приманками счастья своего?

Однако мне кажется, что вы не годитесь для совместного общества, вы, взывающие о помощи, вы смущаете сердце друг друга, сидя здесь вместе? Сперва должен придти некто,

— некто, который опять заставит вас смеяться, добрый, веселый шутник, танцор, ветер, сорвиголова, какой-нибудь старый безумец: — как кажется вам?

Но простите мне, вы, отчаявшиеся, что я обращаюсь к вам с такой ничтожной речью, недостойной, поистине, таких гостей! Но вы не догадываетесь, ч т о делает бодрым сердце мое: —

— вы сами делаете это и вид ваш, простите мне! Ибо всякий, кто смотрит на отчаявшегося, становится бодрым. Чтобы утешить отчаявшегося — для этого считает себя каждый достаточно сильным.

Мне самому придали вы эту силу,— драгоценный дар, мои высокие гости! Настоящий подарок гостей! Ну что ж, не сердитесь, что я предлагаю вам свой.

Здесь царство мое и владения мои: но все мое на этот вечер и эту ночь должно быть и вашим. Пусть звери мои служат вам: пусть будет пещера моя местом отдохновения вашего!

В моем доме, у очага моего никто не должен отчаиваться, в моих владениях защищаю я каждого от диких зверей его. И первое, что предлагаю я вам: безопасность!

Второе же: мой мизинец. И если о н у вас, возьмите и всю руку, ну что ж! и сердце в придачу. Милости просим, поклон вам, желанные гости мои!» —

Так говорил Заратустра и смеялся, полный любви и злобы. После этого приветствия гости его вторично поклонились ему в почтительном молчании; король же направо отвечал ему от их имени.

«По тому, о Заратустра, как ты предложил нам руку и привет свой, узнаем мы в тебе Заратустру. Ты унизился перед нами, почти оскорбил наше уважение к тебе: —

— но кто сумел бы, как ты, унизиться с такой гордостью? Э т о ободряет нас самих, это услада для глаз и сердец наших.

Чтобы видеть только это, мы охотно поднялись бы на более высокие горы, чем эта гора. Ибо как любители зрелищ пришли мы, мы хотели видеть, что делает ясным печальный взор.

И вот уже прекратился всякий крик наш о помощи. Уже открыты мысли и сердца наши и восхищены. Немногое надо: и наше мужество станет бодрым.

Ничего, о Заратустра, не растет на земле более радостного, чем высокая, сильная воля: она — прекраснейшее из произведений ее. Целый ландшафт оживляется от одного такого дерева.

С кедром сравниваю я, о Заратустра, всякого, кто вырастает подобно тебе: высокий, молчаливый, твердый, одинокий, сделанный из лучшего гибкого дерева, прекрасный, —

— простирающий крепкие зеленые ветви за пределы господства с в о е г о, энергично вопрошающий ветры и бурю и все, что от века близко к высотам,

— еще энергичнее отвечающий, повелевающий, победоносный: о, кто бы не поднялся на высокие горы, чтобы только посмотреть на такие деревья?

Под деревом твоим, о Заратустра, оживляется и печальный, и неудачник, при виде тебя успокаивается беспокойный и исцеляется сердце его.

И поистине, на гору твою и к дереву твоему обращены сегодня многие взоры: возникло великое томление, и многие научились спрашивать: кто такой Заратустра?

И все, кому ты некогда по каплям вливал в уши песню

свою н мед свой: все, кто прятались, кто жилн одииоко или вдвоем, заговорнлн сразу к сердцу своему:

«Жнв лн еще Заратустра? Не стонт больше жнть, все равно, все тщетно: — мы должиы жнть с Заратустрой!»

«Почему не прнходит тот, кто так давно возвестил о себе? — так вопрошают многне.— Не поглотило лн его одниочество? Илн мы должны самн пойтн к нему?»

Теперь случается, что само однночество нстлело н распадается, подобно могнле, которая распадается и ие может больше держать мертвецов своих. Всюду вндны воскресшие.

Теперь волиы поднимаются все выше н выше вокруг горы твоей, о Заратустра. И как ни высока высота твоя, миогие должны подияться к тебе; твой челн уже недолго остается на суше.

И то, что мы, отчаявшнеся, теперь прншлн в пещеру твою и уже больше ие отчанваемся: служит лишь предзиаменованием, что лучшне иаходятся иа путн к тебе,—

— ибо он сам находнтся иа пути к тебе, последиий остаток бога средн людей, а таковы нменно: все людн велнкого томления, великого отвращення, велнкого пресыщення,

— все, кто не хотят жить, если только не научатся снова *надеяться* — еслн только не научатся у тебя, о Заратустра, *велнкой* надежде!» —

Так говорил король направо н схватнл руку Заратустры, чтобы поцеловать ее; но Заратустра уклоннлся от его почнтания н отступил с испугом, молча и как бы виезапио устремляясь в широкую даль. Но немного спустя был ои уже опять у гостей своих, смотрел на ннх ясным, нспытующим взором и говорил:

«Гостн мои, вы, высшне людн, я хочу говорнть с вами по-немецкн н ясно. Не *вас* ожндал я здесь, в этнх горах».

(«По-иемецкн и ясио? Боже, упасн! — сказал тут король иалево.— Заметно, он не знает мнлых немцев, этот мудрец с Востока!

Но он хочет сказать «по-иемецкн и грубо» — ну что ж! Для сегодия это еще ие худший вкус!»)

Пускай, понстнне, вы будете, вместе взятые, высшимн людьми: но для меня — вы недостаточно высокн н недостаточио сильиы.

Для меня — это зиачнт: для того неумолнмого, что

молчит во мне, но не всегда будет молчать. Если вы и принадлежите мне, то все-таки не так, как правая рука моя.

Ибо кто сам ходит на больных и слабых ногах, подобно вам, тот хочет прежде всего, знает ли он это или скрывает от себя: чтобы *щадили* его.

Но ни рук моих, ни ног моих не щажу я, я *не щажу своих* воинов: как же могли бы вы годиться для *моей* войны?

С вами погубил бы я всякую победу. И многие из вас упали бы, как только услыхали бы громкий бой барабанов моих.

Так же вы для меня недостаточно прекрасны и недостаточно благородны. Я употребляю чистые и гладкие зеркала для учения своего; а на вашей поверхности искажается даже собственный образ мой.

Ваши плечи давит много тяжестей, много воспоминаний; много злых карликов сидит, скорчившись, в закоулках ваших. Даже в вас есть скрытая чернь.

И пусть вы высоки и более высокого рода: многое в вас криво и безобразно. Нет в мире кузнеца, который мог бы исправить и выпрямить вас.

Вы только мост: чтобы высшие перешли через вас! Вы означаете ступени: не сердитесь же на того, кто по вам поднимается на высоту *свою*!

Быть может, из семени вашего некогда вырастет настоящий сын и совершенный наследник мой: но это еще далеко. Сами вы не те, кому принадлежит наследство мое и имя мое.

Не вас жду я здесь, в этих горах, не с вами спущусь я вниз в последний раз. Только как предзнаменование пришли вы ко мне — что высшие люди находятся уже на пути ко мне,—

— не люди великого томления, великого отвращения, великого пресыщения, и не те, которых назвали вы последним остатком бога.

— Нет! нет! трижды нет! *Других* жду я здесь, в этих горах, и без них не шевельну я ногой, чтобы уйти отсюда,

— высших, более сильных, победоносных, более веселых, таких, у которых правильно построены тело и душа: *смеющиеся львы* должны придти!

О желанные гости мои, вы, странные люди,— неужели вы еще ничего не слыхали о детях моих? И что они находятся на пути ко мне?

Говорите же вы мне о садах моих, о блаженных островах моих, о новом прекрасном потомстве моем — почему не говорите вы мне о них?

Об этом даре прошу я у любви вашей, чтобы говорили вы мне о детях моих. Ими богат я, через них обеднел я: чего не отдал я.—

— чего не отдал бы я, чтобы иметь лишь одно: *этих* детей, *эти* живые насаждения, *эти* деревья жизни, моей воли и моей высшей надежды!» —

Так говорил Заратустра и внезапно прервал речь свою: ибо им овладело томление его, и он сомкнул глаза и уста, так велико было движение сердца его. И все гости его также молчали, неподвижные и смущенные: один только старый прорицатель делал знаки рукою и выражением лица своего.

Пир

На этом месте прорицатель прервал приветствие Заратустры и гостей его: он протиснулся вперед, как тот, кому нельзя терять времени, схватил руку Заратустры и воскликнул: «Но, Заратустра!

Одно бывает необходимее другого, так говоришь ты сам: ну что ж, одно для *меня* теперь необходимее всего остального.

Кстати: разве не пригласил ты меня на *пир*? И здесь находятся многие, совершившие длинный путь. Не речами же хочешь ты накормить нас?

Кроме того, все мы уже слишком много говорили о замерзании, утоплении, удушении и других телесных бедствиях: но никто не вспомнил о *моей беде*, о страхе умереть с голоду».—

(Так говорил прорицатель; но когда звери Заратустры услыхали слова эти, они со страху убежали. Ибо они видели, что всего принесенного ими в течение дня будет недостаточно, чтобы накормить досыта одного только прорицателя.)

«Включая сюда н страх умереть от жажды,— продолжал прорицатель.— И хотя я слышу, что вода здесь журчнт, подобно речам мудрости, в нзобнлин н неустанно: но я — хочу в и н а!

Не всякнй, как Заратустра, пьет от рожденья одну только воду. Вода не годнтся для усталых н поблекшнх: н а м нужно внно,— только о н о дает внезапное выздоровление н нмпровнзированиое здоровье!»

Прн этом удобном случае, пока прорицатель просил внна, удалось н королю налево, молчалнвому, также промолвнть слово. «О внне,— сказал он,— мы позаботнлнсь, я с монм братом, королем направо: у нас внна достаточно — целый осел. Так что недостает только хлеба.»

«Хлеба? — возразил Заратустра смеясь.— Как раз хлеба и не бывает у отшельннков. Но не одннм только хлебом жнв человек, а и мясом хорошнх ягнят, и у меня нх двое:

— пусть скорее заколют нх н прнправят ароматом шалфея: так люблю я. Также нет недостатка в кореньях н плодах, годных даже для лакомок и гастрономов; есть также орехн н друтне загадки, чтобы пощелкать.

Мы скоро устронм зиатный пир. Но кто хочет в нем участвовать, должен также прнложнть рукн, даже королн. Ибо у Заратустры даже король может быть поваром.»

Это предложенне прншлось всем по сердцу: только добровольный ннщий был протнв мяса, внна и пряностей.

«Слушайте же этого обжору Заратустру! — сказал он шутлнво: — Для того лн ндут в пещеры н на высокне горы, чтобы устранвать такне пнры?

Теперь понимаю я, чему он некогда иас учил, говоря: «Хвала малой бедностн!», почему ои н хочет уннчтожить нищих.»

«Будь весел, как я,— отвечал Заратустра.— Оставайся прн своих привычках, превосходный человек! жуй свон зерна, пей свою воду, хвалн свою кухню: если только оиа веселнт тебя!

Я закои только для монх, а не закои для всех. Но кто прииадлежнт мне, должен нметь крепкне костн и легкую поступь,—

— находнть удовольствне в войнах н пнршествах, а ие

быть хмурым мечтателем, быть готовым ко всему самому трудному как к праздинику своему, быть здоровым и невредимым.

Лучшее прииадлежит моим и мие; и еслн ие дают иам его, мы сами его берем: — лучшую пищу, самое чистое иебо, самые мощные мыслн, самых прекрасиых жеищии!» —

Так говорил Заратустра; ио король иаправо заметил: «Страиио! Слыханы ли когда-иибудь такие умиые речи из уст мудреца?

И поистиие, весьма редко встречается мудрец, который вдобавок был бы умеи и ие был бы ослом».

Так говорил король иаправо и удивлялся; осел же злорадио прибавил к его речи И-А*. Это и было иачалом той продолжительиой беседы, которая иазваиа «пиром» в исторических кингах. Но во время этого пира ие говорилось ни о чем другом, как только о *высшем человеке*.

О высшем человеке

1

Когда в первый раз пошел я к людям, совершил я безумие отшельиика, великое безумие: я явился иа базариую площадь.

И когда я говорил ко всем, я ни к кому не говорил. Но к вечеру каиатные плясуиы были моими товарищами — и трупы; и я сам стал почти что трупом.

Но с иовым утром пришла ко мие и иовая истииа: тогда иаучился я говорить: «Что мие до базара и толпы, до шума толпы и длиниых ушей ее!»

Вы, высшие люди, этому иаучитесь у меия: иа базаре ие верит иикто в высших людей. И еслн хотите вы там говорить, иу что ж! Но толпа моргает: «Мы все равны».

«Вы, высшие люди,— так моргает толпа,— ие существует высших людей, мы все равиы, человек есть человек, перед богом — мы все равиы!»

Перед богом! — Но теперь умер этот бог. А перед толпою мы ие хотим быть равиы. Вы, высшие люди, уходите с базара!

* Немецкое «ja» — «да» (*прим. В. Изразцова*).

2

Перед богом! — Но теперь умер этот бог! Вы, высшие люди, этот бог был вашей величайшей опасностью.

С тех пор как лежит он в могиле, вы впервые воскресли. Только теперь наступает великий полдень, только теперь высший человек становится — господином!

Поняли ли вы это слово, о братья мои? Вы испугались: встревожилось сердце ваше? Не зияет ли здесь бездна для вас? Не лает ли здесь адский пес на вас?

Ну что ж! вперед! высшие люди! Только теперь гора человеческого будущего готова родить. Бог умер: теперь хотим *мы*,— чтобы жил сверхчеловек.

3

Самые заботливые вопрошают теперь: «Как сохраниться человеку?» Заратустра же спрашивает, единственный и первый: «Как *превзойти* человека?»

К сверхчеловеку лежит сердце мое, *он* для меня первое и единственное,— а *не* человек: не ближний, не самый бедный, не самый страждущий, не самый лучший.—

О братья мои, если что я могу любить в человеке, так это только то, что он есть переход и уничтожение. И даже в вас есть многое, что пробуждает во мне любовь и надежду.

Ваша ненависть, о высшие люди, пробуждает во мне надежду. Ибо великие ненавистники суть великие почитатели.

Ваше отчаяние достойно великого уважения. Ибо вы не научились подчиняться, вы не научились маленькому благоразумию.

Ибо теперь маленькие люди стали господами: они все проповедуют покорность, скромность, благоразумие, старание, осторожность и длинную вереницу остальных маленьких добродетелей.

Все женское, все рабское и особенно вся чернь: *это* хочет теперь стать господином всей человеческой судьбы — о отвращение! отвращение! отвращение!

Они неустанно спрашивают: «Как лучше, дольше и приятнее сохраниться человеку?» И потому — они господа сегодняшнего дня.

Этих господ сегодняшнего дня превзойдите мне, о бра-

тья мои,— этих маленьких людей: о н и величайшая опасность для сверхчеловека!

Превзойдите мне, о высшие люди, маленькие добродетели, маленькое благоразумие, боязливую осторожность, кишенье муравьев, жалкое довольство, «счастье большинства»! —

И лучше уж отчаивайтесь, но не сдавайтесь. И поистине, я люблю вас за то, что вы сегодня не умеете жить, о высшие люди! Ибо так вы живете — лучше всего!

4

Есть ли в вас мужество, о братья мои? Есть ли сердце в вас? Не мужество перед свидетелями, а мужество отшельника и орла, на которое уже не смотрит даже бог?

У холодных душ, у мулов, у слепых и у пьяных нет того, что называю я мужеством. Лишь у того есть мужество, кто знает страх, но п о б е ж д а е т его, кто видит бездну, но с г о р д о с т ь ю смотрит в нее.

Кто смотрит в бездну, но глазами орла, кто х в а т а е т бездну когтями орла: лишь в том есть мужество.—

5

«Человек зол» — так говорили мне в утешение все мудрецы. Ах, если бы это и сегодня было еще правдой! Ибо зло есть лучшая сила человека.

«Человек должен становиться все лучше и злее» — так учу я. Самое злое нужно для блага сверхчеловека.

Могло быть благом для проповедника маленьких людей, что страдал и нес он грехи людей. А я радуюсь великому греху как великому у т е ш е н и ю своему.—

Но все это сказано не для длинных ушей. Не всякое слово годится ко всякому рылу. Это тонкие, дальние вещи: ноги овец не должны топтать их!

6

О высшие люди, не думаете ли вы, что я здесь для того, чтобы исправить то, что сделали вы дурного?

Или что хочу я отныне удобнее уложить вас, страдающих? Или указать вам, беспокойным, сбившимся с пути и потерявшимся в горах, новые, более удобные тропинки?

Нет! нет! трижды нет! Всё больше все лучшие из рода вашего должны гибнуть,— ибо вам должно становиться все хуже и жестче. Ибо только этим путем —

— только этим путем вырастает человек до той высоты, где молния поражает и убивает его: достаточно высоко для молнии!

На немногое, на долгое, на дальнее направлены мысль моя и желание мое: что мне до вашей маленькой, обыкновенной и короткой нищеты!

По-моему, вы еще недостаточно страдаете! Ибо вы страдаете из-за себя, вы еще не страдали из-за человека. Вы солгали бы, если бы сказали иначе! Никто из вас не страдает из-за того, из-за чего я страдал.—

7

Мне недостаточно того, чтобы молния не вредила больше. Не отвращать хочу я ее: она должна научиться работать — для меня.

Моя мудрость собирается уже давно, подобно туче, она становится все спокойнее и темнее. Так бывает со всякою мудростью, которая должна некогда родить молнии.

Для этих людей сегодняшнего дня не хочу я ни быть светом, ни называться им. Их — хочу я ослепить: молния мудрости моей! выжги им глаза!

8

Вы не должны ничего хотеть свыше сил своих: дурная лживость присуща тем, кто хотят свыше сил своих.

Особенно когда они хотят великих вещей! Ибо они возбуждают недоверие к великим вещам, эти ловкие фальшивомонетчики, эти комедианты:

— пока, наконец, они не изолгутся, косые, снаружи окрашенные, но внутри разъедаемые червями, прикрытые великими словами, показными добродетелями, блестящими поддельными делами.

Будьте очень осторожны с ними, о высшие люди! Ибо нет для меня сегодня ничего более драгоценного и более редкого, чем правдивость.

Но не принадлежит ли это «сегодня» толпе? Толпа ведь не знает, что велико, что мало, что прямо и правдиво: она криводушна по невинности, она лжет всегда.

9

Будьте сегодня недоверчивы, о высшие люди, люди муже-

ственные и чистосердечные! И держите втайне основания ваши! Ибо это «сегодня» принадлежит толпе.

Чему толпа научилась верить без оснований, кто мог бы у нее это опровергнуть — основаниями?

На базаре убеждают жестами. Но основания делают толпу недоверчивой.

И если когда-нибудь истина достигала там торжества, то спрашивайте себя с недоверием: «Какое же великое заблуждение боролось за нее?»

Остерегайтесь также ученых. Они ненавидят вас: ибо они бесплодны! У них холодные, иссохшие глаза, перед ними лежит всякая птица ощипанной.

Они кичатся тем, что они не лгут: но неспособность ко лжи далеко еще не есть любовь к истине. Остерегайтесь!

Отсутствие лихорадки далеко еще не есть познание! Застывшим умам не верю я. Кто не может лгать, не знает, что есть истина.

10

Если вы хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами! Не позволяйте н е с т и себя, не садитесь на чужие плечи и головы!

Но ты сел на коня? Ты быстро мчишься теперь вверх, к своей цели? Ну что ж, мой друг! Твоя хромая нога ведь также сидит на лошади вместе с тобою!

Когда ты будешь у цели своей, когда ты спрыгнешь с коня своего: именно на в ы с о т е своей, о высший человек,— ты и споткнешься!

11

Вы, созидающие, вы, высшие люди! Бывает беременность только своим ребенком.

Не позволяйте вводить себя в заблуждение! Кто же ближний в а ш? И если действуете вы «для ближнего» — вы созидаете все-таки не для него!

Забудьте же об этом «для», вы, созидающие: ибо ваша добродетель требует, чтобы вы не имели никакого дела с этими «для», «ради» и «потому что». Заткните уши свои от этих лживых, маленьких слов.

«Для ближнего» — это добродетель только маленьких людей: у них говорят «один стоит другого» и «рука руку мо-

ет»: — у них нет ни права, ни силы для в а ш е г о эгоизма!

В эгоизме вашем, вы, созидающие, есть осторожность и предусмотрительность беременной женщины! Чего никто еще не видел глазами, плод: он охраняет, бережет и питает всю вашу любовь.

В ребенке вашем вся ваша любовь, в нем же и вся ваша добродетель! Ваше дело, ваша воля — «ближний» в а ш; не позволяйте навязывать себе ложных ценностей!

12

Вы, созидающие, вы, высшие люди! Кто должен родить, тот болен; но кто родил, тот нечист.

Спросите у женщин: родят не потому, что это доставляет удовольствие. Боль заставляет кудахтать кур и поэтов.

Вы, созидающие, и в вас есть много нечистого. Это потому, что вы должны быть матерями.

Новорожденный: о, как много новой грязи появилось с ним на свет! Посторонитесь! И кто родил, должен омыть душу свою!

13

Не будьте добродетельны свыше сил своих! И не требуйте от себя ничего невероятного!

Ходите по стопам, по которым уже ходила добродетель отцов ваших! Как могли бы вы подняться высоко, если бы воля отцов ваших не поднималась с вами?

Но кто хочет быть первенцем, пусть смотрит, чтобы не сделаться ему последним! И где есть пороки отцов ваших, там не должны вы желать казаться святыми!

Что было бы, если бы потребовал от себя целомудрия тот, чьи отцы посещали женщин и любили крепкие вина и кабанов?

Это было бы безумием! Для него, понятие, уже много, если будет он мужем одной, двух или трех женщин.

И если бы основывал он монастыри и писал над дверью: «Дорога к святому»,— я все-таки сказал бы: к чему! ведь это новое безумие!

Он основал для себя самого смирительный дом и убежище: на здоровье! Но я не верю этому.

В уединении растет то, что каждый вносит в него, даже

виутреииее жнвотиое. Поэтому отговариваю я многих от одиночества.

Существовало ли до сих пор на земле что-ибудь более грязиое, чем отшельники? Около *их* срывался с цепн ие только дьявол,— ио и свиииья.

14

Оробевшимн, пристыжеииыми, иеловкимн, похожимн на тигра, которому ие удался прыжок его: такимн, о высшие люди, видел я часто вас, когда крались вы стороиою. *Игра в кости* не удалась вам.

Но что же из этого, вы, играющие в кости! Вы ие иаучились играть и смеяться, как нужио играть н смеяться! Не сидим ли мы всегда за большнм столом иасмешек и игр?

И еслн вам не удалось велнкое, зиачнт лн это, что вы сами — не удались? И еслн ие удалнсь вы самн, не удался и — человек? Если же ие удался человек: ну что ж!

15

Чем совершеинее вещь, тем реже она удается. О высшие люди, разве ие все вы — не удалнсь?

Будьте бодры, что нз этого! Сколь миогое еще возможио! Учнтесь смеяться над собой, как иадо смеяться!

Что же удивнтельиого, что вы ие удались или что удались иаполовииу, вы, полуразбитые! Не бьется ли и ие мечется ли в вас — *будущее* человека?

Все, что есть в человеке самого далекого, самого глубокого, звездоподобиая высота его н огромиая сила его: все это не бродит лн в котле вашем?

Что же удивительиого, если иной котел разбивается! Учитесь смеяться над собой, как иадо смеяться! О высшие люди, сколь миогое еще возможио!

И поистнне, сколь многое удалось уже! Как богата эта земля маленькими, хорошими, совершеиными вещами, вещами вполне удавшимнся!

Окружайте себя малеиькими, хорошими, совершеиными вещами, о высшие люди! Их золотая зрелость исцеляет сердце. Все совершеииое учит иадеяться.

16

Что было здесь иа земле доселе самым тяжким грехом? Не

были ли этим грехом слова того, кто говорил: «Горе здесь смеющимся!»

Разве ие иашел ои иа земле иикаких осиоваиий для смеха? Зиачит, искал ои плохо. Дитя иаходит здесь осиования для смеха.

Ои — иедостаточио любил: иначе ои полюбил бы и иас, смеющихся! Но он иеиавидел и позорил иас, плач и скрежет зубовиый предрекал ои иам.

Надо ли тотчас проклиииать, если ие любишь? Это — кажется мие дуриым вкусом. Но так делал он, этот безусловиый. Ои происходил из толпы.

И ои сам иедостаточио любил: иначе ои меньше сердился бы, что ие любят его. Всякая великая любовь *хочет* ие любви: — оиа хочет большого.

Стороиитесь всех этих безусловиых! Это бедиый, больиой род, род толпы: оии дурио смотрят иа эту жизиь, у иих дурной глаз для этой земли.

Стороиитесь всех этих безусловиых! У иих тяжелая поступь и тяжелые сердца: — оии ие умеют плясать. Как могла бы для иих земля быть легкой!

17

Кривым путем приближаются все хорошие вещи к цели своей. Они выгибаются, как кошки, оии мурлычут от близкого счастья своего,— все хорошие вещи смеются.

Походка обнаруживает, идет ли кто уже по пути *своему*: смотрите, как я иду! Но кто приближается к цели своей, тот танцует.

И поистиие, статуей ие сделался я, еще ие стою я иеподвижным, тупым и окамеиелым, как столб; я люблю быстрый бег.

И хотя есть иа земле трясииа и густая печаль: но у кого легкие иоги, тот бежит поверх тииы и таицует, как иа чистом льду.

Поднимайте сердца ващи, братья мои, выше, все выше! И ие забывайте также и ног! Поднимайте также и иоги ваши, вы, хорошие таицоры, а еще лучше: стойте иа головах!

18

Этот венок смеющегося, этот венок из роз: я сам надел иа себя этот венок, я сам признал священным свой смех. Ни-

кого другого не нашел я теперь достаточно сильным для этого.

Заратустра танцор, Заратустра легкий, машущий крыльями, готовый лететь, манящий всех птиц, проворный, божественно легкий: —

Заратустра прорицатель, Заратустра смеющийся, не нетерпеливый, не безусловный, любящий прыжки; я сам надел на себя этот венок!

19

Поднимайте сердца ваши, братья мои, выше! все выше! И не забывайте также и ног! Поднимайте также и ноги ваши, вы, хорошие танцоры, а еще лучше: стойте на головах!

Существуют и в счастье тяжеловесные звери, есть неуклюжие от рождения. Они делают смешные усилия, как слон, старающийся стоять на голове.

Но лучше быть смешным от счастья, чем смешным от несчастья, лучше неуклюже танцевать, чем ходить хромая. Учитесь же у мудрости моей: даже у худшей вещи есть две хорошие обратные стороны,—

— даже у худшей вещи есть хорошие ноги для танцев: так учитесь же вы сами, о высшие люди, становиться на настоящие ноги свои!

Забудьте же о скорби и о всякой печали толпы! О, какими печальными кажутся мне сегодня народные шуты. Но это «сегодня» принадлежит толпе.

20

Подражайте ветру, когда вырывается он из своих горных ущелий: под звуки собственной свирели хочет он танцевать, моря дрожат и прыгают под стопами его.

Хвала доброму, неукротимому духу, который дает крылья ослам, который доит львиц, который приходит, как ураган, для всякого «сегодня» и для всякой толпы,—

— который есть враг всякому чертополоху, всем увядшим листьям и сорным травам: хвала этому духу бурь, дикому, доброму и свободному, который танцует по болотам и по печали, как по лугам!

Который ненавидит чахлых псов из толпы и всякое неудачное, мрачное отродье: хвала этому духу всех свободных умов, смеющейся буре, которая засыпает глаза пылью всякому, кто видит лишь черное и сам покрыт язвами!

О высшие люди, ваше худшее в том, что все вы не научились танцевать, как нужно танцевать,— танцевать выше себя! Что из того, что вы не удались!

Сколь многое еще возможно! Так научитесь же смеяться выше себя! Подымайте сердца ваши, вы, хорошие танцоры, выше, все выше! И не забывайте также и доброго смеха!

Этот венок смеющегося, этот венок из роз: вам, братья мои, кидаю я этот венок! Смех признал я священным; о высшие люди, научитесь же у меня — смеяться!

Песнь тоски

1

Когда Заратустра говорил эти речи, стоял он близко ко входу в пещеру свою; но с последними словами незаметно ускользнул он от гостей своих и выбежал на короткое время на чистый воздух.

«О чистый запах,— воскликнул он,— о блаженная тишина, меня окружающие! Но где звери мои? Сюда, сюда, орел мой и змея моя!

Скажите мне, звери мои: эти высшие люди все вместе — быть может, они пахнут нехорошо? О чистый запах, окружающий меня! Теперь только знаю и чувствую я, как я люблю вас, звери мои.»

И Заратустра повторил еще раз: «Я люблю вас, звери мои!» Орел же и змея приблизились к нему, когда он произнес эти слова, и подняли на него взоры свои. Так стояли они тихо втроем и вдыхали в себя чистый воздух. Ибо воздух здесь, снаружи, был лучше, чем у высших людей.

2

Но едва покинул Заратустра пещеру свою, как поднялся старый чародей, лукаво оглянулся кругом и сказал: «Он вышел!

И вот уже, о высшие люди,— позвольте и мне, подобно ему, польстить вам этим именем льстивой похвалы — и вот уже овладевает мною мой злой дух, обманщик и чародей, мой демон тоски,

— который до глубины души противник этого Заратустры: простите это ему! Теперь хочет он показать вам

свои чары, ибо настал час е г о: тщетно борюсь я с этим злым духом.

Всем вам, какое бы почтание ни воздавали вы себе на словах, будете ли вы называть себя «свободомыслящими», или «правдивыми», или «кающимися духом», или «освобожденными из оков», или «алчущими и жаждущими»,

— всем вам, страдающим, подобно мне, в е л и к и м о т в р а щ е н и е м, для которых умер старый бог, а новый бог даже не лежит еще спеленутым в колыбели,— всем вам мил мой дух и демон-чародей.

Я знаю вас, о высшие люди, я знаю его,— я знаю также этого демона, которого я люблю против воли, этого Заратустру: он сам часто кажется мне похожим на прекрасную маску святого,

— похожим на новый удивительный маскарад, в котором находит удовольствие мой злой дух, мой демон тоски: — я люблю Заратустру, часто кажется мне, ради моего злого духа.—

Но о н уже овладевает мною и угнетает меня, этот дух тоски, этот демон вечерних сумерек: и поистине, о высшие люди, ему хочется —

— шире раскройте глаза! — ему хочется придти н а г и м, мужчиной или женщиной, еще не знаю я: но он идет, он угнетает меня, горе! шире раскройте чувства ваши!

День отзвучал, для всех вещей наступает теперь вечер, даже для лучших вещей; слушайте теперь и смотрите, о высшие люди, каков этот демон, мужчина или женщина, этот дух вечерней тоски!» —

Так говорил старый чародей, лукаво оглянулся и схватил свою арфу.

3

Когда яснеет воздух и на землю,
Как утешенье, роса нисходит,
Стопой невидимой, неслышной, нежной,
Как все, несущее успокоенья сладость —
Ты вспомнишь ли, горячая душа,—
Какою жаждою томилась ты когда-то
По ниспадающим с небес слезам-росинкам,
Усталая, в изнеможенья жалком,
Под злыми взглядами спускавшегося солнца,

Спешившего тропинкой пожелтевшей
Злорадно ослеплявшими лучами
Между дерев, черневших вкруг меня.

Ты п р а в д ы рыцарь? Ты? так тешились они.
Нет, ты поэт, и только.
Ты хищный, лживый ползающий зверь,
Который должен лгать,
Под маской хитрой жертву карауля,
Сам маска для себя
И сам себе добыча.
И это рыцарь правды?! Нет.
Лишь скоморох, поэт, и только,
Хитро болтающий под маскою затейной,
Ты, рыскающий вкруг, карабкаясь, всползаешь —
По ложным из нагроможденных слов мостам,
По лживым радугам среди небес обманных.
Лишь скоморох, поэт, и только.

И это рыцарь правды?! Нет.
Ты не стоишь холодный, недвижимый,
Как образ божества, спокойный,
Как изваяние его пред храмом,
Как врат господиих страж...
Ты добродетельной устойчивости враг,
Не в храмах дома ты, а в дикой чаще,
Ты полн упрямого, кошачьего стремленья,
Рад выпрыгнуть в окно под всякий случай,
И лесу девственному рад кричать приветно,
Что в чаще непролазной ты носился.
Средь пестрых хищников в косматых шкурах,
Греховной красоты, здоровья полный,—
Что, сладострастно ноздри раздувая,
Насмешливый в блаженстве кровожадном,
Ты хищничал и крался, полный лжи.

Порой, орлу подобно, с высоты
Уставив в глубину недвижный взгляд,
В свое владенье, в пропасть смотришь долго,
Как вглубь стремясь, она все ниже, вниз
Змеится кольцами, спускаясь внутрь —
И вдруг

Затем
В паденнн отвесном
Полет, как меч, направнв,
В ягнят ударнл ты,
Стремительно бросаясь с хищиым жаром
Терзать ягнят
Со злобой протнв всех овечьих душ
И яростио кнпя на все, что смотрит
Овцеподобию, добродетельно, курчаво,
С приветиой тупостью ягият молочиых.

Вот так
Пантеры свойств, орлнных качеств
Исполнены поэта ощущенья,
Онн твон под тысячью личин,
Твои, поэт и скоморох.

Ведь это ты, прнзнавшнй в человеке
Так безразлнчно бога н овцу,
И, божество терзая в человеке,
В нем также н овцу терзаешь ты,
Терзаешь, радуясь.
Твое блаженство в этом,
Блажеиство злой паитеры н орла,
Блаженство скомороха н поэта.

Когда ясиеет воздух н луна
Серпом зеленоватым между тучек,
Средн полос пурпурных вдруг мелькнувшн,
Прокрадется завистливо, как враг,
Диевиого света враг,—
Она все блнже, блнже подступает,
Подрезывая тайно, постепенно
Ковры нз роз, гнрляндами висящих,
Пока цветы с головкой побледневшей
Не опрокннутся в ночиую тьму.

Так я упал когда-то с высоты,
Где в сновидеиьях правды я носился —
Весь полный ощущеннй дня н света,
Упал я иавзничь в тьму вечерней тенн,
Испепелеиный правдою одиою

И жаждущий единой этой правды,—
Ты помнишь ли еще, горячая душа,
Как мы тогда томились этой жаждой,
Томились тем, что ты в изгнаньи вечном,
От всякой правды далеко,
Лишь скоморох, поэт, и только.

О науке

Так пел чародей; и все собравшиеся попали, как птицы, незаметно в сети его хитрого, мрачного сладострастия. Только совестливый духом не был пойман им: он быстро отнял арфу из рук чародея и воскликнул: «Воздуху! Впустите чистого воздуху! Впустите Заратустру! Ты делаешь воздух этой пещеры удушливым и ядовитым, ты, старый, злой чародей!

Лживый и утонченный, ты соблазняешь к неведомым страстям и к неведомым пустыням. И горе, если такие, как ты, говорят об *истине* и придают значение ей!

Горе всем свободным умам, которые не остерегаются *таких* чародеев! Они должны проститься со свободой своей: ты учишь возвращению в тюрьмы и манишь назад, в темницы,—

— ты, старый, мрачный демон, в жалобе твоей слышится манящая свирель, ты похож на тех, кто своей похвалой целомудрию призывает тайно к разврату!»

Так говорил совестливый; старый же чародей оглядывался кругом, наслаждаясь победой своей, и потому проглотил досаду, причиненную ему совестливым. «Помолчи! — сказал он скромным голосом.— Хорошие песни должны хорошо отзываться в сердцах: после хороших песен надо долго хранить молчание.

Так поступают все эти высшие люди. Но ты, должно быть, мало понял из песни моей? В тебе очень мало от духа чародея.»

«Ты хвалишь меня,— возразил совестливый,— отделяя меня от себя; ну что ж! Но вы, остальные, что вижу я? Вы все сидите еще с похотливыми глазами: —

О свободные души, куда девалась свобода ваша! Вы кажетесь мне похожими на тех, кто долго смотрели на развратных женщин, нагих и танцующих: ваши души сами начали танцевать!

В вас, о высшие люди, еще миого есть из того, что чародей иазывает своим злым духом, обмаищиком и чародеем: — мы, коиечио, должиы различаться.

И поистиие, мы достаточио говорили и думали вместе, прежде чѐм Заратустра вериулся в пещеру свою, чтобы зиать, что м ы различны.

И мы и щ е м различиого даже здесь, иаверху, вы и я. Ибо я ищу побольше у с т о й ч и в о с т и, потому и пришел я к Заратустре. Ибо ои самая крепкая башия и воля —

— теперь, когда все колеблется, когда вся земля дрожит. Но когда я вижу глаза, какие вы делаете, я скорее поверил бы, что вы ищете п о б о л ь ш е и е у с т о й ч и в о с т и,

побольше страха, побольше опасиости, побольше землетрясеиия. Вы хотите, как кажется мие, простите предположеиие мое, о высшие люди,—

— вы хотите самой трудиой, самой опасиой жизии, виушающей м и е иаибольший страх, жизии диких зверей, хотите лесов, пещер, гориых стремиии и иепроходимых ущелий.

И ие те, что ведут вас и з опасиости, иравятся вам больше всего, а те, что уводят вас в стороиу от всех дорог, соблазиители. Но если такое желаиие и с т и и и о в вас, все-таки оио кажется мие н е в о з м о ж и ы м.

Ибо страх — иаследствеииое, осиовиое чувство человека; страхом объясияется все, иаследствеииый грех и иаследствеииая добродетель. Из страха выросла и м о я добродетель, оиа иазывается: иаука.

Ибо страх перед дикими животиыми — этот страх дольше всего воспитывается в человеке, включая и страх перед тем животиым, которого человек прячет и страшится в себе самом: — Заратустра иазывает его «виутреииим животиым».

Этот долгий, старый страх, ставший иакоиец тоиким и одухотвореииым,— теперь, мие кажется, иазывается: и а у к а.» —

Так говорил совестливый; ио Заратустра, который только что вериулся в пещеру свою и слышал последиие слова и угадал смысл их, кииул совестливому горсть роз и смеялся иад «истииами» его. «Как! — воскликиул ои.— Что слышал я только что? Поистиие, кажется мие, что или ты глупец, или я сам: и твою «истииу» мигом поставлю я вверх ногами.

Ибо с т р а х — исключение для иас. Но мужество, дух приключений, любовь к иеизвестному, к тому, иа что никто еще не отважился,— м у ж е с т в о м кажется мие вся первобытиая история человека.

Самым диким, самым мужествеииым животиым позавидовал ои и отнял у иих все добродетели их: только этим путем стал он — человеком.

Э т о мужество, ставшее иакойец тоиким и одухотворенным, это мужество человеческое, с орлииыми крыльямн и змеиною мудростью: э т о мужество, кажется мне, называется теперь —»

«З а р а т у с т р о й!» — крикиулн в один голос все собравшиеся н громко рассмеялись; ио от иих подиялось как бы тяжелое облако. Чародей также засмеялся и сказал с лукавым видом: «Ну что ж! Он ушел, мой злой дух!

И разве я сам ие предостерегал вас от иего, когда я говорил, что он обманщик, дух лжи и обмаиа?

Особеиио когда он показывается иагим. Но разве я ответствен за козни его? Разве я создал его и мир?

Ну что ж! Будем опять добрыми и веселыми! И хотя Заратустра смотрит уже сердито — взглянните, одиако, на иего! ои сердится иа меня: —

— но прежде чем иаступит ночь, научится он сиова меня любить и хвалнть, он не может долго жить, не делая этих безумств.

Он — любит врагов свонх: это искусство поиимает ои лучше всех, кого только я видел, ио за это ои мстит — друзьям своим!»

Так говорил старый чародей, и высшие люди согласнлись с иим: так что Заратустра стал обходнть друзей своих, пожимая им руки со злобой и любовью,— как тот, кто имеет перед каждым из них в чем-ибудь извинииться н что-ибудь поправить. Но когда подошел он к двери пещеры своей, ему опять захотелось на чистый воздух и к зверям своим,— и ои уже собрался ускользиуть к ним.

Среди дочерей пустыии

1

«Не уходи! — сказал тут странник, иазывавший себя теиью Заратустры.— Останься с иами,— ииаче прежияя удушливая тоска опять овладеет иами.

Уже дал иам этот старый чародей все худшее, что

было у него, н смотрн, добрый благочестнвый папа снднт уже со слезамн на глазах н готов плыть по морю тоскн.

Этн короли, кажется мне, еще бодрятся перед нами: ибо этому научились оин у всех нас сегодня лучше всего! Но не будь свидетелей, я держу парн, также у них опять иачалась бы скверная нгра,—

— скверная нгра ползущнх облаков, влажной тоскн, заволоченного иеба, украденных солнц, завывающнх осеиинх ветров,—

— скверная нгра нашего плача н крнка о помощи: останься у нас, Заратустра! Здесь много скрытой иищеты, которая хочет говорнть, много сумрака, много туч, много удушлнвого воздуха!

Ты иапитал нас крепкой пнщею мужей н подкрепляющимн нзречениями: не допускай же, чтобы намн на десерт опять овладелн нзиеженные женскне духи!

Ты один делаешь окружающнй тебя воздух крепким н чнстым! Находнл лн я когда-ннбудь на земле такой чнстый воздух, как у тебя в пещере твоей?

И хотя много стран вндел я, н нос мой научился разбирать н оценнвать разный воздух: но только у тебя нспытывают ноздрн мон велнчайшую радость!

Кроме — кроме — о, простн мне одно старое воспомннание! Простн мне одну старую застольную песнь, которую я некогда сочиинл средн дочерей пустынн.

Ибо н у иих был такой же хорошнй, чнстый воздух Востока; там был я всего дальше от старой Европы, покрытой тучамн, сырой н тосклнвой!

Тогда любнл я этих девушек Востока и другие царства с лазоревымн небесамн, над которыми не висели нн облака, ни мысли.

Вы не повернте, как мило оин сиделн, когда не танцевалн, глубокне, но без мыслей, как маленькие тайны, как украшенные лентамн загадкн, как десертные орехн —

пестрые н чуждые, понстнне! но без туч: загадкн, которые легко разгадывалнсь: в честь этнх девушек сочинил я тогда свой застольный псалом.» —

Так говорнл странннк, называвший себя тенью Заратустры, н прежде чем кто-лнбо успел ответнть ему, он уже схватнл арфу старого чародея н, скрестнв ногн, оглянулся кругом, спокойиый н мудрый: — затем он медленно, испытующе потяиул воздух ноздрямн, как тот, кто в новых

странах пробует новый воздух. Потом он запел с какнм-то завываньем.

2

Пустыия шнрится сама собою: горе тому, кто сам в себе свою пустыню иоснт.

Вот как! Торжествеиио,
Достойиое иачало!
Торжествеино, по-африканскн, да.
Достойно даже льва
Иль обезьяны — ревуиа морали;
Но ведь совсем иичто для иас,
Прелестиые мои подруги.
А между тем сидеть у ваших иог
Мне, европейцу у подножья пальм,
На долю счастье выпало.

Села.

Да, это удивительио: сижу я
У самой у пустыни н все так же,
По-прежнему далекий от иее,
Средь пустоты ее — сам горшая пустыня.
Сказать ясиее: проглотил меия
Оазис маленький,
Который, вдруг зевнув,
Мие ротик свой открыл иавстречу,
И в эти тонко пахиущие губки
Попал я вдруг и там пропал,
Ворвался, проскочил, и вот я среди вас,
Подруги мои милые.

Села.

Да, слава, слава оиому киту,
Коль так же хорошо в нем было гостю!
Ведь ясен вам, ие правда ли, вполие
Намек учеиый мой?
Да здравствует вовек китово чрево,
Когда оио таким же милым было
Оазисом-брюшком, как мой приют;
Но это мне сомнительио, коиечио,
Ведь прибыл к вам я из Европы,
Что иедоверчивей всех жеиок в мире.
Пусть сам Господь исправит это!

Аминь.

Переслащенный, словно фнник смуглый,
И обещаиий золотистых поли, как ои,
Я с вами здесь в оазисе-малютке,—
Как ои, томлюсь по девнчьей мордашке,
По зубкам-грызуиам, по белоснежным,
Как девушки, и острым, и холодиым;
По иим-то имеино сердца тоскуют
Всех накалёииых фнников.

Села.

Как этот южиый фруктик, сам
Похожий иа его чрезмерно,
Лежу я здесь, летучим роем
Жучков крылатых окружениый,
И вкруг меия, в игривой пляске рея,
Мелькают также крохотиые ваши,
Язвительио затейливые ваши
Прнчуды и желаиьица...
Вы, окружившие меия облавой молчаливой,
Чего-то чающие и иемые,
Вы, кошкн-девушкн,
Зулейка и Дуду.
О с ф н н к с о в а л н вы меия кругом
(Чтоб миого чувств вместить и едиио слово —
Грех протнв языка прости мие, Боже),—
И я сижу, вдыхая здесь —
Чистейший воздух, райский воздух, право,
Прозрачио легкий, в золотых полосках.
Нет, иикогда еще с луиы иа землю
Не ннспадал такой хороший воздух,
Ни по случайиостн, нн по капризу,
О чем иам пелн древиие поэты.
Но это мие сомиительио, конечио,
Ведь прибыл к вам я из Европы,
Что недоверчивей всех жеиок в мире,
Пусть сам Господь нсправит это!

Аминнь.

Чистейший этот воздух поглощая
Ноздрями-кубками, раскрытыми широко,
Без будущего, без воспоминаиий,
Сижу я здесь, прелестиые подруги,
И все смотрю, смотрю иа эту пальму,
Которая, подобно танцовщице,

Так изгибается н ластнтся, качаясь...
Что, заглядевшнсь, станешь делать то же —
Подобно танцовщнце, долго, миится,
Опасно долго, на одиой на ножке
Она стояла до того, что позабыла
Она совсем о ножке о другой.
По крайией мере, тщетио я старался
Сокрывшуюся прелесть разглядеть,
Обонх блнзнецов еднства прелесть,—
Конечно, нменно — вторую ножку,
В священной блнзостн нзящных и воздушиых
Блестящей юбочкн порхающнх зубцов.
И еслн мне, прекрасные подругн,
Готовы верить вы охотио — прелесть эту
Оиа утратила.
Уж иет ее! Утрачеиная ножка
Навек потеряна, как жалко милой иожкн!
Где, одииокая, оиа грустит в разлуке,
Покинутая, где оиа тоскует?
Быть может, в ужасе пред белокурым
Чудовищем со львииой гривой илн,
Быть может, уж обглодана до кости
Оиа, увы, изъедеиа!

Села.

О, да не плачьте же, не смейте плакать,
Вы, иежиые сердца!
В беломолочиой грудке, словио фииик,
Сердечко ваше, кошелек-мешочек
Со сладким корешком.
Зулейка, будь мужчииою, довольио!
Бодрей, бодрее, бледная Дуду,
Не плачь же больше! —
— Иль, быть может,
Уместией здесь иное средство,— сердце,
Способиое легко уиять — скрепить?
Как назидательное изречеиье, к слову,—
Илн воззваиия торжественный призыв?
Да, да, зову тебя,
Достоинство, иа сцену,
Ты, добродетелью иадутый мех,
Шнпн, свистн и дуй еще,

Да, да.

Еще раз прореви
Морали ревом,
Рыкая львом пред дочерьмн пустыни,
Морали львом!
Ведь, мнлые мон!..
Вой добродетелн в Европе, знайте,
Снльией, чем жар душн, души ведь европейской,
Чем европейца страстиая тоска.
И вот я перед вамн европейцем
И не могу, о Господи, ииаче.
Да будет так!

Аминь.

Пустыия ширится сама собою: горе тому, кто сам в себе свою пустыию иосит!

Пробуждение

1

После песнн странннка-тени пещера наполннлась вдруг шумом и смехом; н так как собравшиеся гости говорнлн все сразу и так как осел при подобиом поощреини также ие молчал, то Заратустрой овладело иекоторое отвращеине и иасмешлнвое чувство к посетнтелям своим: хотя его н тешила радость их. Ибо она казалась ему признаком выздоровлення. Ои иезаметио вышел нз пещеры иа чнстый воздух и стал говорнть со зверямн своимн.

«Куда же девалось теперь иесчастье их? — спросил ои и уже сам вздохнул с облегчеинем от своей малеиькой досады.— У меия разучилнсь онн, как мие кажется, крнчать о помощн!

— хотя, к сожаленню, ие разучились еще вообще крнчать.» И Заратустра заткиул ушн себе, ибо в этот момеит ослнное И-А уднвнтельио смешалось с шумом веселья этнх высшнх людей.

«Оин веселы,— продолжал ои,— и кто зиает? быть может, насчет хозяиина своего; и еслн иаучнлнсь онн у меня смеяться, то ие моему смеху научнлись онн.

Ну что ж! Онн старые люди: они выздоравливают по-своему, онн смеются по-своему; мои уши выиосили еще худшее и не делалнсь от того раздражнтельными.

Этот день — победа: он удаляется уже, он бежит, *дух тяжести*, мой старый смертельный враг! Как хорошо хочет кончиться этот день, так дурно и тяжело начавшийся.

И кончиться *хочет* он. Уже настает вечер: по морю скачет он, добрый всадник! Как он качается на своих пурпурных седлах, он, блаженный, возвращающийся домой!

Небо ясное смотрит, мир покоится глубоко: о все вы, странные люди, пришедшие ко мне, право, стоит жить у меня!» —

Так говорил Заратустра. И снова крик и смех высших людей послышались из пещеры. И Заратустра продолжал:

«Они идут на удочку, приманка моя действует, и от них отступает враг их, дух тяжести. Уже учатся они смеяться сами над собой: так ли слышу я?

Моя пища мужей действует, мои изречения — сочные и сильные: и поистине, я не кормил их овощами, от которых пучит живот! Но пищею воинов, пищею завоевателей: новые желания пробудил я в них.

Новые надежды явились в руках и ногах их, сердце их потягивается. Они находят новые слова, скоро дух их будет дышать дерзновением.

Такая пища, конечно, не для детей и не для томных женщин, молодых и старых. Нужны иные средства, чтобы убедить их внутренности; я не врач и не учитель их.

Отвращение отступает от этих высших людей: ну что ж! это — моя победа. В царстве моем они чувствуют себя в безопасности, всякий глупый стыд бежит от них, они открываются.

Они открывают сердца свои, хорошее время возвращается к ним, они празднуют и пережевывают,— они становятся *благородными*.

Это считаю я лучшим признаком: они становятся благородными. Еще немного, и они начнут придумывать себе праздники и поставят памятники своим старым радостям.

Они — *выздоравливающие*!» Так говорил Заратустра радостно в сердце своем и глядел вдаль; звери же его теснились к нему и чтили счастье его и молчание его.

2

Но внезапно испуган был слух Заратустры: ибо в пещере, дотоле полной шума и смеха, сразу водворилась мертвая тишина;— нос же его ощутил благоухающий дым ладана, как будто горели кедровые шишки.

«Что тут происходит? Что делают они?» — спрашивал он себя и подкрался ко входу, чтобы незаметно смотреть на гостей своих. О, чудо из чудес! что пришлось ему там увидеть своими собственными глазами!

«Все они опять стали *набожны*, они *молятся*, они безумцы!» — говорил он и дивился чрезмерно. И действительно! все эти высшие люди, два короля, папа в отставке, злой чародей, добровольный нищий, странник-тень, старый прорицатель, совестливый духом и самый безобразный человек: все они, как дети или старые бабы, стояли на коленях и молились ослу. И вот начал самый безобразный человек пыхтеть и клокотать, как будто что-то неизрекаемое собиралось выйти из него; но когда он в самом деле добрался до слов, неожиданно оказались они благоговейным, странным молебном в прославление осла, которому молились и кадили. И этот молебен так звучал:

— Аминь! Слава, честь, премудрость, благодарение, хвала и сила богу нашему, во веки веков!—

Осел же кричал на это И-А.

— Он несет тяготу нашу, он принял образ раба, он кроток сердцем и никогда не говорит «нет»; и кто любит своего бога, тот бичует его.—

Осел же кричал на это И-А.

— Он не говорит: только к миру, им созданному, он вечно говорит «да»: так прославляет он мир свой. Его хитрость не позволяет ему говорить: поэтому бывает он редко неправ.—

Осел же кричал на это И-А.

— Невидным проходит он по миру. В серый цвет тела своего закутывает он добродетель свою. Если есть в нем дух, то он скрывает его; но всякий верит в длинные уши его.—

Осел же кричал на это И-А.

— Какая скрытая мудрость в том, что он носит длин-

иые уши и говорит всегда «да» и иикогда — «иет»! Разве ие создал ои мир по образу своему, т. е. глупым иасколько возможио?—

Осел же кричал иа это И-А.

— Ты идешь прямыми и кривыми путями, и тебя мало волнует то, что иам, людям, кажется прямым или кривым. По ту стороиу добра и зла царство твое. Невииность твоя в том, чтобы ие зиать, что такое иевиииость.—

Осел же кричал иа это И-А.

— И вот ты не отталкиваешь от себя никого, ни нищих, ии королей. Детей допускаешь ты к себе, и если злые мальчишки дразият тебя, ты говоришь просто И-А.—

Осел же кричал на это И-А.

— Ты любишь ослиц и свежие смоквы, ты неразборчив на пищу. Чертополох радует сердце твое, когда ты голодеи. В этом премудрость бога.—

Осел же кричал иа это И-А.

Праздник осла

1

Но иа этом месте молебиа не мог Заратустра больше сдерживать себя, сам закричал И-А еще громче, чем осел, и бросился в середиину круга своих обезумевших гостей. «Что делаете вы здесь, вы, человеческие дети?— воскликиул ои, подиимая молящихся с земли.— Горе, если бы вас увидел кто-иибудь другой, а не Заратустра:

Всякий подумал бы, что вы с вашей новой верою стали худшими из богохульииков или самыми иеразумиыми из всех старых баб!

И ты сам, ты, старый папа, как миришься ты с самим собою, что в таком образе молишься ослу здесь, как богу?» —

«О Заратустра,— отвечал папа,— прости мие, ио в вопросах бога я просвещеииее тебя. Так лучше.

Лучше молиться богу в этом образе, чем без всякого образа. Поразмысли об этом изречеиии, мой высокий друг: и ты скоро убедишься, что в этом изречеиии скрывается мудрость.

Тот, кто говорил: «Бог есть дух»,— тот делал до сих пор

на земле величайший шаг к безверию: такие слова на земле нелегко исправлять!

Мое старое сердце бьется и трепещет оттого, что еще есть на земле чему молиться. Прости это, о Заратустра, старому благочестивому сердцу папы!» —

«И ты,— сказал Заратустра страннику-тени,— ты называешь и мнишь себя свободным духом? И совершаешь здесь подобные идолослужения и обманы?

Худшим, поистине, занимаешься ты здесь делом, чем у своих скверных смуглых девушек, ты, новый верующий и хитрец!»

«Очень печально,— отвечал странник-тень,— что ты прав: но что же делать! Старый бог еще жив, о Заратустра, что ты ни говори.

Самый безобразный человек виноват во всем: он опять воскресил его. И хотя он говорит, что он его некогда убил: с м е р т ь у богов всегда есть только предрассудок.»

«И ты,— сказал Заратустра,— ты, злой старый чародей, что наделал ты! Кто же в этот свободный век будет впредь тебе верить, если ты веришь в подобных богов-ослов?

То, что ты делал, было глупостью; как мог ты, хитрый, делать такую глупость!»

«О Заратустра,— отвечал хитрый чародей,— ты прав, это была глупость,— она достаточно дорого обошлась мне.»

«И даже ты,— сказал Заратустра совестливому духом,— подумай же и приложи палец к своему носу! Разве здесь нет ничего противного твоей совести? Не слишком ли чист дух твой для этих молений и для фимиама этих святош?»

«Есть нечто,— отвечал совестливый духом и приложил палец к носу,— есть нечто в этом зрелище, что даже приятно моей совести.

Быть может, я не имею права верить в бога; но несомненно, что бог в этом образе кажется мне еще наиболее достойным веры.

Бог должен быть вечным, по свидетельству самых благочестивых: у кого так много времени, тот не спешит. Так долго и так глупо, как только возможно: с этим можно, однако, идти очень далеко.

И у кого слишком много духа, тот может сам зара-

зиться глупостью и безумством. Подумай о себе самом, о Заратустра!

Ты сам — поистине! даже ты мог бы от избытка мудрости сделаться ослом.

Не идет ли и совершенный мудрец охотно по самым кривым путям? Как доказывает очевидность, о Заратустра,— *твоя* очевидность!»

«И ты сам, наконец,— сказал Заратустра и обратился к самому безобразному человеку, все еще лежавшему на земле и протягивавшему руку к ослу (ибо он поил его вином).— Скажи, ты, неизреченный, что ты сделал!

Ты кажешься мне преображенным, твой взор горит, плащ возвышенного облекает безобразие твое: *что* сделал ты?

Правду ли говорят они, что ты опять воскресил его? И к чему? Разве он не был с полным на то основанием убит?

Ты сам кажешься мне воскрешенным: что делал ты? что ниспровергал ты? в чем убеждал ты себя? Говори, ты, неизреченный!»

«О Заратустра,— отвечал самый безобразный человек,— ты — плут!

Жив ли *он* еще, или воскрес, или окончательно умер,— кто из нас двоих знает это лучше? Я спрашиваю тебя.

Одно только знаю я,— от тебя самого однажды научился я этому, о Заратустра: кто хочет окончательно убить, тот *смеется*.

«Убивают не гневом, а смехом»,— так говорил ты однажды. О Заратустра, ты, скрывающийся, ты, разрушитель без гнева, ты, опасный святой,— ты плут!»

2

Но тут случилось, что Заратустра, удивленный этими плутовскими ответами, бросился ко входу в пещеру свою и, обращаясь ко всем своим гостям, крикнул громким голосом:

«О все вы, хитрые дураки и паяцы! Что притворяетесь и скрываетесь вы предо мной!

Как трепетало сердце каждого из вас от радости и злобы, что вы наконец опять стали, как дети, благочестивы,— что вы наконец опять поступали, как поступают

дети,— молились, складывали крестом руки и говорили: «Боже милостивый!»

Но теперь предоставьте мне эту детскую комнату, мою собственную пещеру, где сегодня было столько ребячества. Остудите на воздухе ваш горячий детский задор и биение ваших сердец!

Конечно: если не будете вы как дети, то не войдете вы в это небесное царство.» (И Заратустра показал рукою вверх.)

«Но мы и не хотим вовсе войти в небесное царство: мужами стали мы,— и потому хотим мы царства земного.»

3

И еще раз начал говорить Заратустра: «О мои новые друзья,— говорил он,— вы, странные, вы, высшие люди, как нравитесь вы мне теперь,—

— с тех пор как стали вы опять веселыми! Поистине, вы все расцвели: мне кажется, что таким цветам, как вы, нужны новые праздники,

— какое-нибудь маленькое смелое безумство, какое-нибудь богослужение и праздник осла, какой-нибудь старый веселый безумец — Заратустра, вихрь, который дыханием своим освещает вам души.

Не забывайте этой ночи и этого праздника осла, вы, высшие люди! Это изобрели вы у меня, это принимаю я как доброе знамение — нечто подобное изобретают только выздоравливающие!

И если будете вы вновь праздновать этот праздник осла, делайте это из любви к себе, делайте также из любви ко мне! И в воспоминание обо мне!» —

Так говорил Заратустра.

Песнь опьянения

1

Но тем временем они вышли один за другим на чистый воздух, в прохладную задумчивую ночь; сам же Заратустра вел за руку самого безобразного человека, чтобы показать ему свой ночной мир, большую круглую луну

и серебряные водопады у пещеры своей. И вот, наконец, они стояли безмолвно все вместе; это были всё старые люди, но сердца их утешились, исполнились решимости, и дивились они про себя, что им так хорошо на земле; а тайна ночи все глубже проникала в сердца их. И снова думал Заратустра про себя: «О, как нравятся мне теперь эти высшие люди!»,— но он не сказал этого, ибо чтил счастье их и молчание их.—

И тогда случилось то, что было самым изумительным в этот долгий изумительный день: самый безобразный человек во второй и последний раз принялся пыхтеть и клокотать, но когда он добрался до слов, то из уст его вдруг отчетливо и чисто вылетел вопрос — хороший, глубокий, ясно поставленный вопрос, от которого у всех слышавших его шевельнулось сердце в груди.

«Вы все, друзья мои, что теперь у вас на сердце?— спросил самый безобразный человек.— Ради этого дня — я впервые доволен, что жил всю свою жизнь.

И засвидетельствовать столь многое — этого для меня еще недостаточно. Стóит жить на земле: один день, один праздник, проведенный с Заратустрой, научил меня любить землю.

«Так *это* было — жизнь?— скажу я смерти.— Ну что ж! еще раз!»

Друзья мои, что теперь у вас на сердце? Не скажете ли вы смерти, подобно мне: «Так *это* было — жизнь? Ну что ж, ради Заратустры,— еще раз!»?» —

Так говорил самый безобразный человек; но было уже близко к полуночи. И как вы думаете, что случилось тогда? Как только высшие люди услыхали его вопрос, они вдруг осознали превращение свое и выздоровление свое и кому обязаны они всем этим: тогда они бросились к Заратустре, исполненные признательности, уважения и любви, целуя ему руки, и, смотря по настроению каждого, одни смеялись, другие плакали. Старый же прорицатель плясал от удовольствия; и если, как думают многие повествователи, он был тогда пьян от сладкого вина, то, несомненно, он был еще более пьян от сладости жизни; и он отрекся от всякой усталости. Некоторые даже рассказывают, что тогда плясал и осел: ибо не напрасно самый безобразный человек напоил его вином. Это было так, а может быть, и иначе; и если действительно осел не

плясал в тот вечер, то все-таки случились тогда еще более великие и страиииые вещи, чем таиец осла. Одиим словом, как гласит поговорка Заратустры: «Ну что ж!»

2

Заратустра же, пока это происходило с самым безобразиым человеком, стоял как опьяиеииый: его взор потух, его язык заплетался, его иоги дрожали. И кто сумел бы отгадать, какие мысли бежали тогда по душе Заратустры? Но видио было, что дух его отступил от иего, бежал впереди и иаходился где-то в широкой дали, блуждая, как сказаио в писаиии, «иад высокой скалой, между двух морей,

— между прошедшим и будущим, как тяжелая туча». Но мало-помалу, пока высшие люди держали его на руках своих, иемного пришел он в себя и отстраиил рукою толпу озабочеииых почитателей; одиако ои ие говорил. Но вдруг повернул он быстро голову, ибо казалось, что он услышал что-то: тогда приложил он палец к губам и сказал: «И д е м!»

И тотчас водворились тишина и тайна вокруг иего; а из глубииы медлеиио доиосился звук колокола. Заратустра прислушивался к нему, так же как и высшие люди; потом он сиова приложил палец к губам и опять сказал: «И д е м! И д е м! П о л и о ч ь п р и б л и ж а е т с я!»,— и голос его измеиился. Но ои все еще не трогался с места: тогда водворились еще бóльшая тишииа и еще бóльшая тайиа, и весь мир прислушивался, даже осел и почетиые звери Заратустры, орел и змея, а также пещера Заратустры, большая холодная луна и даже сама иочь; Заратустра же в третий раз приложил палец к губам и сказал:

— И д е м! И д е м! И д е м! Н а ч и е м т е п е р ь с т р а н с т в о в а т ь! Ч а с и а с т а л! Н а ч н е м с т р а н с т в о в а т ь н о ч ь ю!

3

Полиочь приближается, о высшие люди: и вот скажу я вам нечто на ухо, как этот старый колокол говорит мне на ухо,—

— с такой же таииственностью, с таким же ужасом, с такой же сердечиостью, с какой говорит ко мие этот

полночный колокол, пережнвшнй больше, чем однн человек:

— уже отсчитавший болезиеиные удары сердца вашнх отцов — ах! ах! как она вздыхает! как оиа смеется во сне! старая, глубокая, глубокая полночь!

Тише! Тише! Слышнтся миогое, что ие смеет днем говорить о себе; но теперь, когда воздух чнст, когда стнхает шум сердец ваших,—

— теперь говорнтся оно, теперь слышится, теперь крадется оио в иочные бодрствующие душн: ах! ах! как она вздыхает! как она смеется во сие!

— разве ие слышнщь ты, с какой таииственностью, с какнм ужасом, с какой сердечностью говорит к тебе старая, глубокая, глубокая полиочь?

О друг, вникай!

4

Горе мне! Куда девалось время? Не опустился ли я в глубокие родиики? Мир спит —

Ах! Ах! Пес воет, луна сияет. Я предпочитаю умереть, умереть, чем сказать вам, о чем сейчас думает мое полночное сердце.

Вот я уже умер. Свершилось. Паук, зачем ткешь ты паутину вокруг меня? Ты хочешь крови? Ах! Ах! Роса падает, час приближается —

— час, когда знобит меня и я мерзну, час, который спрашивает, неустанно спрашивает: «У кого достаточно мужества для этого?

— кому быть господином земли? Кто скажет: так должны вы течь, вы, большие и малые реки!»,—

— час приближается: о человек, о высший человек, винкай! эта речь для тонких ушей, для твоих ушей — *что полночь говорит? внимай!*

5

Меня уносит, душа моя танцует. Ежедневный труд! Ежедневный труд! Кому быть господином земли?

Месяц холоден, ветер молчит. Ах! Ах! Летали ли вы уже достаточно высоко? Вы плясали: но ноги еще не крылья.

О хорошие плясуны, теперь всякая радость миновала: вино прокисло, все кубки разбились, могилы заговорили.

Вы летали недостаточно высоко: теперь заговорили могилы: «Спасите же мертвых! Почему длится так долго ночь? Не опьяняет ли нас луна?»

О высшие люди, спасите же могилы, воскресите трупы! Ах, почему гложет еще червь? Приближается, приближается час,—

— колокол глухо звучит, сердце еще хрипит, червь еще гложет, червь сердца. Ах! Ах! *Мир — глубина!*

6

Сладкозвучная лира! Сладкозвучная лира! Я люблю звук твоих струн, этот опьяняющий однообразный звук!— как медленно, как издалека доносится до меня твой звук, издалека, с прудов любви!

Ты, старый колокол, ты, сладкозвучная лира! Все скорби разрывали сердце тебе, скорбь отца, скорбь дедов, скорбь прадедов; речь твоя стала зрелой,—

— зрелой, подобно золотой осени и полдню, подобно моему сердцу отшельника — теперь говоришь ты: мир сам созрел, лоза зарумянилась,

— теперь хочет он умереть, умереть от счастья. О высшие люди, чувствуете ли вы запах? Тайно поднимается запах,

— благоухание, запах вечности, запах золотистого вина, потемневшего и блаженно-красного от старого счастья,

— от опьяневшего счастья смерти, от счастья полуночи, которое поет: мир — глубина, *глубь эта дню едва видна!*

7

Оставь меня! Оставь меня! Я слишком чист для тебя. Не дотрагивайся до меня! Разве мой мир сейчас не стал совершенным?

Моя кожа слишком чиста для твоих рук. Оставь меня, ты, темный, глупый, душный день! Разве полночь не светлее?

Самые чистые должны быть господами земли, самые непознанные, самые сильные, души полночные, которые светлее и глубже всякого дня.

О день, тяжелой поступью идешь ты за мной? Ты

протягиваешь руки за моим счастьем? Для тебя я богат, одинокий, для тебя я клад и сокровищница?

О мир, ты хочешь м е н я? Разве для тебя я от мира? Разве я набожен? Разве я божествен? Но, день и мир, вы слишком грубы,

— имейте более ловкие руки, прострите их к более глубокому счастью, к более глубокому несчастью, прострите их к какому-нибудь богу, но не простирайте их ко мне:

— мое несчастье, мое счастье глубоки, ты, дивный день, но все же я не бог и не ад божий: *скорбь мира эта глубина.*

8

Скорбь бога глубже, о дивный мир! Простри руки к скорби бога, а не ко мне! Что я! Опьяненная сладкозвучная лира,

— полночная лира, звук колокола, которого никто не понимает, но который д о л ж е н говорить перед глухими, о высшие люди! Ибо вы не понимаете меня!

Свершилось! Свершилось! О юность! О полдень! О время после полудня! Теперь наступили вечер, и ночь, и полночь,— пес воет, ветер:

— разве ветер не пес? Он визжит, он тявкает, он воет. Ах! Ах! Как она вздыхает, как она смеется, как она хрипит и охает, эта полночь!

Как она сейчас трезво говорит, это пьяная мечтательница! Она, должно быть, перепила свое опьянение? она стала чересчур бодрой? она пережевывает?

— свою скорбь пережевывает она во сне, старая, глубокая полночь, и еще больше свою радость. Радость, когда уже скорбь глубока: *радость глубже, чем она.*

9

Ты, виноградная лоза! За что хвалишь ты меня! Ведь я срезал тебя! Я жесток, ты истекаешь кровью:— чего хочет твоя хвала моей опьяненной жестокости?

«Что стало совершенным, все зрелое — хочет умереть!» — так говоришь ты. Благословен, да будет благословен нож виноградаря! Но все незрелое хочет жить: о, горе!

Скорбь говорит: «Пройди! Исчезни, ты, скорбь!» Но

все, что страдает, хочет жить, чтобы стать зрелым, радостным и полным желаний,

— полным желаний далекого, более высокого, более светлого. «Я хочу наследников,— так говорит все, что страдает,— я хочу детей, я не хочу с е б я.» —

Радость же не хочет ни наследников, ни детей,— радость хочет себя самое, хочет вечности, хочет возвращения, хочет, чтобы все было вечным.

Скорбь говорит: «Разбейся, истекай кровью, сердце! Двигайтесь, ноги! Крылья, летите! Вдаль! Вверх! Скорбь!» Ну что ж! Да будет! О мое старое сердце: *жизнь гонит скорби тень!*

10

О высшие люди! Что теперь у вас на сердце? Прорицатель ли я? Сновидец? Опьяненный? Толкователь снов? Полночный колокол?

Капля росы? Испарение и благоухание вечности? Разве вы не слышите? Разве вы не чувствуете? Мой мир сейчас стал совершенным, полночь — тот же полдень.—

Скорбь также радость, проклятие тоже благословение, ночь тоже солнце,— уходите! или вы научитесь: мудрец тот же безумец.

Утверждали ли вы когда-нибудь радость? О друзья мои, тогда утверждали вы также и в с я к у ю скорбь. Все сцеплено, все спутано, все влюблено одно в другое,—

— хотели ли вы когда-либо дважды пережить мгновение, говорили ли вы когда-нибудь: «Ты нравишься мне, счастье! миг! мгновенье!»? Так хотели вы, чтобы в с е вернулось!

— все сызнова, все вечно, все сцеплено, все спутано, все влюблено одно в другое, о, так л ю б и л и вы мир,—

— вы, вечные, любите его вечно и во все времена: и говорите также к скорби: пройди, но вернись назад! *Ибо радость рвется в вечный день!*

11

Всякая радость хочет вечности всех вещей, хочет меда, хочет дрожжей, хочет опьяненной полуночи, хочет могил, хочет слез утешения на могилах, хочет золотой вечерней зари —

— ч е г о только не хочет радость! она более жажду-

щая, более сердечная, более алчущая, более ужасная, более таинственная, чем всякая скорбь, она хочет с е б я; она кусает с е б я, воля кольца борется в ней,—

— она хочет любви, она хочет ненависти, она чрезмерно богата, она дарит, отвергает, просит, как милостыни, чтобы кто-нибудь взял ее, благодарит берущего, она хотела бы, чтобы ее ненавидели,—

— так богата радость, что она жаждет скорби, зла, ненависти, позора, уродства, м и р а,— ибо этот мир, о, вы, конечно, знаете его!

О высшие люди, по вам томится радость, необузданная, блаженная,— по скорби вашей, вы, неудачники! По всему неудавшемуся томится всякая вечная радость.

Ибо всякая радость хочет себя самое, вот почему хочет она также сердечной муки! О счастье, о скорбь! О сердце, разбейся! Высшие люди, научитесь же, радость хочет вечности.

— радость хочет вечности в с е х вещей, она рвется *в желанный вековечный день!*

12

Научились ли вы теперь песни моей? Угадали ли вы, чего хочет она? Ну что ж! Да будет! О высшие люди, так спойте же мне теперь все вместе песнь мою!

Спойте мне теперь сами ту песнь, имя которой: «Еще раз», а смысл: «Во веки веков!»,— спойте же все вместе, о высшие люди, песнь Заратустры!

О друг, вникай!
Что полночь говорит? внимай!
«Был долог сон,—
Глубокий сон, развеян он:—
Мир — глубина,
Глубь эта дню едва видна.
Скорбь мира эта глубина,—
Но радость глубже, чем она:
Жизнь гонит скорби тень!
А радость рвется в вечный день,—
В желанный вековечный день!»

Знамение

Но поутру после этой ночи вскочил Заратустра с ложа своего, опоясал чресла свои и вышел из пещеры своей, сияющий и сильный, как утреннее солнце, поднимающееся из-за темных гор.

«Великое светило,— сказал он, как некогда уже говорил он,— ты, глубокое око счастья, к чему свелось бы счастье твое, если бы не было у тебя тех, кому ты светишь!

И если бы они оставались в домах своих, в то время как ты уже проснулось и идешь, чтобы одарять и наделять: как негодовала бы на это гордая стыдливость твоя!

Ну что ж! они спят еще, эти высшие люди, в то время как я уже бодрствую: э т о не истинные последователи мои! Не их жду я здесь в горах моих.

За свое дело хочу я приняться и начать свой день: но они не понимают, каковы знамения утра моего, мои шаги для них — не призыв к пробуждению.

Они спят еще в пещере моей, их сон упивается еще моими песнями опьянения. Ушей, слушающих м е н я,— ушей п о в и н у ю щ и х с я недостает им.»

Заратустра говорил это в сердце своем, в то время как солнце поднималось: тогда он вопросительно взглянул на небо, ибо услышал над собою резкий крик орла своего. «Ну что ж!— крикнул он в вышину.— Это нравится мне, это подобает мне. Звери мои проснулись, ибо я проснулся.

Орел мой проснулся и чтит, подобно мне, солнце. Орлиными когтями хватает он новый свет. Вы настоящие звери мои; я люблю вас.

Но еще недостает мне моих настоящих людей!» —

Так говорил Заратустра; но тут случилось, что он вдруг почувствовал себя как бы окруженным множеством птиц, летавших вокруг него,— шум от такого множества крыльев и давка над головою его были так велики, что он закрыл глаза. И поистине, на него спустилась как бы туча из стрел, которые сыплются на нового врага. Но здесь это была туча любви, спускавшаяся на нового друга.

«Что происходит со мной?» — думал Заратустра в удивленном сердце своем и медленно опустился на большой камень, лежавший у входа в пещеру его. Но пока он махал руками вокруг себя и над собою, защищаясь от

нежности птиц, случилось с ним нечто еще более изумительное: ибо он незаметно ухватился за густую, теплую, косматую гриву; и в то же мгновение раздался перед ним рев,— кроткий, протяжный рев льва.

«Знамение приближается»,— сказал Заратустра, и сердце его преобразилось. И действительно, когда перед ним просветлело, он увидел, что у ног его лежал огромный желтый зверь, прижимаясь головою к коленям его; из любви он не хотел покидать его и походил на собаку, нашедшую старого хозяина своего. Но и голуби были не менее усердны в любви своей, чем лев; и всякий раз, когда голубь порхал перед носом льва, лев с удивлением качал головой и начинал смеяться.

Видя это, Заратустра произнес одно только слово: «Дети мои близко, мои дети»,— затем стал он совершенно нем. Но сердце его было утешено, и из глаз его текли слезы и падали на руки ему. А он ни на что не обращал больше внимания и сидел неподвижно, не защищаясь уже от зверей. Голуби же улетали и прилетали, садились на плечи ему, ласкали седые волосы его и не уставали в нежности и блаженстве своем. А могучий лев беспрестанно лизал слезы, падавшие на руки Заратустры, и робко рычал при этом. Так вели себя эти звери.—

Все это продолжалось долгое или очень короткое время: ибо в действительности не существует для таких вещей на земле времени.— Между тем высшие люди проснулись в пещере Заратустры и составили шествие, чтобы идти навстречу Заратустре и принести ему утреннее приветствие: ибо, проснувшись, они заметили, что его уже нет между ними. Но когда они подошли к выходу из пещеры, предшествуемые шумом шагов своих, лев грозно навострил уши и, отвернувшись сразу от Заратустры, с диким ревом прыгнул к пещере; а высшие люди, услыхав рев его, вскрикнули в один голос и, побежав обратно, исчезли в одно мгновение.

Но сам Заратустра, оглушенный и пораженный, поднялся с места своего, оглянулся удивленно, спросил сердце свое, подумал и остался один. «Что слышал я?— сказал он наконец медленно.— Что сейчас произошло со мною?»

И вот воспоминание вернулось к нему, и он сразу понял все, что произошло между вчера и сегодня. «Вот камень,— сказал он, гладя себе бороду,— на котором вчера утром

сидел я; а здесь приходил прорицатель ко мне, здесь впервые услыхал я крик, только что слышанный мною, великий крик о помощи.

О высшие люди, это о помощи *вам* говорил мне вчера утром старый прорицатель,—

— помощью вам хотел он соблазнить и искусить меня: «О Заратустра,— говорил он мне,— я иду, чтобы ввести тебя в твой последний грех».

«В мой последний грех?— воскликнул Заратустра, гневно смеясь над своим собственным словом.— Что же было оставлено мне как мой последний грех?» —

И еще раз погрузился Заратустра в себя, опять сел на большой камень и начал размышлять. Вдруг он вскочил.— «*Сострадание! Сострадание к высшему человеку!* — воскликнул он, и лицо его стало, как медь.— Ну что ж! *Этому* — было свое время!

Мое страдание и мое сострадание — ну что ж! Разве к *счастью* стремлюсь я? Я ищу своего *дела*!

И вот! Лев пришел, мои дети близко, Заратустра созрел, час мой пришел:—

Это мое утро, брезжит *мой* день: *вставай же, вставай, великий полдень!*» —

Так сказал Заратустра и покинул пещеру свою, сияющий и сильный, как утреннее солнце, подымающееся из-за темных гор.

Конец

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Возникновение «Так говорил Заратустра»

«Заратустра» — это интимнейшее из творений моего брата, история его глубочайших переживаний, его привязанностей, идеалов и радостей, его самых горьких разочарований и страданий. Но над всем этим ярким светочем высится символ его высшей надежды, его последней цели. Образ Заратустры предносился моему брату с самой ранней юности; он писал мне однажды, что еще ребенком видел великого перса во сне. В разные периоды своей жизни он называл этот образ различными именами. «Но в конце концов,— писал он в позднейших воспоминаниях,— я должен был остановиться на *персе.* Персы раньше всех дали истории широкую, обобщающую концепцию. Они наметили последовательные периоды развития, отмеченные каждый своим пророком. Каждому из пророков приписывается свой *Хазар,* свое тысячелетнее царство.»

Общие воззрения «Заратустры», как и сам образ пророка, очень раннего происхождения. Кто внимательно изучит наследие Ницше 1869—1882 гг., тот повсюду найдет в зародыше круг идей «Заратустры». Идеал сверхчеловека, например, уже очень ясно виден во всех творениях автора в период 1873—75 гг. В подтверждение своей мысли я процитирую только следующие места из «Мы филологи».

«Как можно прославлять и возвеличивать народ только в его целом! Можно говорить лишь об отдельных личностях — мысль, верная и по отношению к грекам.

Греки интересны и беспримерно значительны именно тем, что они обладают таким множеством великих единиц. Каким же образом это было возможно? Этот вопрос еще требует изучения.»

«Меня интересует единственно роль народа в воспитании отдельной личности; и в этом отношении у греков есть нечто в высшей степени благоприятствующее раз-

витию индивидуальных единиц, хотя, правда, корень этого обстоятельства лежит не в достоинствах народа, а в борьбе дурных стремлений.»

«Благодаря счастливым открытиям можно воспитать великую личность совершенно иначе и гораздо выше, чем она воспитывалась до сих пор благодаря случайным обстоятельствам. На этом-то и покоятся надежды: воспитание великих людей».

В идее воспитания сверхчеловека сказывается юношеский идеал Ницше: «Цель человечества лежит в его высших представителях» (или, как он еще яснее говорит в «Шопенгауэр как воспитатель»: «Человечество должно неустанно работать, чтобы рождать отдельных великих людей — в этом, и ни в чем другом, состоит его задача»). Но то, что прежде считалось высшим идеалом, теперь уже не может служить высшим типом человечества. Нет, с этого будущего идеала будущего человечества, со сверхчеловека, поэт еще не снимает покрова становления. Кому дано знать, до какого великолепия и высоты он вырастет! Вот почему поэт, измерив наше высшее идеальное представление, идею освободителя, посредством нового масштаба ценностей, страстно восклицает в «Заратустре»: «Никогда еще не было сверхчеловека. Нагими видел я обоих, самого большого и самого маленького человека. Слишком еще похожи они друг на друга. Поистине, даже и самого большого из них нашел я — слишком человеком!»

«Воспитание сверхчеловека» — это выражение толковалось много раз и никогда не понималось правильно. Слово «воспитание» значит: перерождение посредством новой, высшей оценки ценностей, которые должны стать властителями человечества, нормой его поведения и основой жизнепонимания. Учение о сверхчеловеке более чем какая-либо другая идея может быть правильно понято только в связи и взаимозависимости с другими учениями автора «Заратустры»: о последовательности общественных ступеней, о воле к власти, о переоценке всех ценностей. Он исходит из того, что христианство, возникшее и выросшее на почве неудовлетворенности слабых, обиженных жизнью, не приняло, отринуло все, что было полно сил, прекрасно, гордо и мощно, все свойства, рожденные и запечатленные силой, и что вследствие

этого все властно требующее жизни, все возвышающее жизнь было безмерно принижено. Но теперь новая скрижаль ценностей должна быть воздвигнута над человечеством, новый завет — сильный, властный, преисполненный жизни, прекрасный человек и высшее его воплощение — сверхчеловек. И овладев нами до конца, он станет для нас сжигающей страстью, целью нашей жизни, нашей воли и нашей надежды. Подобно тому как старый метод оценки, который выше всего ставил свойства, присущие слабым, страдающим, побежденным, имел своим естественным последствием слабое, страдающее современное человечество, так новый противоположный критерий, который в целом гласит: все, что запечатлено силой, хорошо, что рождено слабостью, дурно,— этот новый критерий породит здоровый, сильный и жизнерадостный тип человека, способствуя обожествлению жизни. И этот тип не является неким символом, обетованием далеких, темных тысячелетий, новым видом в дарвинистическом смысле, о котором мы не можем ничего знать и ставить который путеводной звездой было бы, пожалуй, просто смешно,— нет, этот тип должен быть для настоящего человечества со всеми его физическими и духовными силами реальной возможностью, и он должен быть достигнут посредством новой оценки ценностей.

Автор «Заратустры» вспоминает о той огромной переоценке всех ценностей, которая произведена была христианством, когда вся проникнутая идеей божества греческая философия, весь строй греческого мышления, когда могучая римская культура в относительно короткое время были если не уничтожены, то в значительной мере переоценены. Не должно ли теперь это обновленное грекоримское миропонимание, углубленное и утонченное двухтысячелетним влиянием христианства, снова вызвать подобный же переворот, и именно в сравнительно недалекое, измеримое для нас время, когда возникнет, наконец, тот прекрасный человеческий тип, который должен быть нашей новой верой и нашей новой надеждой и активно стремиться к которому зовет нас Заратустра.

В своих частных заметках автор употребляет слово «сверхчеловек» (впрочем, всегда в единственном числе) для обозначения «типа высшей гармоничности», в противоположность «современному человеку», но в качестве

типа сверхчеловека он изображает прежде всего самого Заратустру. В «Ecce homo» он старается уяснить нам предшественников и предпосылки возникновения этого исключительного типа, отсылая нас к «Веселой науке». «Чтобы понять этот тип, нужно прежде всего уяснить себе его физиологическую подоснову: она состоит в том свойстве, которое я называю *великим здоровьем.* Я не умею лучше, конкретнее определить это понятие, чем я уже сделал это в одной из заключительных глав (Афор. 382) пятой книги «Веселой науки». «Мы, новые, безымянные, малопонятные,— стоит там,— мы, рано рожденные дети еще неясного грядущего, для новой цели мы нуждаемся также и в новом средстве, именно — в новом здоровье, более крепком, гибком, смелом, веселом, чем оно было когда-либо прежде. Чья душа жаждет во всей полноте пережить бывшие до сих пор оценки и желания и объехать все берега этого идеального «средиземного моря», кто из приключений собственного опыта хочет узнать, каково приходится завоевателю и смельчаку, отправившемуся в поиски идеала, каково приходится художнику, святому, законодателю, мудрецу, ученому, праведнику, пустынножителю старого стиля,— тот нуждается прежде всего в одном, в *великом здоровье* — в таком, которое не только имеют, но которое также беспрестанно приобретают и должны приобретать, потому что им постоянно жертвуют и должны жертвовать!— И теперь, после того как мы, аргонавты идеала, уже долго путешествовали, скорее, пожалуй, смело, чем благоразумно, довольно часто подвергаясь кораблекрушениям и повреждениям, опасно здоровые, все снова и снова здоровые,— нам как будто начинает казаться, что в награду за это мы имеем перед собою некую неоткрытую страну, границ которой не обозрел еще никто, некое «по ту сторону» всех доныне известных стран — убежище идеала, мир, столь богатый красивым, чуждым, рождающим вопросы, страшным и божественным, что наши любопытство и жажда обладания достигают высших пределов — до такой степени, что — увы!— мы уже ничем не можем насытиться!»

«Как можем мы после таких мгновений, объятые таким неутолимым голодом знания и полной достоверности,— довольствоваться *людьми настоящего?* Довольно

скверное положение: но нам неизбежно придется с плохо сдерживаемой серьезностью созерцать их отвратительнейшие цели и надежды, а, быть может, и не только созерцать.— Иной идеал влечет нас к себе, чудесный, искушающий, чреватый опасностями идеал, к которому мы никого не хотим склонять, потому что ни за кем не признаем так легко *права на него:* идеал духа, который наивно, т. е. вне велений воли, вследствие одной только полноты и избытка сил, играет во всем, что считалось до сих пор священным, добрым, неприкосновенным, божественным; для которого все то высшее, в чем народ справедливо видит свое мерило ценностей, представляло бы не более чем падение, унижение, опасность или по меньшей мере средство самосохранения, ослепление, временное самозабвение; идеал человечески-сверхчеловеческой гармонии и благости, который довольно часто кажется почти *нечеловеческим,* например, когда он рядом со всею серьезностью, какую только видела земля, рядом со всею бывшею до сих пор торжественностью в жесте, слове, звуке, взгляде, морали и задачах представляет их живейшую непроизвольную пародию — и со всем тем, несмотря на все это, быть может, впервые возникает *великая серьезность,* впервые ставятся настоящие вопросы, решается судьба души, стрелка движется, начинается трагедия...»

Но если образ Заратустры и большую часть основных идей этого произведения можно установить в замыслах и творениях автора уже значительно раньше, все же местом рождения «Так говорил Заратустра» нужно считать деревушку Сильс-Мария, временем—август 1881 г. Мотивом, побудившим брата опубликовать в поэтической форме новый круг идей, была идея вечного возвращения. О первых ее проблесках брат мой в своих автобиографических заметках «Ecce homo» (осень 1888 г.) писал: «Основная концепция «Так говорил Заратустра» — идея вечного возвращения, эта высшая из мыслимых форм утверждения,— относится к августу 1881 г.: она набросана на листке бумаги с припиской: 6000 футов по ту сторону человека и времени! Однажды я шел лесом вдоль озера, лежащего у Сильвапланы; недалеко от Сюрле я остановился отдохнуть у подножия величественной пирамидальной скалы. Тут осенила меня эта мысль. Оглянись я на

месяц-другой от этого дня назад, я заметил бы, в качестве предзнаменования этой идеи, внезапное и разительно глубокое изменение в моих вкусах, и прежде всего в музыке. Быть может, всего «Заратустру» следует рассматривать под знаком музыки; очень вероятно, что самым условием его возникновения было *услышать* в художественном воплощении идею вечного возврата. В маленьком горном курорте позади Виченцы, в Рекоаро, где я провел весну 1881 г., я открыл, вместе с моим учителем и другом Петером Гастом, тоже «вновь рожденным», как феникс музыки пролетел над нами на более легких, более ослепительных крыльях, чем когда бы то ни было.»

Между началом и концом августа 1881 г. в душе брата возникло решение—устами Заратустры возвестить в форме величественного музыкального гимна учение о вечном возвращении. В его бумагах мы нашли относящиеся к этому периоду наброски, из которых ясно виден первоначальный план книги «Так говорил Заратустра».

«Полдень и вечность».
«Указание новой жизни».

Дальше стоит:

«Заратустра, родившийся на берегу озера Урми, на тридцатом году жизни покинул свою родину, отправился в провинцию Ариа и десять лет пребывал в уединении, написав в это время Зенд-Авесту.»

«Солнце познания снова взойдет некогда в зенит свой: и, свившись в кольца, будет лежать в его свете змея вечности — —: тогда настанет *ваше* время, о полуденные братья.»

Сюда же относятся следующие заметки:

«К проекту плана новой жизни.

Первая книга: В стиле первой части девятой симфонии. Chaos sive natura: «Об ожесточении природы». Прометей был прикован к горам Кавказа. Книга, исполненная суровости kratos'а, силы.

Вторая книга: В духе Мефистофеля, живая, острая, скептическая. «О присоединении опыта». Познание есть

заблуждение, которое становится органическим и организующим началом.

Третья книга: Интимнейшее и наиболее устремленное к небесам из всех произведений, когда-либо написанных: «О последнем счастье одинокого» — того, кто из «зависимого» стал «себе довлеющим» в высочайшей степени: ego совершенное: только теперь это ego стало носителем любви; на более ранней ступени, когда еще не достигнуты высшее одиночество и высшая форма себе довлеющего *я,* мы находим не что иное как любовь.

Четвертая книга, дифирамбически объемлющая: «Annulus aeternitatis». Желание пережить все еще и еще раз — вечно.

«Непрестанное превращение —: ты должен в короткий промежуток времени пройти сквозь многие индивидуальности. Средство — неутомимая борьба.

Сильс-Мария, 26 августа 1881 г.»

Летом 1881 г. брат мой, уже много лет страдавший вследствие своего расстроенного и очень непостоянного здоровья, почувствовал некоторое облегчение, и в этот период ощущения прежней драгоценной полноты сил возникла не только «Веселая наука», которая по своему настроению должна быть рассматриваема как прелюдия к «Заратустре», но, что важнее, возник и сам «Заратустра». Какой-то злой рок пожелал, чтобы именно в это время, когда здоровье брата несколько восстановилось, его посетили тяжелые личные испытания. Он пережил глубокие разочарования в дружбе, которую ставил так высоко и так свято чтил, и в первый раз познал одиночество, назначенное в удел всему великому, во всей его ужасающей полноте. Покинутость — это нечто совершенно иное, чем сознательно избранное, счастливое уединение. Как тоскливо мечтал он тогда о совершенном друге, который во всем понимал бы его, которому он мог бы высказывать все и которого, ему казалось, он находил в разные периоды своей жизни. А теперь, когда его тропинка становилась все опаснее и обрывистее, он не находил никого, кто пошел бы с ним вместе; и вот в идеальном образе царственного философа он создал себе этого совершенного друга и в уста его вложил свои высшие, священнейшие цели.

Теперь уже праздным представляется вопрос о том, насколько вероятно, что не будь этот период отмечен горькими переживаниями, первоначальный план «Заратустры» мог бы возникнуть летом 1881 г., и тогда в этом произведении господствовали бы те счастливые тона, с которыми мы познакомились из только что приведенных заметок. Но, быть может, и в отношении «Заратустры» мы должны сказать вместе с Экхартом: «Самое быстрое животное, приносящее нас к совершенству, есть страдание».

Сам брат о возникновении первой части «Заратустры» писал: «Зиму 1882—1883 гг. я провел в той безмятежно спокойной бухте Рапалло, недалеко от Генуи, которая лежит между Кьявари и мысом Портофино. Здоровье мое было далеко не в блестящем состоянии; зима стояла холодная и необычайно дождливая; маленькая гостиница, в которой я поселился, стояла у самого моря, так что шум волн мешал мне спать, и вообще во всех отношениях оставляла желать много лучшего. Несмотря на это — и в этом еще одно доказательство моей максимы, что все решительное бывает «несмотря» — именно в эту зиму и в такой далеко не изысканной обстановке родился мой «Заратустра». По утрам я взбирался по красивой южной дороге, в направлении Зоагли, среди высоких пиний, любуясь великолепной панорамой моря; по вечерам, насколько мне позволяло здоровье, я огибал всю бухту Санта Маргерита, вплоть до Портофино. Эта местность и этот ландшафт тем более близки моему сердцу, что их горячо любил когда-то король Фридрих III; случайно мне снова пришлось быть здесь осенью 1886 г., когда он в последний раз посетил этот маленький, забытый уголок счастья. Тут-то, на этих двух дорогах, мне пришел в голову весь «Заратустра», но прежде всего сам Заратустра как тип; вернее, он осенил меня...»

Эта первая часть «Заратустры» была написана не больше чем в десять дней, от начала до середины февраля 1883 г. «Заключительные главы были закончены в тот самый священный час, когда в Венеции умер Рихард Вагнер.»

Из разных мест в заметках и переписке моего брата видно, что за исключением десяти дней, когда он писал «Заратустру», эта зима была для него в высшей степени

тяжелой, еще усилив его болезненное состояние; причиной последнего он считал не прежние свои недуги, а инфлуэнцу, которой он заболел в Санта Маргерита и от которой еще долго и тяжело страдал и в Генуе. Но всего более он склонен был приписывать эти болезненные явления своему душевному состоянию, той глубочайшей покинутости, для которой он нашел такие трагические, сжимающие душу слова. С другой стороны, и тот прием, который оказан был первой части «Заратустры» друзьями и знакомыми, подействовал на него самым угнетающим образом, так как брата не понял почти никто из тех, кому он вручил свой труд.

«Для многих из моих мыслей я не нашел никого достаточно зрелым; пример «Заратустры» показывает, что можно говорить с величайшей ясностью и все-таки никем не быть услышанным.» Брат мой был тяжело огорчен этим непониманием, а так как в это самое время он начал еще с огромным напряжением воли отучать себя от хлорала, который он употреблял во время инфлуэнцы как средство от бессонницы,— то следующая весна 1883 г., проведенная им в Риме, носила какой-то особенно печальный характер. «Затем последовала тяжелая весна в Риме, куда я переехал из Генуи,— мне пришлось очень нелегко. Это совершенно не подходящее для автора «Заратустры» место, в котором я к тому же очутился поневоле, в конце концов бесконечно раздражало меня; я попытался уехать, хотел переселиться в Акилу, представляющую собой полную противоположность Риму и даже основанную из вражды к Риму, как я когда-нибудь осную свой город в память одного атеиста и врага церкви comme il faut, одного из моих ближайших родственников по духу — короля Фридриха Второго. Но и на этот раз, как всегда, судьба судила иначе: мне пришлось вернуться в Рим. В конце концов я все-таки освоился с piazza Barberini, на которую выходили окна моей комнаты, да к тому же старания мои образовать резиденцию антихристианства немало утомили меня. Я уже стал бояться, как бы, избегая по возможности дурных запахов, я не стал расспрашивать, нет ли где-нибудь в Palazzo del Quirinale тихой комнаты для одного философа. Здесь, высоко над шумной Piazza, в моей комнате, откуда виден был весь Рим и слышен глухой шум фонтанов, была создана та

песнь глубочайшего одиночества, ночная песнь, равной которой я не знаю; в ту пору я был овеян мелодией несказанной печали, отзвук которой я снова нашел в словах «смерть от бессмертия».»

Этой весной мы оставались в Риме довольно долго, и под влиянием наступившей между тем подавляюще знойной летней погоды в связи с уже упомянутым тяжелым душевным состоянием брата он решил отныне ничего больше не писать, в особенности же оставить мысль о продолжении «Заратустры»,— хотя я и предложила ему принять на себя все заботы об издании книги. Но когда в конце июня мы вернулись в Швейцарию и брат снова ощутил живительное влияние горного воздуха, его радостное настроение, творческие силы опять пробудились, и, желая подготовить меня к получению новой рукописи, он писал мне: «Здесь я устроился на целых 3 месяца: в самом деле, в высшей степени глупо было рассчитывать укрепить свои силы воздухом Италии. Правда, и там и здесь во мне рождается одна и та же мысль: что будет *дальше*? Мое «будущее» для меня — самая темная вещь на свете; но так как на мне лежит долг еще многое и многое совершить, то в этом своем долге я и вижу свое будущее, остальное же поручаю тебе и богам».

Вторая часть «Заратустры» была написана между 26 июня и 6 июля: «Летом, возвратившись в то священное место, где блеснул мне первый луч «Заратустры», я обрел вторую часть этой поэмы. В десять дней я окончил ее; мне не понадобилось больше времени ни для первой, ни — позднее — для третьей и четвертой частей».

Брат часто говорил о том вдохновенном состоянии, в котором он создавал «Заратустру», когда, бродя по горам, он находил целые ряды мыслей уже совершенно законченными и ему приходилось только поспешно заносить их карандашом в записную книжку, чтобы вечером до самой полуночи переписывать созданное за день. В одном из своих писем ко мне он говорит: «Ты не можешь даже представить себе всей силы подобного одушевления», а в «Ecce homo» вдохновенными словами описывает то единственное, ни с чем не сравнимое настроение, в котором был создан «Заратустра».

«Имеет ли кто-нибудь из людей конца девятнадцатого века ясное понятие о том, что́ поэты могучей старины называли вдохновением? В другой раз я буду подробнее говорить об этом. В ком еще хоть сколько-нибудь живы остатки суеверий, тот едва ли сможет отрицать в этом состоянии проявление высшей силы — ее воплощение, ее голос, говорящий нашими устами, ее медиумическое влияние. Это — подлинное откровение, в том смысле, что идея, образ вдруг и с неописуемыми ясностью и подробностью встают перед вашими глазами, звучат вашему слуху, потрясают вас, проникая в самую глубь души, открываются с такой отчетливостью, что вам остается только просто описать их фактическое содержание. Вы слышите — вы не ищете; берете — не спрашиваете; подобно молнии, озаряет вас мысль, с необходимостью, в своей единственной, непреложной форме,— мне никогда не приходилось выбирать. Творческое возбуждение, громадное напряжение которого разрешается потоком слез,— возбуждение, в котором шаг невольно то ускоряется, то замедляется; совершенное бытие вне своего «*я*» и вместе с тем отчетливейшее сознание, ощущение едва уловимой дрожи и бега крови во всем теле, вплоть до пальцев ног; глубина счастья, в которой величайшее страдание и скорбь воспринимаются не как что-либо противоположное, но как нечто естественное, логически связанное, необходимый оттенок в окружающем вас избытке света; инстинкт ритмических отношений, охватывающий обширную область форм (эта потребность в многообъемлющем ритме — едва ли не мерило для силы вдохновения, представляет собой известное соответствие его глубине и напряженности). Все происходит в высочайшей степени непроизвольно, но в то же время как бы под действием бурно нахлынувшего чувства свободы, совершенной независимости от цепи причин и следствий, ощущения власти, божественности. Всего разительнее в этом — полная непроизвольность образов, символов; теряется всякое представление о том, что такое образ, символ, все дается как ближайшее, самое верное, самое простое выражение. В самом деле, кажется, выражаясь словами Заратустры, будто все вещи приходят сами, как бы желая стать образами: «Все вещи, ласкаясь, приходят к твоей речи и льстят тебе, ибо хотят ездить на твоей спине. На всяком символе едешь ты здесь

ко всякой истиие. Здесь поспешно прыгают у тебя слова всякого бытия в ларцы слов; все сущее хочет здесь стать словом, всякое стаиовлеиие хочет научиться у тебя говорнть».— Таков *мой* опыт в областн вдохиовеиия; я ие сомневаюсь, что должны пройти тысячелетия, чтобы ктоннбудь нмел право сказать мне: это также н мой опыт!»

Осенью 1883 г. брат мой отправнлся на несколько иедель из Эигадина в Германню, а затем, уже знмою, проехав вдоль западного побережья Италии н побывав в Стрезии, Геиуе, Специн, остановнлся в Ницце. Здешиий климат оказал на него настолько благотвориое действие, что он принялся за третью часть «Заратустры».

«Следующей зимой, под прнветливым иебом Италин, которое в первый раз за всю мою жизиь ласково сверкиуло в мою душу, мие открылась третья часть «Заратустры» — н скоро была закоичена. Едва однн год понадобнлся мие на всю работу. Сколько укромных уголков, сколько высот в окрестиостях Ниццы освящеио для меня иезабвеииыми мгновениями; та центральиая, решающая часть, которая озаглавлена «О старых н новых скрижалях», была создана во время трудного подъема от станцнн к чудесному мавритаиському замку Эца,— иаиболее сильное творческое иапряжение всегда вызывало во мие огромную мускульную выноснвость. Само тело одухотворялось: оставим «душу» в стороне.— Нередко меня можио было видеть таицующим; в то время я мог без малейшего утомлеиия в продолжение семн-восьмн часов бродить по горам. Я хорошо спал, много смеялся — словом, был редкостно здоров н выиослив.»

Таким образом, каждая нз первых трех частей «Заратустры», после более нли меиее продолжительной подготовкн, была написаиа приблизительио в десять дией. Только четвертая часть была обработана в несколько приемов. Первые ее наброски сделаны были братом во время нашего совместиого пребываиия в Цюрихе в сеитябре 1884 г.; затем в иоябре того же года последовала в Меитоие первая обработка, и после долгого перерыва рукопнсь была закоичеиа в Ницце между концом яиваря и середнной февраля 1885 г. Брат мой назвал ее тогда

четвертой и последней частью «Заратустры»; но как до, так и после неофициального ее напечатания он писал мне, что хочет написать еще пятую и шестую части, план которых у него уже намечен. Об этой четвертой части (рукопись которой снабжена пометкой: «Только для моих друзей, но не для опубликования») он отзывался как о чем-то исключительно личном, и на тех немногих, кому он вручил свою книгу, он наложил обет строжайшей тайны. Сорок экземпляров четвертой части, изданных на правах рукописи, он решил дать в подарок «тем, кто этого заслужил». И только семь экземпляров пришлось ему раздать, держась этой точки зрения,— так одинок, так непонят был он в то время. В начале моей заметки я уже говорила о тех основаниях, которые побудили моего брата воплотить идеальный образ царственного философа в лице перса; о том же, почему им должен был быть именно Заратустра, сам брат говорит следующее.

«Никто не спросил меня, а об этом следовало бы спросить, что именно означает в моих устах, в устах первого имморалиста, имя Заратустры: ибо то, что дает этому персу совершенно исключительное положение в истории, составляет с моими идеями полную противоположность. Заратустра первым увидел в борьбе добра и зла главный рычаг, управляющий движением вещей,— переработка моральных понятий в метафизические, каковы сила, причина, цель в себе — вот в чем состоит *его* значение. Но сам этот вопрос, будучи поставлен, заключал бы в себе, по существу дела, и свой ответ. Заратустра *создал* это роковое заблуждение — мораль, следовательно; он же и должен быть первым, кто *познал* его. Не потому только, что он обладает более долгим и разнообразным опытом, чем когда-либо обладал мыслитель,— вся история представляет собой живое опровержение мысли о так называемом «нравственном мировом порядке»:— но, что гораздо важнее, потому что Заратустра правдивее всякого другого мыслителя. Его учение, и только оно одно, объявляет правдивость высшей добродетелью — в противоположность *трусости* идеалистов, обращающихся в бегство перед реальностью; в Заратустре больше чисто физического мужества, чем во всех мыслителях вместе взятых. Говорить правду и *хорошо стрелять из лука:* такова

персидская добродетель. Понятно ли я выражаюсь?.. Самопреодоление морали посредством правдивости, самопреодоление моралистов путем превращения в собственную противоположность — в *«я»:* вот что означает в моих устах имя Заратустры.»

Архив Ницше
Ваймар, декабрь 1905 г.

Елизавета Фёрстер-Ницше

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К мистралю*
Песнь-пляска

Ми́страль-ветер, туч застрельщик,
мути тать, небес метельщик
воющий, как ты мне мил!
Ты да я — два первых сына
недр одиих,— удел едииый
нам навеки рок судил.

Здесь, по скользким гориым тропам,
я пляшу к тебе галопом,
в такт под песиь твою и вой:
ты без весел роешь воды,
ты, ближайший брат свободы,—
над пучииою морской.

И, разбужеи кличем ранним,
я иесусь по скальным граням
вниз, к прибою у песка.
Ха!— ты тут: победио-чистый
ток брильянтово-лучистый,—
с гор слетел, издалека.

На убитых иеба гумиах
лошадей твоих безумиых
с колесницей я видал,
и — как вздрогнул ты рукою,
когда им иад головою
бич твой молнией упал!—

как ты спрыгиул с колесиицы,
чтобы вниз скорей вонзиться,
что́ стрела короткий,— с круч
в глуби врезался с разгоиа,
словно розы небосклона
золотой пронизал луч.

---

* © Перевод. В. М. Бакусев, 1990

В пляс пустись у воли по спинам,
по обманным их глубинам:
пляски — *новые* дела!
Нам — всё новые мотивы,
нам искусство — волей живо,
нам наука — весела!

Загребем, где вьются травы,
все цветы себе для славы,
для венка — листок-другой!
Спляшем, словно менестрели,
меж распятьем и борделем,
богом, миром — танец свой!

Тот, кто слаб плясать с ветра́ми,
кто обвязан весь бинтами,
словно инвалид, до глаз,
кто — с ханжами, слабаками,
добродетели гусями,—
вон из рая: рай для нас!

Вихрем пыли из-за ставен
мы чихать больных заставим,
сгоним мы отродье их!
Мы очистим берег целый
от их взглядов помертвелых,
от дыханий их гнилых!

Тот, кто небо помрачает,
мир чернит, как тень, шныряет,—
сдуем с неба мы того!
Взвоем... и одной судьбою
воет, воли дух, с тобою
буря счастья моего.—

Чтобы вечно счастье это
помнилось, его завета
знак — *венок* тебе я дам.
На, швыряй его все выше,
взвей его по неба крыше
и взнеси его к звезда́м!

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Научно-художественное издание

НИЦШЕ ФРИДРИХ

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА: КНИГА ДЛЯ ВСЕХ И НИ ДЛЯ КОГО

Зав. редакцией **Н. А. Гуревич**
Редактор **В. М. Бакусев**
Младший редактор **Н. Н. Микоян**
Художественный редактор **В. К. Бисенгалиев**
Технический редактор **М. Б. Терентьева**
Корректор **Н. В. Рыбакова**

ИБ № 3819

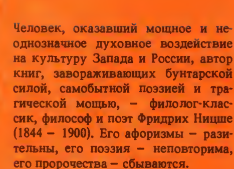
Сдано в набор 14.02.90. Подписано в печать 16.04.90. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага офс. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 15,64. Тираж 200 000 экз. Заказ 1066. Цена 6 р.

Ордена «Знак Почета» издательство Московского университета.
103009, Москва, ул. Герцена, 5/7.

Книжная фабрика № 1 Госкомиздата РСФСР. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.



6 р.



Человек, оказавший мощное и неоднозначное духовное воздействие на культуру Запада и России, автор книг, завораживающих бунтарской силой, самобытной поэзией и трагической мощью, – филолог-классик, философ и поэт Фридрих Ницше (1844 – 1900). Его афоризмы – разительны, его поэзия – неповторима, его пророчества – сбываются.

"... Ницше – эстет, самый законченный, самый безнадежный эстет, какого знала история культуры, и его основное исходное положение ... о том, что жизнь достойна оправдания лишь как явление эстетическое, – необычно точно характеризует его самого, его жизнь и его творчество философа и поэта, которые именно только как явления эстетического порядка и могут быть понятны и оправданы ... его жизнь... это подлинное творение искусства... это зрелище потрясающей лирико-трагедийной силы, неотразимое в своей притягательности."

Томас Манн